

Владимир ВОЙНОВИЧ

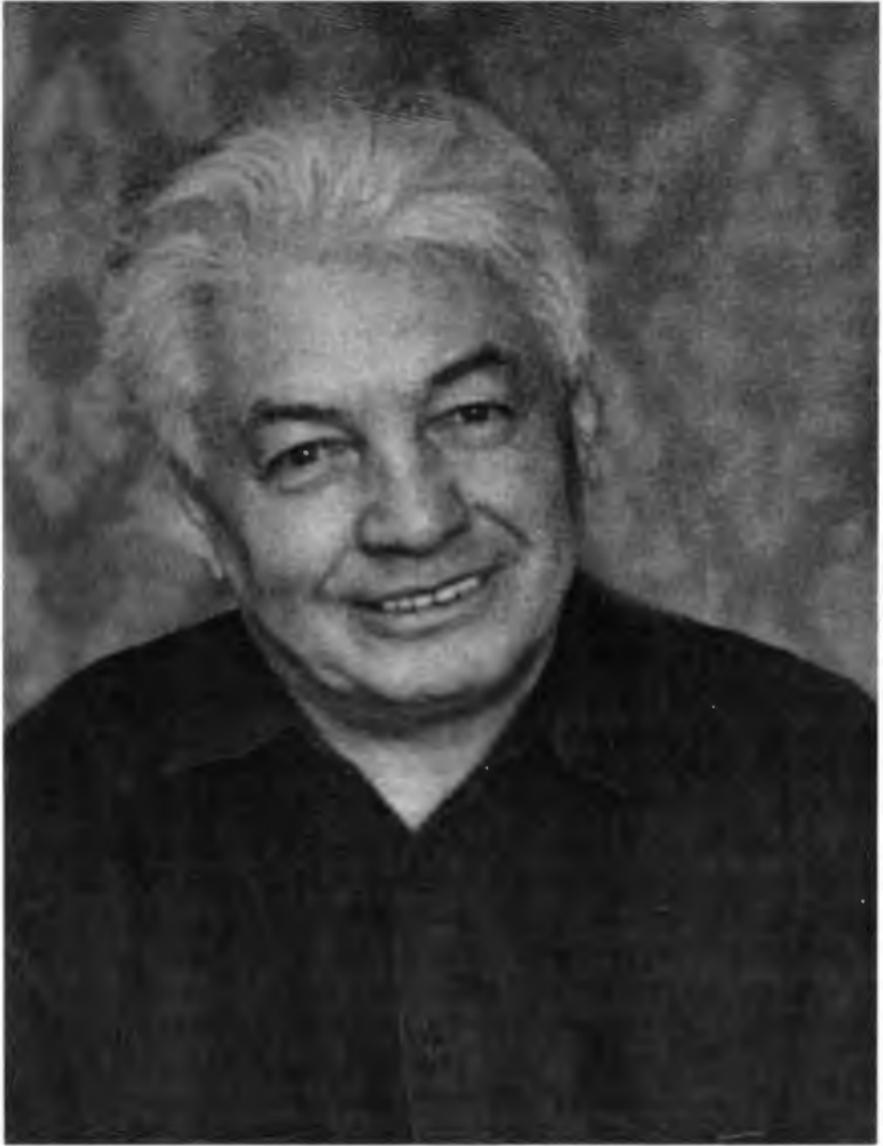
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА





«Изограф»

ЭКСМО-ПРЕСС



B. Boushous

Владимир
ВОЙНОВИЧ

**МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОПАГАНДА**

Издательство «Изограф»
Издательство «ЭКСМО-Пресс»
Москва
2000

ББК 84Р7
Во 61

Художник Александр Анно

Войнович В.

Во 61 Монументальная пропаганда. Роман. – М.: Изограф, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 384 с.

ISBN 5-87113-092-5

В своем новом романе Владимир Войнович возвращает читателя в одно из памятных «чонкинских» мест – райцентр Долгов, где и разворачивается действие с первых послевоенных лет до наших дней. В центре событий – монумент Сталина и обожательница вождя Аглая Ревкина: «В Бога небесного она не верила, ее земным богом был Сталин». Вместе с героиней мы переживаем события, свидетелями которых было старшее поколение читателей. Книгу отличает напряженный сюжет и присущий автору иронический взгляд на нашу недавнюю историю.

ББК 84Р7

ISBN 5-87113-092-5

© В.Войнович, 2000

© А.Анно, оформление, 2000

© Издательство «Изограф», 2000

ПРОЛОГ

Я открыл конверт, из него выпала кривая газетная вырезка площадью в спичечный коробок. В траурной рамке группа товарищей из города Долгова с глубоким прискорбием извещала читателей о трагической гибели члена КПСС с 1933 года, участника Великой Отечественной войны, видной общественной деятельницы пенсионерки Ревкиной Аглаи Степановны.

Я удивился, решив, что кто-то прислал мне текст из прошлых времен. Но перевернул листок, прочел слова: «Новое в Интернете», «Пейджинговая связь» и «Налоговая инспек» (конец слова отрезан), удивился еще больше. Кому нужно помнить членство в КПСС в наше-то время?

Неизвестный, отправивший мне извещение, очевидно, предполагал, что равнодушным оно меня не оставит, и был прав. Я давно не бывал в Долгове, не знал, что Аглая достигла столь преклонного возраста, и с трудом представлял себе, как она могла жить в наши дни. Я немедленно отправился в Долгов, поселился в бывшем Доме колхозника, ныне гостиница «Континенталь», и прожил там недели две, опрашивая разных людей, которые знали хоть что-нибудь о последних годах Аглаи, или Оглашенной, Оглоедки, — ее имя люди по-разному переименовывали, приспособивая к характеру. Предыдущая ее биография была мне хорошо известна. Часть ее я изложил в «Чонкине» и в «Замысле». Повторяться не буду, но кратко напомним: будучи комсомолкой, юной и страстной, подправила документы, прибавила себе лет пять или больше и с головой окунулась в классовую борьбу. Верхом, в кожанке и с наганом носилась по здешней округе, богатых раскулачивала, бедных

загоняла в колхозы. Потом заведовала детским домом, вышла замуж за секретаря райкома Андрея Ревкина, которым впоследствии пришлось пожертвовать ради высокой цели. Осенью 41-го года при входе в Долгов немецких войск Аглая взорвала местную электростанцию, откуда ее муж, закладывавший заряды, не успел выйти. «Родина тебя не забудет!» — крикнула она ему по телефону и сомкнула концы проводов.

Во время войны Аглая Степановна командовала партизанским отрядом, что было отмечено двумя боевыми орденами. После войны сама была секретарем райкома, пока ее не «съели» более хищные товарищи. Она вернулась на место довоенной деятельности и опять заведовала детским домом имени Ф.Э. Дзержинского. Где в феврале 1956 года ее и застало историческое событие, с описания которого пойдет наш рассказ.

часть первая
УПЛОТНЕНИЕ



БУДЬ НА ЧЕКУ.
В ТАКИЕ ДНИ
ПОДСЛУШИВАЮТ СТЕНЫ.
НЕДАЛЕКО ОТ БОЛТОВНИ
И СВЯТКИ
ДО ИЗМЕНЫ.



НЕ БОЛТАЙ!

В феврале 1956 года, в день окончания XX съезда КПСС в долговском районном Доме железнодорожника местному партактиву читали закрытый доклад Хрущева о культе личности Сталина. Читал второй секретарь райкома Петр Климович Поросянинов, упитанный, краснощекий, лысый человек с толстыми, влажными, покрытыми белесой щетиной ушами — фамилия его очень ему подходила. Фамилии, кстати, в Долгове у многих людей были значащие. Там в какой-то период одновременно сосуществовали начальник милиции Тюрятин, прокурор Строгий, его заместитель Вороватый, судья Шемякин и заведующий отделом народного образования Богдан Филиппович Нечитайло.

Поросянинов читал медленно, громко чмокая губами, как будто ел вишни и выплевывал косточки. При этом шепелявил и запинался на каждом слове, особенно если оно было иностранного происхождения.

Поросянинов читал, члены партактива слушали молча, с напряженными лицами, толстыми шеями и затылками, стриженными под полубокс.

Потом докладчику были заданы вопросы: будет ли чистка партии и что делать с портретами Сталина, снимать ли со стен и выдирать ли из книг, как это делалось многократно с бывшими вождями революции и героями Гражданской войны? Поросянинов невольно повернул голову, покосился на портрет Сталина, висевший рядом с портретом Ленина, поежился, но сказал неуверенно: чистка не ожидается, и с портретами пороть горячку не следует. Сталин, хотя и совершил некоторые отдельные неправильные поступки, был и остается выдающим (так сказал докладчик) деятелем нашей партии и мирового

коммунистического движения, и его заслуг у него никто отнимать не собирается.

Аглая Ревкина, испытав в жизни многое, к такому удару оказалась неподготовленной. Некоторые, выходя из клуба, слышали, как она, ни к кому отдельно не обращаясь, громко сказала:

— Какая грязь! Какая грязь!

Поскольку на улице в тот вечер никакой грязи не было, а было, наоборот, холодно, вьюжно и снежно, можно даже сказать — белоснежно, слова Аглаи никем не были восприняты буквально.

— Да, да, — поддержала ее Валентина Семеновна Бочкарева, плановик из Сельхозтехники. — И кому же мы верили!

Елена Муравьева (агентурная кличка — Мура) донесла об этом мимолетном диалоге местному отделению МГБ, и ее донесение было подтверждено самой Бочкаревой во время проведенной с нею беседы профилактического характера.

Но Бочкарева неправильно поняла Аглаю. Хотя о грязи было сказано в фигуральном смысле, но все же не в том, какой имела в виду Бочкарева.

Вернувшись домой, Аглая не могла найти себе места. Нет, не преступления Сталина, а критика его, вот что больше всего ее потрясло. Как они смели, как они смели? Она ходила по всем трем комнатам своей квартиры, хлопала себя маленькими жесткими кулачками по маленьким жестким бедрам и повторяла вслух, обращаясь к невидимым оппонентам: «Как вы смели? Кто вы такие? На кого подняли руку?»

«А вы, надменные потомки...» — выплывало из закоулков памяти давно как будто забытое...

В Бога она никогда не верила, но сейчас несколько бы удивилась, если бы у Поросянинова в процессе произнесения речи отнялся язык, или нос отвалился, или разбил бы его паралич. Слишком кощунственны были слова, произнесенные в Доме железнодорожника.

В Бога небесного она не верила, ее земным богом был Сталин. Его портрет, знаменитый, с раскуриваемой трубкой и

зажженной спичкой у слегка опаленных усов, с довоенных времен висел у нее над письменным столом, во время войны кочевал с нею по партизанским лесам и вернулся на свое место. Скромный портрет в простой липовой рамке. В минуты сомнений относительно своих наиболее драматических поступков Аглая поднимала глаза к портрету, и товарищ Сталин, слегка прищурясь, с доброй мудрой усмешкой как бы внушал ей: да, Аглая, ты можешь это сделать, ты должна это сделать, и я верю, что ты это сделаешь. Да, ей приходилось в жизни принимать трудные решения, жесткие и даже жестокие по отношению к разным людям, но делала она это ради партии, страны, народа и будущих поколений. Сталин учил ее, что ради высокой идеи стоит пожертвовать всем и нельзя жалеть никого.

Конечно, она уважала и других вождей, членов Политбюро и секретарей ЦК, но они в ее представлении были все-таки люди. Очень умные, смелые, беззаветно преданные нашим идеалам, но люди. Они могли совершать ошибки в мыслях, словах или действиях, но только он один был недосыгаемо велик и непогрешим, и каждое его слово, каждый поступок были настолько гениальны, что современникам и потомкам следовало воспринимать их как безусловно правильные и обязательные к исполнению.

2

Большая статуя Сталина стояла в центре Долгова на площади Сталина, бывшей Соборной, бывшей Павших Борцов. Она была установлена в сорок девятом году к семидесятилетию Сталина, по ее, Аглаиной, инициативе. Аглая была в то время первым секретарем райкома, но даже ей пришлось преодолевать противодействие. Все понимали, какое важное воспитательное значение мог иметь памятник, и никто не посмел прямо выступить против, но нашлись скрытые враги народа и демагоги, которые возражали, ссылаясь на состояние послевоенной разрухи. Они без конца напоминали, что в районе име-

ют место перебои с поставками продовольствия, народ бедствует, голодает и пухнет и еще не пришло время таких грандиозных и непосильных для местного бюджета проектов.

Одним из главных противников памятника был ответственный редактор газеты «Большевицкие темпы» Вильгельм Леопольдович Лившиц. Он написал и опубликовал в своей газете статью «Бронза вместо хлеба». Где утверждал, что монументальная пропаганда — дело, конечно, важное, это Ленин еще подчеркивал, что дело важное, но имеем ли мы моральное право сегодня тратить на памятник столько денег, когда наш народ страдает? «Это чей же «наш» «ваш»?» — в письме в редакцию поинтересовалась Аглая и там же разъяснила, что наш русский народ терпеливый, он еще туже затянет пояс, он временно перестрадает, зато памятник, воздвигнутый им, останется на века. Лившиц в своем ответе сообщил, что народ у нас у всех есть один — советский, памятник необходим, но его можно воздвигнуть позже, когда в стране и районе улучшится экономическая ситуация. При этом имел наглость записать себе в союзники самого Сталина. Который, по словам Лившица, будучи мудрым и скромным, никогда не одобрил бы подобного расточительства в столь трудный для родины час.

Конечно, это была демагогия. Лившиц, несомненно, знал, и все знали, но вслух не принято было говорить, что экономическая ситуация нетрудной будет только при коммунизме. И что же, нам сложить руки и ничего не строить, не пилить, не шить, не строгать, не ковать и не ваять до наступления коммунизма? Не на это ли космополит без роду и племени Лившиц рассчитывал? Но просчитался. Вскоре он был изобличен в связях с международной сионистской и шпионской организацией «Джойнт» и понес заслуженное наказание. В тихий предраб-светный час подъехал к дому Лившица автомобиль, называемый в народе «черным вороном» или «черной Марусей», и увез непрошеного ходатая за народ далеко от города Долгова.

Лившиц был не одинок. Другие выражались не так прямо, но тоже намекали.

Преодолев сопротивление, Аглая добилась своего и памятник установила. Правда, не бронзовый, как предполагалось вначале, а чугунный. Потому что вагон с бронзой, выйдя однажды из города Южноуральска, до города Долгова никогда не дошел. А куда дошел, до сих пор неизвестно. Чему некоторые злопыхатели радовались. Может быть, радовался тому же, сидя на тюремной параше, Вильгельм Леопольдович Лившиц, но радость его была преждевременной. Враги Аглаю знали, но недостаточно. Недоценили ее волю к победе и того, что от своей цели не отступала она никогда. Она поехала в Москву, посоветовалась со скульптором Максом Огородовым и ему же сделала заказ на статую из ковкого чугуна.

3

Сталину исполнилось семьдесят лет в среду 21 декабря 1949 года.

На всю жизнь Аглая запомнила то темное, морозное и туманное утро, гранитный пьедестал и фигуру, укутанную в белое полотно и спутанную шпагатом.

Порывистый ветер трепал края полотна и вихрил сухой серый снег, который стлался и плыл тонким слоем низко над площадью. Несмотря на будний день, явилось все районное начальство — мужчины в одинаковых темных пальто и в пыжиковых шапках, а Аглая покрыла голову легким оренбургским платком. Кроме прочих, прибыл секретарь обкома Геннадий Кужельников в суконном пальто на ватине с каракулевым воротником, в каракулевой папахе и в сапогах с галошами фабрики «Красный треугольник». Начальник районного МГБ Иван Кузьмич Дырохвост выделялся кожаным пальто на меху и кожаной фуражкой. Председатели колхозов, все, как один, были краснощекие, красноносые, в полушубках, в бараньих шапках и валенках. Присутствовал, разумеется, и создатель памятника скульптор Огородов, доставивший себя к месту события из Москвы в тонком демисезонном пальто с красным шарфом, в надетом набекрень темно-синем бархатном берете

и в лакированных туфлях, к данным погодным условиям совершенно не подходящих. Привез Огородов с собой и жену Зинаиду.

В нашем повествовании Зинаида вряд ли будет играть слишком большую роль, но раз уж попала на эти страницы, отметим, что была она женщиной полной, властной, старше Огородова на четыре года, обладала хриплым прокуренным голосом и была такой матерщинницей, какие в те целомудренные времена попадались не так часто, как ныне.

Огородова еще до войны она нашла на помойке. Так она сама говорила. На самом деле не на помойке, а в малаховском общежитии. Где он жил, будучи никому не известным студентом, приехав в Москву из Костромы или Калуги. Вид собой являл, как говорится, зачуханный. Перебивался с хлеба на воду от стипендии до стипендии, имея в собственности только то, что на нем, в чемодане и сам чемодан, фанерный, крытый масляной краской зеленого цвета, что-то вроде патронного ящика с ручкой из гнутой проволоки толщиной в пять миллиметров.

Зинаида привела будущего скульптора к себе в коммуналку, где обитала с престарелой ворчливой матерью, отмыла его, отчистила и стала с ним жить. Вместе пережили нищету его студенческих лет. Огородов тогда лепил и сушил в духовке свистелки в виде петушков, волков, медведей и зайцев, а она торговала ими на Тишинском рынке. Ни о какой другой скульптуре речи не было — где, из чего, для кого и что он бы лепил? Зато после войны, когда он вернулся с четырьмя медалями, с красной нашивкой за легкое ранение и со значком «Гвардия», Зинаида стала его везде проталкивать как фронтовика, героя и гения. Оперирова его заслугами, обивала пороги, заводила нужные связи, но грани не переходила (а если переходила, то в исключительных случаях, для дела). Добилась Огородову членства в Союзе художников, отдельной студии, квартиры в деревянном доме. С дровяным отоплением, но без соседей. Делала для него все, и он сам признавал, особенно в подпитии: «Зинка, золото, без тебя я бы пропал».

Зинаида следила, чтобы муж всегда был одет опрятно, но с некоторой вольностью, достойной художника. Сама шила ему байковые широкие блузы и штаны, бархатные береты, в которых, как она считала, он походил на Рембрандта. Готовила рыбные блюда, веря, что в рыбе много фосфора, способствующего усилению интеллекта, таланта и мужской потенции. В конце концов у Макса появились более или менее сносные условия для работы. В этих условиях он собирался лепить петушков и медведей с еще большим размахом, но тут Зинаида его как раз и переориентировала, сказав, что он теперь должен лепить вождей.

Из вождей Макс выбрал, понятно, Сталина и вскоре в производстве статуй вождя достиг очень больших успехов.

4

Собравшиеся топтались под пьедесталом, представляя собой одновременно участников церемонии и зрителей. По причине недружелюбной погоды посторонних зрителей не было, и те, кто пришел, выглядели не как вершители торжественной политической акции государственного значения, а как нетерпеливые люди, что явились на скорую руку похоронить бедного родственника.

Памятник открывала лично Аглая Степановна. Немногочисленные свидетели потом вспоминали, что речь ее была четкой, твердой, без малейших признаков волнения, хотя, конечно, она волновалась.

— Товарищи, — начала она простуженным и прокуреным голосом и потерла замерзший нос, — сегодня все советские люди, все прогрессивное человечество отмечает славный юбилей нашего величайшего современника, мудрого вождя, учителя народов, корифея всех наук, выдающегося полководца, всем нам родного и любимого товарища Сталина.

Она говорила, и собравшиеся привычно рукоплескали ей, реагируя на ключевые слова. Она кратко изложила своим слушателям то, что они знали и без нее, выучив на еженедель-

ных политзанятиях. Пересказала биографию вождя с упоминанием фактов о трудном детстве, раннем участии в революционном движении, в Гражданской войне, в коллективизации, индустриализации, ликвидации кулачества, разгроме оппозиции и, наконец, в исторической победе над немецким фашизмом.

Ей удалось в немногих словах выразить мысль об исключительной пользе и необходимости, особенно в наши дни, всех видов пропаганды, и тем более пропаганды зримой, крупной, монументальной, рассчитанной на века.

Этот памятник, сказала она, поставленный, несмотря на противодействие наших врагов, будет стоять здесь тысячи лет, вдохновляя на новые подвиги грядущих строителей коммунизма.

Эту фразу не пропустил мимо ушей Геннадий Кужельников. «Что она хотела сказать? — подумал он. — Что советский народ еще тысячу лет будет строить коммунизм? Глупая оговорка или вредительство?» Он не додумал еще своей мысли, когда Аглая объявила открытие памятника, вручила ему большие ножницы, какими стригут баранов. Кужельников, не снимая перчаток, взял ножницы двумя руками, сомкнул лезвия, и концы шпагата разлетелись, затрепетали на ветру. Покрывало стянули с большим трудом, потому что оно надувалось, как парашют, и вырывалось из рук. А когда его все-таки одолели, участники события слегка попятнулись, глянули на памятник, ахнули в один выдох и застыли.

Все эти люди, кроме Огородова и Зинаиды, ничего не смыслили ни в каком искусстве, а в скульптуре тем более, но даже они увидели, что перед ними не просто скульптура, а что-то необыкновенное. Сталин был изваян в полной парадной форме с погонами генералиссимуса, в шинели, слегка распахнутой, чтоб видны были китель и ордена, с правой рукой, поднятой, очевидно, для приветствия проходящих мимо народных масс, и левой, опущенной, со сжатыми в ней перчатками.

Сталин смотрел на собравшихся, как живой. Смотрел сверху вниз, таинственно усмехался в усы и, как явственно

всем казалось, помахивал правой рукой, шевелил левой и хлопывал перчатками по колену.

Макс Огородов сначала собственным глазам не поверил, а когда поверил, открыл широко рот и застыл с этим дурацким, можно сказать, выражением, словно сам немедленно очугунел.

Все последние годы лепил он Сталина, только Сталина, никого, кроме Сталина, но зато Сталина во всех видах: голову Сталина, бюст Сталина, Сталина в полный рост, Сталина стоящего и сидящего (только лежащего не лепил), во френче, в гимнастерке, в длиннополой кавалерийской шинели, а в последнее время — в форме генералиссимуса. В своем деле он в конце концов так наострился, что мог слепить Иосифа Виссарионовича с закрытыми глазами.

Власти одобряли его как очень хорошего мастера, в совершенстве освоившего метод социалистического реализма. Его ценили, ставили в пример другим, поощряли морально, материально и комбинированно, награждая чинами, орденами, премиями, хвалебными статьями в газетах, включением его имени в энциклопедии, в списки выдающихся классиков и в списки получателей разных дефицитных продуктов питания. Но коллеги считали его крепким середнячком, холодным ремесленником, даже халтурщиком, и вообще, когда заходила о нем речь, говорили: «А, этот!» И махали рукой, не предполагая в нем Божьего дара и думая, что он и сам себе цену настоящую знает, делишки свои обтяпывает, а на высокое место в искусстве не зарится. И это была их большая ошибка. На самом деле, отдавая себе отчет в том, что делает чепуху, зарился, очень даже зарился скульптор Огородов на высокое место, зарился, может быть, на самый Олимп и не халтурил, лепя очередного Сталина, а творил, колдовал, священнодействовал. Каждый раз чуть-чуть менял осанку, наклон головы, прищур глаз и сомкнутость губ. Делая последние штрихи, отбегал подальше, подбегал поближе, иной раз закрывал глаза и по наитию, где-то что-то вминал, поджимал, подправлял, подковыривал ногтем в безумной надежде, что чудо произойдет вдруг каким-то случайным образом. Потом снова отбегал, подбегал,

дышал на свое творение между сложенными в трубку двумя ладонями, — может, это смешно бы со стороны показалось, но он душу пытался вдохнуть в свое творение. Однако творение опять получалось безжизненным — не было в нем ни тайны, ни чуда. Огородов страдал, иногда даже плакал, дергал себя за редкие волосы, стучал кулаками по голове и обзывал себя бездарью, в чем все-таки был не прав: бездарен тот, кто бездарности своей не ощущает.

И эта скульптура, пока была в мастерской, тоже казалась Огородову заурядной, но теперь, возведенная на пьедестал (вот чего ей не хватало!), она ожила и смотрела вниз на всех и на своего создателя насмешливо и победно и с таким видом (в некотором смысле даже нахальным), будто сама себя сотворила.

— Боже! Боже! — не сводя глаз со статуи, бормотал пораженный создатель. — Он ведь живой, живой, ведь правда, живой? — спрашивал он сам себя, удивляясь, как же раньше этого не заметил.

— Успокойся! — сказала мужу Зинаида тихо, но властно и сунула в рот папиросу, мундштук которой заledenел сосулькой.

— Нет, — сказал Огородов, неизвестно что отрицая, и, протянувши руки к творению своему, крикнул: — Ну! — И еще раз: — Ну! Ну!

— Вы кому это? — высокомерно удивился Кужельников.

— Не вам, — отмахнулся Огородов, не проявив внимания к столь высокому чину. И снова крикнул: — Ну! Ну! Ну!

Стоявшие рядом с ним слегка оторопели и на всякий случай отступили от Огородова как от возможного психа, а он с вздетыми страстно руками шагнул к монументу и закричал ему:

— Ну, скажи что-нибудь!

Конечно, он не первый обращался с подобной просьбой к своему произведению. Задолго до него великий Микеланджело просил о том же сотворенного им Моисея. Но люди, собравшиеся на площади, не подозревая плагиата, переглянулись между собой, некоторые, впрочем, почтительно, полагая, что скульптор, может быть, не при своих, но на то он и ху-

дожник. А поэт Серафим Бутылко приблизился к собрату по искусству, похлопал его по плечу и, дыша перегаром, чесноком и больными зубами, сказал с почтением:

— Действительно, как живой.

— Глупость! — возразил скульптор шепотом. — Что значит «как»? Он не как живой, он просто живой. Вы посмотрите: он смотрит, он дышит, у него изо рта пар идет!

Это было совершенно вздорное утверждение. Железные губы изваяния были плотно сомкнуты, никакой пар из них не шел. И не мог идти. Возможно, в каких-то неровностях имело место случайное снежное завихрение, но вот ведь не только скульптору — всем другим примерещилось, будто под железными усами действительно что-то клубилось.

Пока Огородов выкрикивал нечто бессвязное, жена его Зинаида, жуя опять погасшую папиросу, обдумывала свое ближайшее будущее. Она настойчиво продвигала Огородова в люди, но при этом предвидела, что, если уж он прославится и войдет в моду, завьются вокруг него молодые поклонницы-хищницы, и положение в хлопотах увядшей жены станет сразу же неустойчивым. А Огородов, не замечая переживаний супруги, скинул берет, швырнул его себе под ноги и с криками «Я оправдал свою жизнь!» стал топтать бедную тряпку так остервенело, словно она была виновата, что Огородов не оправдал свою жизнь раньше. «Оправдал, оправдал, оправдал свою жизнь!» — продолжал выкрикивать он, не понимая того, что жизнь, какая есть, дается нам без всяких обязательств и нет необходимости оправдывать ее особо громоздким способом.

Он топтал берет до тех пор, пока ветер, сжалившись над несчастной тряпкой, не вырвал ее у Огородова и не унес куда-то в мороз и в темень, а Огородов с непокрытой лысеющей головой опять воздел руки к памятнику и взмолился:

— Скажи, что ты живой! Подтверди, сдвинься с места, подай знак. Слышишь ты меня или не слышишь?

И тут случилось редкое в зимней природе явление: где-то далеко пророкотал гром, негромко, словно телега проехала по булыжнику.

Товарищи, стоявшие позади Огородова, все без исключения, были прожженные материалисты, никто из них официально не верил ни в Высший промысел, ни в нечистую силу, но чем сильнее они не верили официально, тем больше подозревали, что существует и то, и другое. Поэтому при звуках грома все инстинктивно вздрогнули и передние попятились, наступая на задних, а сверкнувшая молния, причем сверкнувшая совершенно без грома и в зимнем-то небе, и вовсе повергла присутствовавших в состояние полного оторопения. Молния сверкнула, и глаза у чугунного генералиссимуса засветились жадным оранжевым пламенем. Пламя задержалось в глазницах и медленно угасало, как бы втягиваясь вовнутрь. Тут некоторых участников церемонии обуял необъяснимый страх, они невольно вспомнили о своих прегрешениях перед женой, родиной, партией и лично товарищем Сталиным, вспомнили о растратах, взятках, недоплаченных членских партийных взносах и с мыслью о возможном возмездии заворожено застыли на месте. А когда оцепенение стало их отпускать, опять подал голос Серафим Бутылко. Решив ободрить себя и остальных, он заметил, что в природе еще случаются иногда необъяснимые научно явления.

— Да, — многозначительно отозвался секретарь обкома Кужельников, — бывают еще в некоторых районах такие необъяснимости. — И прошаркал галошами в сторону ожидавшей его «Победы», оставив участникам мероприятия возможность подумать, что бы значила его реплика и какой содержала намек. К тому, что район не относился к числу примерных? Но при чем же здесь природные явления? Природное явление само выбирает место своего явления и к руководящим районным органам за визой не обращается. Тем не менее высший партийный руководитель выразил недовольство, а младшие поняли, что дело идет к кадровым переменам. И кое-кого из собравшихся эта мысль обеспокоила, а в кого-то вселила надежду. И началась борьба, как тогда говорили, хорошего с еще лучшим, в результате чего Аглаю на ответственном посту сменил некто Василий Сидорович Нечаев,

работавший до того парторгом на маслобойне. А Аглаю передвинули, как уже было сказано, в детский дом, воспитывать подрастающее поколение.

5

Обилие поэтов — признак дикости народа.

Так считал мой старший друг Алексей Михайлович Макаров по прозвищу Адмирал, о котором речь еще впереди. Когда он это сказал первый раз, мне показалось его утверждение вздорным, но он перечислил страны и части света, где люди погрязают в нищете и невежестве, иные не знают электричества и туалетной бумаги, однако имеют среди себя огромное количество акынов, ашугов, народных или придворных поэтов. Там власти трепетно относятся к поэтическому слову, и хороших поэтов (которые хорошо пишут о власти) щедро одаряют всякими благами, а плохим поэтам (которые плохо пишут о власти) отрубают голову. Риск остаться без головы иногда так сильно влияет на сознание, что порой плохие поэты пишут гораздо лучше хороших поэтов, стихи плохих поэтов люди переписывают в тетрадки, выучивают наизусть и передают из поколения в поколение. Хотя в Долгове воспитание поэтов проводилось по смягченной системе (не отрубали голову, но и жить не давали), количество стихотворцев на душу населения здесь явно превосходило объем насущных потребностей. Самым известным и крупным к концу сороковых годов был, конечно, наш мэтр и аксакал Серафим Бутылко, но он уже старел и устаревал во всех смыслах. Утратил спереди шесть верхних зубов, поседел, шаркал ногами, горбился, слабо владел метафорой, размер не выдерживал, рифмы употреблял убогие, затертые: «кровь—любовь», «свобода—народа», «хотеть—потеть», «гулять—валять». И это в то время, когда молодые смело овладевали корневыми, ассонансными, диссонансными, сложными и еще черт знает какими рифмами вроде «державы — держала», «береза — берлога», «пища — пуца», «атрибуты — на три буквы» и сногшибательными образами и метафорами. Самым изощренным сочинителем широкого профиля

был у нас Влад Распадов — поэт, искусствовед, эссеист, публицист и вообще одаренный разнообразно художник слова. В 1949 году, будучи еще учеником восьмого класса, он написал сочинение, посвященное этому памятнику. Работа была школьная, но настолько интересная, что ее поместила «Долговская правда». Эссе это называлось... точно сейчас не вспомню... «Мелодия, застывшая в металле». Или «Музыка, замерзшая в чугуне». Что-то в этом духе. Очень яркая была статья, образная, с глубоким подтекстом. О творении скульптора Огородова там было сказано, что оно не могло бы быть таким, какое есть, если бы не чудесное сочетание таланта автора и его неподдельной любви к прототипу, которые здесь слились воедино. «Глядя на это чудо, — писал Распадов, — трудно себе представить, что его лепили, или высекали, или вообще изготавливали каким-то физическим образом. Нет, это просто песня вырвалась, выдохнулась из души скульптора и застыла нам на удивление, приняв человеческий облик».

Статья Распадова, хотя не совсем корректная с точки зрения социалистического реализма, произвела впечатление на читателей, понравилась идеологическим органам, и Петр Климович Поросянинов, прочитав статью, сказал про Распадова: «Да, наш человек! — И, подумав, добавил: — Наш!»

Что же до Макса Огородова, то он, сотворив столь безусловный шедевр, сильно прославился, получил много казенных заказов, Сталинскую премию третьей степени, а потом второй степени, а потом первой степени, а жену Зинаиду, как она и опасалась, скоро сменил на новую, первой степени, бывшую восемнадцатью годами моложе. И конечно, сильно зазнался. Зазнавшись, утверждал, что превзошел всех современных ему скульпторов, даже Томского и Коненкова. А из ваятелей прошлого равными себе признавал только Мирона, Праксителя, Микеланджело и частично Родена.

Не будем отрицать, сотворенное Огородовым чудо было действительно чудо. Оно повергло в изумление даже самых искушенных, недоверчивых и ревнивых знатоков искусства. Ученые-искусствоведы специально ехали в Долгов не только в

предвкушении двадцати шести рублей командировочных в сутки, а желая увидеть своими глазами и убедиться. Один из них, убедившись, достал из кармана платок, промокнул им глаза и сказал: «Всё! Теперь можно и умереть». И никому не показалась эта реакция чересчур чувственной. Все видели, что памятник в самом деле отличался от других подобных излучаемой им таинственной силой. Он стоял посреди площади, к которой стекались со всех сторон большие и малые улицы. Но раньше они сходились здесь просто так, в результате многовекового хаотичного градостроительства. Теперь же каждым человеком ощущалось физически, что улицы эти и переулки притягиваются сюда силою необычайного исходящего от памятника магнетизма, а сам он является естественным центром города, больше того — таким центром, без которого город не может функционировать, как колесо без оси. Тому, кто бывал в Долгове в те времена, невозможно было себе представить, а как же этот город столько сотен лет мог вообще существовать без этого изваяния.

Толпы людей, местных и проезжающих, ходили смотреть и отмечали тот факт, что, с какой бы стороны человек ни очутился у памятника, слева или справа, чугунный вождь смотрел в его сторону, а зашедшему сзади казалось, что статуя видит его даже спиной. А уж прямой взгляд чугунного человека на любого наводил непонятный страх с переходом в леденящий ужас. Это касалось не только людей, но и животных более низкого класса. Даже голуби не садились на железную фуражку, хотя верх ее был круглым, плоским, удобным для взлета, посадки и отправления птичьих естественных надобностей. Кроме того, статуя (но это уж мелочи) никогда не подвергалась коррозии.

Слух о необычайном творении скульптора Огородова разошелся далеко, и однажды из Москвы специально прибыл в Долгов влиятельный член Политбюро посмотреть, не стоит ли перенести монументальный шедевр в Москву. Явившись на площадь в сопровождении Кужельникова, он посмотрел на статую и тоже испытал очевидное беспокойство, а придя в се-

бя, сказал: «Не надо нам этого!» И опять дело кончилось кадровым вопросом. Кужельников был со своей должности снят и отправлен послом куда-то в Африку. Но и сам этот член Политбюро спустя короткое время куда-то сгинул, и именно из-за этой фразы: «Не надо нам этого!» Фразу передали Сталину, Сталин подумал, что имелось в виду — не надо нам этого — то есть самого Сталина, а не скульптуры, после чего член Политбюро исчез, имя его выпало из всяких списков, учебников, справочников и энциклопедий, и теперь даже историки не могут сказать достоверно, был он вообще когда-нибудь или нет.

Когда монумент устанавливали, мало кому казалось слишком смелым Аглаино предположение, что он будет стоять здесь тысячи лет. И уж совсем невозможно было себе представить, что дети, в тот год рожденные, еще не пойдут в первый класс, как покачается почва и не под монументом, а под всем делом великого вождя.

6

Вернувшись домой после заседания партактива, Аглая не могла найти себе места. Выпила водки, потом валерьянки, потом опять водки. Ложилась, вскакивала, бегала по комнате, думала и не понимала, как же это все получилось. Произнесены слова, после которых нельзя жить по-старому или никак нельзя. Хрущев сказал, Микоян поддержал, Молотов, Маленков, Ворошилов, Каганович промолчали. Они же все были верные ученики и соратники товарища Сталина. Они клялись, что готовы жизнь за него отдать. Что с ними случилось? Сошли с ума? Оказались предателями? Все до одного? И другое возникло сомнение: а как же он? Такой мудрый, пронизательный, всех видел насквозь, а их не раскусил?

Теперь ей припомнилось, что некоторые намеки на перемену отношения к Сталину были и раньше. Поросянинов еще в конце прошлого года явился к ней в детский дом и как бы мимоходом, но настойчиво посоветовал убрать висевший в вестибюле транспарант со словами «Спасибо товарищу Ста-

лину за наше счастливое детство!». «Устаревший лозунг», — заметил он и многозначительно посмотрел на Аглаю. А когда она спросила, какой лозунг повесить взамен устаревшего, Петр Климович сказал, что можно этот же, но слова «товарищу Сталину» следует заменить на «Коммунистической партии» и весь текст читать так: «Спасибо Коммунистической партии за наше счастливое детство!»

— Длинно будет, — усомнилась Аглая.

— Длинно не беда, лишь бы политически выдержанно. — И, посмотрев на нее, добавил, что на жизнь надо смотреть реалистически, точнее, сказал: «Рылиссески».

Аглая поступила, как часто в подобных случаях. Пообещала транспарант снять, чего на самом деле исполнять не собиралась. Думала, что Поросьянинов забудет, но он на другой день позвонил и спросил, сделала ли она то, о чем договорились. И, услышав, что не успела, твердо нажал:

— Не тяни!

И она подчинилась. Партийные указания были для нее законом. К тому же обстановка пока не определилась, и в ней две любви жили еще в полном согласии: любовь к Сталину и любовь к партии. Но теперь ее толкали на поступок, который уже никак, никакими теориями она оправдать не могла. Теперь все сказано ясно и до конца, и перед ней прямой выбор: остаться с партией или со Сталиным. Выбор невозможный, противоестественный. Сталин для нее был партией, партия была Сталиным. Партия и Сталин вместе были для нее народом, честью и совестью всей страны, ее собственной совестью тоже. Резкая, прямая, оглашенная, как, повторим, ее звали тогда, она привыкла идти напролом, но до сих пор ломилась туда, куда указывал Сталин, и это было легко и радостно. Теперь же ее путеводная звезда раскололась на две половины, на два отдельных светила, и каждое звало ее в свою сторону.

В ту же ночь она заболела, как сама потом говорила, на нервной почве, хотя вызванная соседкой врачаха сказала, что это просто грипп. Правда, грипп довольно вредный, занесенный к нам то ли из азиатских краев, то ли, что верней, из Аме-

рики. Где, как известно, в научных лабораториях специально выводят всякие вирусы и микробы, а также насекомых и крыс для травли доверчивых и беззащитных советских людей.

Уже к вечеру следующего дня температура поднялась выше сорока. Аглая металась в жару, тряслась в лихорадке, потела, теряла сознание, бредила. Когда бредила, ощущение наступало радостное с предвкушением чего-то необычайного, и не зря. В первую и во вторую ночи ее несколько раз посетил лично товарищ Сталин, живой, домашний и добродушный, в коверкотовом френче довоенного покроя и мягких хромовых сапогах. Он бесшумно открывал дверь, бесшумно проходил к ее кровати, садился в ноги, сосал трубку без дыма и ласково смотрел на Аглаю. Первый раз она, не разобравшись в обстановке, попыталась с ним заговорить, но едва разомкнула губы, как он немедленно растворился в воздухе и пропал. При его следующих появлениях говорить не пыталась, молчала, и он молчал, но она чувствовала, что между ними происходит общение без слов, и это было даже лучше, чем со словами.

Потом, уже выздоровев, она держала в памяти ощущение, что состоялся между ними очень важный разговор, в чем была его суть, не могла припомнить, но понимала, что была ей открыта непреложная истина, такая истина, по сравнению с которой меркнут все слова и знания всего человечества.

7

Город Долгов был сам по себе город средний. Для районного великоват, до областного не дотягивал. Имел несколько заводов, трестов, комбинатов, магазинов, нефтебазу, автобазу, птицефабрику, райком, райисполком, прокуратуру, милицию, вытрезвитель и отделение КГБ. В самом центре, через площадь от райкома КПСС, не доходя до колхозного рынка, были даже остатки какого-то строения, которое называли кто Кремлем, кто пассажем. Там в описываемое время располагались райкоммунхоз, ателье «индпошива», авторемонтная мастерская и магазин «Скобяные изделия». Неподалеку стояла цер-

ковь Козьмы и Дамиана, которую то закрывали в процессе борьбы с религией, то опять открывали из экономических соображений. Поскольку религия хоть и считалась опиумом для народа, но вносила в казну много денег. Впрочем, и настоящий опиум доходы приносит немалые.

Дом, в котором жила Аглая, был построен в сорок шестом году по ее указанию для районных номенклатурных работников. Они после войны нуждались в жилье больше, чем простые советские люди. Они, конечно, всегда нуждались больше. Чем дальше, тем больше, и чем меньше, тем больше. Но после войны нуждались особенно, потому что номенклатурные дома, как самые лучшие в городе, немцы уничтожили при отходе. Только особняк, в котором располагался детдом, уцелел по недосмотру германских властей.

Других приличных домов в городе не было, а в неприличных номенклатурным работникам было бы жить неприлично, но еще неприличнее — в коммуналке. И не только потому, что номенклатурные работники не умели сосуществовать в тесноте, но и потому еще, что тогда подробности их жизни стали известны простым советским людям, а это не должно было случиться никак. Живя отдельно от других граждан, номенклатура тогдашняя (как и теперешняя) должна была казаться и казалась породой людей особых, неприступных, загадочных и овладевших всеми знаниями человечества. Им чужды наши страхи и слабости. Им понятны тайны нашего бытия. Они знают, что есть и что будет, но не знают никаких интересов, кроме неустанной заботы о благе отечества и нашем благополучии. А если им и нужны жизненные условия получше наших, то только и исключительно для того, чтобы они могли думать о нас, не отвлекаясь ни на что постороннее. А мы, думающие только о себе и своих мелких делишках, можем заниматься этим в любых обстоятельствах.

Дом, где жила Аглая, строили хороший, единственный во всем городе и с невиданными еще в здешних местах удобствами, с газом, горячей водой и даже с канализацией, которой в те времена никто еще в Долгове не видывал.

Тогда на окраинах города народ еще просто бегал до ветру, но поближе к центру население было покультурнее и пользовалось предназначенными для этой цели коммунальными сооружениями. В виде дощатых сарайчиков с двумя отдельными входами, двумя дверьми, часто сорванными с петель, на одной из которых было написано М, а на другой — Ж. В сарайчиках этих, естественно (молодые поколения, может, даже уже и не представляют), и на стороне М, и на стороне Ж деревянный пол украшался большими дырами, штук по двенадцать в ряд, и кучами, наложенными вокруг и вразброс, как будто обстрел производился не в упор, а из дальнобойных орудий с недолетом и перелетом.

Автор понимает, что описание этих сооружений выглядит не больно-то аппетитно, но надо же нам оставить свидетельства столь существенной стороны нашего быта. Иначе люди грядущих веков даже и представить себе не смогут эти дырки и эти кучи, залитые карболкой и засыпанные известкой, отчего летом запах был такой, что в носу сильно щипало, а глаза слезились так, словно в них швырнули горсть табаку. Запах этот выдерживали только советские люди и мухи, зеленые, большие, размером с полворобья. В жару здесь было слишком жарко, в мороз слишком морозно, а скользко — всегда.

Посетители высаживались в ряд, как стоящие на поле снопы, и с особым сочувствием вспоминаются старики, которые, страдая от артрозов, запоров и геморроя, тужились до посинения, хрипели, стонали и стонали, словно в родильном доме.

Алексей Михайлович Макаров по прозвищу Адмирал говорил, что, если бы от него зависело, какой памятник поставить нашей советской эпохе, он бы поставил его не Сталину, не Ленину и не кому-то еще, а Неизвестному Советскому Человеку, сидящему орлом на вершине высокой горы (пик Коммунизма), наложенной им же.

Однако вернемся в Аглаин дом. Его строили в плохое время, осенью, зимой и впопыхах. При бедной строительной технике. На очень слабом фундаменте, то есть почти без него.

Установили в полуподвале газовый коллектор из двенадцати соединенных между собою баллонов. Коллектор был сконструирован местными рационализаторами и вызывал большие сомнения у начальника пожарной инспекции. Но Аглая топнула на него ногой, и пожарный начальник подписал акт приемки, оставив сомнения при себе.

Дом был кирпичный, но внутренние перекрытия — деревянные, причем дерево было (потом предполагалось вредительство) неважного качества, пораженное грибком. Аглаю тогда спрашивали, как быть, а она поощряла: стройте, стройте, вот на ноги станем, народ обеспечим, тогда в последнюю очередь позаботимся и о себе. По скромности она взяла себе на двоих с сыном трехкомнатную квартиру, хотя ей предлагали четырех. А она взяла только трех. С полезной площадью пятьдесят семь с половиной квадратных метров. Взяла временно до окончания жилищного кризиса. Но жилищный кризис оказался вроде желанного горизонта. По мере продвижения вперед сам соответственно отодвигался. Кризис никогда не кончился, но особняки со временем были построены. Однако Аглае места ни в одном из них не нашлось — она к тому времени из номенклатуры выпала. К тому же после отъезда сына на учебу была фактически одинокой. Так и осталась одна в своих трех комнатах на втором этаже. Первая комната считалась гостиной, в ней был круглый раздвижной стол (никто его в жизни на раздвигал) и восемь дубовых стульев вокруг стола и диван-кровать для возможных (их у нее никогда не бывало) гостей. Посреди комнаты лежала шкура бурого медведя со стеклянными глазами и оскаленной пастью — подарок местных охотников. Две другие комнаты были — одна кабинетом, который во время секретарства ей полагался по чину, другая спальней. Все это было оборудовано громоздкой казенной мебелью: в спальне большая металлическая кровать с сильно прогибавшейся сеткой, в кабинете тяжелый двухтумбный дубовый стол, покрытый сукном, когда-то зеленым, а потом серым от пыли (за ним никто никогда не работал), дубовое кресло, настольная лампа под зеленым абажуром из стекла, тяже-

лый письменный прибор с бронзовой птицей и двумя каменными чернильницами с пересохшим нутром.

Коллеги Аглаи, которые из номенклатуры не выпали, дом этот постепенно покинули, их квартиры, немедленно превращенные в коммуналки, стали заполнять люди низших сословий, включая проживавших здесь вплоть до реабилитации двух профессоров: сельхознаук и — марксизма-ленинизма. Одно время здесь были прописаны также некий шекспировед, скрипачка с международным именем и врач-убийца Иван Иванович Рабинович. Так его почему-то называли, хотя он никого не убивал, был не врачом, а фельдшером, и не по человеческой части, а по ветеринарной. Тем не менее и он попал в число людей, которых советская власть сначала морила в лагерях, а затем распределяла по ссылкам, не давая селиться в больших городах. Да и маленькие выбирала, чтоб не ближе ста километров к столице. Таким как раз был город Долгов. Что ему явно пошло на пользу. В смысле среднего интеллектуального и культурного уровня. Который здесь поднялся, а в столицах, наоборот, опустился. Закон сообщающихся сосудов, оказывается, правилен не только для жидкостей. Жили в этом же доме учительница немецкого языка Ида Самойловна Бауман с престарелой матерью, настоятель церкви Козьмы и Дамиана священник отец Егорий с матушкой Василисой и сыном Дениской, самым хулиганистым из всех дворовых мальчишек. Еще обитало здесь семейство банщика Рената Тухватуллина в количестве сам-шесть — он, жена и четверо детей в возрасте от четырнадцати лет до четырех, хромяя, глуховатая и одноглазая кошатница Шурочка, по прозвищу Шурочка-дурочка, а в комнате, примыкавшей к Аглаиной спальне, обитал в одиночестве тихий улыбчивый человек Савелий Артемович Телушкин, служивший когда-то в НКВД исполнителем приговоров. Служил он там много лет. За время службы лично расстрелял 249 (он помнил цифру) человек по одиночке и еще многих как бы в общем бою (например, участвовал в расстреле польских офицеров), но с ума не сошел, угрызений совести не испытывал, сомнениями не мучился, и сны ему

снились тихие, идиллические: луга, ромашки, коровы и первомайские демонстрации.

Ясно, что за время существования дома внутри его постоянно происходили перемещения, люди вселялись и выселялись, меняли одно жилье на другое, помирали, уходили в армию или в тюрьму, и всех не упомнишь, кто когда проживал по данному адресу.

Среди прочих следует запомнить и отметить особо — дворничиху Валентину Жукову с сыном. Валентина была крупная женщина с широким лицом и широкой покатой спиной. Ходила неуклюже носками внутрь, руки держала на весу, выставив их немного вперед, как будто собралась с кем-то бороться. При такой, казалось бы, очевидной несоблазнительности ее облика в молодости она пользовалась большим успехом у мужчин, из которых выбрала себе в мужа Серегу Жукова, гармониста, балагура и баламута. Серега в самом начале войны, не дожидаясь призыва, ушел добровольцем на фронт. Валентина часть военного времени провела в Аглаином партизанском отряде, где отличалась необыкновенной силой и храбростью. Однажды в рукопашном бою она двух немцев сначала кулаком свалила в нокаут, а потом связала вместе и притащила в отряд в качестве пленных. После войны Валентина некоторое время была у секретаря райкома Аглаи Ревкиной шофером. А потом ради комнаты в полуподвале перешла в дворники. Мужа у нее уже не было. Серега с войны не вернулся и был зачислен в пропавшие без вести. Поскольку не было никаких доказательств, что он не сдался врагу живым, здоровым и с оружием в руках, пропавший считался предателем, а Валентина — женой предателя. Поэтому не только пенсии за мужа не получала, но и партизанской медали за собственные заслуги не удостоилась. Одна, как могла, растила сына. По старому знакомству Аглая иногда нанимала Валентину убрать в квартире, постирать белье, сбегать в магазин, что дворничиха и делала за небольшую плату. Сына Валентины, между прочим, звали Георгий Жуков, точно так же, как знаменитого маршала. Этот Георгий Жуков (или попросту Жора) тоже служил в армии, но до маршала не дослужился. До-

служился только до звания младший сержант. По упущению начальства он, несмотря на провинившегося перед родиной отца, служил танкистом в Венгрии, откуда привез аккордеон, на котором по воскресеньям играл вальсы «Дунайские волны», «На сопках Маньчжурии» и танго про утомленное солнце. Играл сперва во дворе, а потом был приглашаем на свадьбы и юбилеи.

Само собой, между жильцами временами проистекали скандалы по поводу разбитого окна, шума после двадцати трех часов, очереди в уборную, мытья полов и уборки мусора. Но Аглаи это не касалось, она жила отдельно, уборную и кухню имела свою, в споры ни с кем не вступала. Соседи ее побаивались, кроме, может быть, Шурочки-дурочки. Она (так считалось) обладала даром предвидения. Обладала или нет, но пророчить пыталась и, встречая Аглаю, каждый раз предрекала гнусавым голосом, что вспыхнет огонь, полетят железные птицы, поскачут железные кони, задрожит земля и мертвый упадет на живого.

8

Пятого марта Аглая Степановна проснулась от нестерпимо яркого солнца с ясной головой и чувством, что здорова, а посему пора вставать, жить и работать. «Все, — сказала она вслух, по привычке обращая к себе сурово, — нечего залеживаться и симулировать». Натягивая чулки, вспомнила: сегодня день смерти Иосифа Виссарионовича — и сама себя обозвала дурой, что чуть эту дату не пропустила. В этот день она в прошлом и позапрошлом году посещала памятник с маленьким букетиком герани, специально выращиваемой на подоконнике. Вышла на улицу с таким же подарком и сегодня и увидела, что — весна. Только что выпавший пухлый снег искрился на солнце, подтаивал, проседал, оплывал с пригорков, обнажая покрытую облезлой травой почву. Дороги потемнели, текли по краям, из-под крыш падали и с треском разбивались сосульки. По пустырю перед домом, подпрыгивая, ходили черные то ли галки, то ли вороны (Аглая разницы между ними не видела, но тех и тех не-

навидела), а у дома на лавочке сидели такие же черные старухи (тоже довольно противные), нахохлившись, словно птицы. Количество старух перед домом менялось, но две из них сидели там постоянно, одну из них звали баба Надя, а другая, греческого происхождения, была известна под кличкой Гречка. Они сидели на лавочке перед домом всегда, многие годы, может быть, даже целую вечность. Казалось, они никогда не рожались и никогда не умрут, никогда не были молодыми, а всегда были такими, как есть, и как сидели, так сидят и будут сидеть всегда. Они сидели и смотрели на протекавшую перед глазами жизнь, как на бесконечную, говоря нынешними словами, мыльную оперу. Не слушая радио и не читая газет, они знали всё про всех, живших в городе Долгове, и частично про обитавших в окрестностях: кто выиграл по облигации, кого посадили за растрату, у кого мужа увезли в вытрезвитель, у кого родилась двойня, чья теща попала под поезд, где случился пожар или кого пырнули ножом. Эти сведения они получали, постоянно опрашивая всех проходящих мимо, где-что-чего, но до многого и своими головами додумывались. Если в поле их зрения попадал незнакомый им человек, старухи включали свой интеллект и непонятно каким образом определяли близко к истине, кто он, откуда куда идет, чем занимается и какие имеет намерения. Иногда просто так отмечали, что в прошлый понедельник перед обедом мимо прошел человек в шляпе. Сейчас они тоже сидели на лавочке, смотрели перед собою на снег, на солнце, на игравших и шумевших детей. Увидели мужчину и женщину, которые, совершенно им незнакомые и ничем не примечательные, проходили мимо, осмотрели их внимательно, и, когда они удалились, баба Надя спросила Гречку:

— Как ты думаешь, он с ей живет?

— Да кто знает, — сказала Гречка. — Думаю, что живет.

— Должно быть, живет, — со вздохом согласилась баба Надя, очевидно этого сожительства не одобряя.

— Казаки, — шамкала беззубо старуха Бауман, качая головой, закутанной в пуховый платок, — это такие люди, что ой. Они таки никого не жалели. Моя сестра Мира была бере-

менная, так они ей сказали, мы тебе сейчас устроим роды, и стали плясать у нее на животе, и у нее был выкидыш, а сама она осталась живая, но стала совсем самашечая.

Баба Надя и Гречка слушали и сочувствовали, прощая рассказчице на время распятие Христа и мацу, замешанную на крови христианских младенцев. Рассказ о казаках был прерван появлением Аглаи, которая, выйдя из подъезда, остановилась и зажмурилась, ослепленная солнцем. Она была в черном пальто, в черных сапогах, в заломленном набекрень черном берете с хвостиком и сама лицом черная, как цыганка, черная, как эти старухи и как галки или вороны на поле. Она посмотрела на старух презрительно, ибо никогда не любила людей, сидевших без дела, и, не сказав им хотя бы «здрасьте», быстро и легко, как будто и не болела, зашагала прочь со двора. При ее появлении старухи затихли и присмирели, а когда она удалилась, баба Надя сказала:

— Ишь какая кувыка!

— Да уж, — подтвердила Гречка, хотя что такое кувыка, ни та, ни другая, если их спросить, объяснить не смогли бы.

Аглая покинула двор и пошла по твердой еще, оледенелой и оплывавшей на солнце тропинке через пустырь, шла быстро, легко, радуясь свету, и цвету, и запаху весны, сама не понимая причин столь острого чувства. Это понимал организм. Организм знал, что болезнь была серьезной, Аглая выздоровела чудом, и теперь каждая клеточка организма радовалась счастливому продлению своей жизни.

9

Комсомольский тупик своим нетупиковым концом выходил на улицу Розенблюма, а та выливалась на проспект Сталина, недалеко от площади Сталина.

Памятник стоял лицом к зданию райкома КПСС, когда-то такого родного. Сюда в свое время Аглая приходила (точнее, приезжала, ходить ей должность не позволяла), как к себе домой. Милиционер у входа вытягивался и отдавал ей честь,

секретарша в приемной вскакивала и поправляла прическу, а попадавшиеся в коридорах толстые мужчины из местных начальников прижимались спиной к стене и, распространяя запах чеснока и сивухи, широко раскрывали рты, набитые золотом или металлом попроще. Они улыбались или даже смеялись, трясли животами, показывая, как счастливы они ее видеть, и некоторые изображали что-то похожее на реверанс.

Здесь Аглая в свое время занимала самый большой кабинет со стенами, отделанными ореховыми панелями, со многими телефонами. Здесь, в сизом папиросном дыму, она, похожая на неистовую Пассионарию, сидела за обширным столом под портретами Ленина и Сталина. Сюда вызывала отличившихся в труде, но их было всегда меньше, чем провинившихся, а на последних стучала кулаком, рывкала и крыла их матом. Здесь перед ней, бывало, мужчины больших должностей и крупного телосложения дрожали, потели, заикались, хватались за сердце и теряли сознание. Был случай, когда один из них самым натуральным образом наложил в штаны, а другой, директор совхоза, пропивший полугодовой совхозный бюджет, не найдя объяснения, как ему это удалось, рухнул, тут же пораженный инсультом.

С большой властью расставаться так же трудно, как и с большим богатством. Неприятно и даже унижительно ходить пешком там, где тебя возили на машине, да с ветерком, с шумом, с рывканьем клаксона: остановитесь, уступите дорогу, разве не видите — Ревкина едет? Трудно привыкнуть к тому, что нельзя направо и налево приказывать: подать, принести, отнести, положить, доложить. Непривычно не видеть на лицах встречных льстивых улыбок, а в глазах вопроса и подобострастия. Но постепенно Аглая привыкла к своему невысокому положению, утешаясь тем, что и сделала в жизни немало хорошего. И колхозную систему внедряла, и в разгроме оппозиции участвовала, и партизанила, и восстанавливала район из руин, но самой большой своей заслугой, венцом своих усилий считала установление памятника, без которого город просто не был бы тем, чем он был.

А райком, что ж... был своим домом, стал чужим. Делать ей было в нем нечего. И сейчас шла она не к нему, а к Сталину. Но задержалась у аллеи Славы, располагавшейся как раз перед райкомом. Первой приметной вещью на аллее была Доска почета, где в два ряда были вывешены портреты героев труда и ударников производства: знакомых Аглае передовых председателей колхозов, агрономов, врачей, учителей, доярок, трактористов, рабочих патронного завода, картонажников и ниточников, то есть работников картонажной и ниточной фабрик. Здесь же среди прочих висел портрет и самой Аглаи Степановны, поскольку возглавляемому ею детскому дому в прошлом году было вручено переходящее Красное знамя. А за доской находилось то, благодаря чему аллея получила свое название, — могилы славных борцов за наше будущее и настоящее. Начиная с красного комиссара Матвея Розенблюма. Который когда-то, прибыв сюда на бронепоезде «Решительный», объявил народу окончательное установление в этих местах новой власти, после чего был немедленно застрелен эсером Абрамом Циркесом. Что и послужило причиной временного увековечивания имени Розенблюма в названии одной из центральных улиц. Хотя впоследствии, когда стало можно шутить, некоторые шутили, что увековечить следовало Циркеса, попал-то ведь он. После Розенблюма здесь располагались в два ряда, как на Доске почета, жестяные обелиски со звездой и каменные надгробья героев Гражданской войны, Великой Отечественной войны, финской кампании и суровых боев мирного времени. В самой середине ряда под именем Афанасия Миляги покоились кости мерина Осоавиахима, едва не ставшего человеком (кто читал «Чонкина», знает). Рядом на очень замшелом и заплесневевшем камне надпись гласила обманчиво: «Андрей Еремеевич Ревкин. 1900—1941. Совершил акт самопожертвования. При подходе немецко-фашистских захватчиков взорвал важный промышленный объект и сам погиб при взрыве».

Люди, которые случайно сюда приходили, склоняли над камнем головы или не склоняли, а просто стояли в раздумье, полагая, что здесь действительно поконится герой, совершив-

ший выдающийся подвиг. На самом же деле здесь не лежал никто. Потому что найти труп Ревкина после взрыва не удалось, тем более что никто не искал, тем более что искать было нечего, поскольку в результате взрыва вся электростанция была разнесена на куски, а неразнесенное выгорело, а если бы и не выгорело, то кто в условиях немецкой оккупации мог бы разыскивать трупы на территории станции и с почестями захоранивать? Чушь какая-то, да и все. Аглая, конечно, знала, что здесь никто не лежит, или должна была знать, но мозги идеологически ориентированного человека так устроены, что, зная одно, он верит в другое. И Аглая знала, что Ревкин здесь не лежит, но верила, что лежит.

Снег подтаял и сполз вниз, обнаживши покрытые жухлой травой горбушки могил. Аглая постояла у могилы, пообещав мысленно тому, кто здесь не лежал, что в начале лета вернется, прополет старую траву и посеет новую.

Дальше маршрут ее движения был прямой и короткий.

Подойдя к памятнику, она сначала положила цветы к пьедесталу, а потом отошла назад, подняла голову и только сейчас увидела, что здесь что-то не так. Сталин стоял на прежнем месте, в прежней позе, с привычно поднятой правой рукой, но взгляд у него был грустный, осанка изменилась, словно он как-то (не может этого быть!) ссутулился. А на фуражке его — вот что было невероятно! — миловались и ворковали два сырых, жирных, отвратительных голубя. Казалось, что тут особенного, чего можно требовать от этих безмозглых тварей, никаких памятников они не избегали. Но ведь этот памятник отличался от всех прочих, и они сами его отличали. За все время ни одна птица не смела тронуть статую ни ногой, ни крылом. Был случай, единственный, — ворона с коркой хлеба села на фуражку, но не успела еще коснуться поверхности, как, выпустив пищу, с диким криком отлетела в сторону и камнем грянула на асфальт. С тех пор уж точно ни одна крылатая тварь даже и не пыталась использовать статую как посадочную площадку. И вдруг — эти глупые птицы! Как они поняли, что теперь можно и садиться сюда, и гадить? И уже покрыли

верх фуражки белым пометом, потеки которого были видны на козырьке, на левом плече и на отвороте шинели.

— Кыш! — закричала Аглая слабым голосом. — Кыш, вы, проклятые!

Но проклятые на ее крик реагировали самым пренебрежительным образом. Более жирный, очевидно самец, наклонил голову, скосил один глаз на Аглаю и, повернувшись к голубке, что-то проворковал ей, а она в ответ ему тоже что-то забулькала. У Аглаи было такое ощущение, что они просто над нею смеются. Она посмотрела вокруг, нет ли под ногами какого-нибудь камня, нашла серую гальку размером с яйцо и размахнулась. Камень ударился о левое голенище, упал перед постаментом, и, проследив за его падением, Аглая только сейчас увидела на снегу рядом со своей геранью жалкую, бедную, одинокую веточку желтой мимозы. Забилось радостно сердце. Значит, не одна она в этом городе помнит и чтит дорогого, любимого, единственно незаменимого.

— Да, — услышала она сзади тонкий вкрадчивый голосок, — есе не все всё забыли. Люди любят железо, птицы любят железо, но когда железо будет падать, птицы взлетят, а люди летать не умеют. Они тяжелые, клыльев нет и тяжелые, они летать не умеют, и железо упадет на железо.

Аглая обернулась. Шурочка-дурочка в плюшевой куртке, сверху закутанная в мешковину, смотрела на Аглаю безумным загадочно мерцающим глазом.

— Что ты мелешь! — возмутилась Аглая. — Какое железо? Куда будет падать?

— Люди летать не умеют, — убежденно повторила Шурочка. — А железо падает свелху вниз.

— Отзынь! — сказала Аглая и пошла прочь быстрым невихляющим шагом.

Детский дом помещался в старинном особняке с шестью колоннами, принадлежавшем когда-то предводителю местного

дворянства. Судя по общей обветшалости фасада и облупленности колонн, дом с тех пор ни разу не ремонтировался. Но зато был одним из немногих ценных строений, не поврежденных войной.

Преодолев две тяжелые двери, Аглая вошла в вестибюль, и первое, что бросилось ей в глаза, была стенгазета «Счастливое детство». Света Журкина, ученица седьмого «Б» класса, стояла возле газеты и, высунув язык в сторону левого уха, переписывала что-то себе в тетрадку. Увидев Аглаю, поздоровалась, смутилась, закрыла тетрадку и отошла.

Поведение ученицы показалось Аглае подозрительным. Она приблизилась к газете и обомлела. Стихотворный текст, который не успела переписать Журкина, был в третьем столбце, после передовой, посвященной вопросам трудового воспитания молодежи.

Стихотворение, никем не подписанное, называлось «А мы так верили в тебя». В нем содержались упреки некоему полководцу, фамилия которого не указывалась, но всем было ясно — какому. Говорилось, что полководец вел нас от победы к победе, но при этом, пользуясь нашим безграничным доверием, творил очень нехорошие дела. Заключительная строфа выражала глубокое разочарование автора в своей былой приверженности полководцу, но тут же выражалась оптимистическая надежда, что в будущем все будет не так. Строфа завершалась полемическим вопросом: «Бывает гладко все не разом при штурме новой высоты. Я верю в коллективный разум, я верю в партию. А ты?»

Полоса со стихами была приклеена плохо — очевидно, картошкой. Или клейстером. Или просто слюной. Аглая схватила бумагу за отвалившийся угол, сорвала ее и, сжав как змею, быстро пошла к себе в кабинет. Секретарша Рита, шурясь в маленькое зеркальце, выщипывала пинцетом брови. Увидев вошедшую, вскочила.

— Здравствуйте, Аглая Степановна. Выздоровели?

— Выздоровела, — пробурчала Аглая. — Шубкин где?

— Только что тут крутился. Кажется, пошел в общежитие проверять у девочек заправку постелей.

— Пусть зайдет ко мне, — приказала она и скрылась в кабинете.

Швырнула бумагу на пол. Подняла. Положила на стол. Опять швырнула и опять подняла. Сняла пальто и стала быстро из угла в угол расхаживать по кабинету. Но тут же притомилась, запыхалась и вспотела. Все-таки была еще слаба. Услышав голоса в приемной, села за стол и изобразила на своем лице каменное выражение.

Марк Семенович Шубкин был человек лет пятидесяти, крупный, полнеющий и лысеющий, со свежим цветом лица, какой бывает у сельских жителей и заключенных. Похожий, между прочим, на Ленина. Ростом намного выше, но, как и Ленин, с преогромнейшей головой шестьдесят, как он сам уверял, шестого размера.

Работал он воспитателем в группе дошкольников и в порядке общественной нагрузки редактировал стенную газету. Ему эта работа была доверена неосмотрительно. Добровольно вести газету никто не хотел, а он, дорвавшись, без конца печатал в ней свои стихи и заметки. Что могло бы считаться для газеты немалой честью. В Долгове были свои поэты Бутылко, Распадов и прочие, но выше областной печати им подниматься не доводилось, а Шубкин в тридцатых годах печатался (ого где!) в «Известиях», в «Комсомольской правде» и в «Огоньке».

— Подойдите к столу, — велела Аглая, не отвечая на приветствие Шубкина. — Кто написал эту пакость? — Ее губы искривились в брезгливой гримасе, а глазами она показала на свернувшуюся спиралью полоску бумаги.

Шубкин протянул руку, но бумагу не взял, передумал.

— Я вас не понял, — сказал он и смиренно посмотрел на Аглаю.

— Я вас спрашиваю, — постукивая по столу пальцами, повторила она, — кто написал эту пакость?

— Вы имеете в виду эти стихи? — спросил он, поощряя ее к исправлению терминологии.

— Я имею в виду эту пакость, — стояла на своем Аглая Степановна.

— Эти сти-ти-тихи, — Шубкин от волнения заикался, — написал я.

— И кто же вам позволил написать эту пакость? — повторила она с непреклонной враждебностью.

— Эту па-акость мне па-азволила написать па-артия, — сказал Шубкин, бледнея, и выпятил грудь.

— Ах, па-па-а-артия, — передразнила Аглая. — Партия позволила. Нет, дорогой друг, партия тебе еще пока не позволяет всякую дрянь писать и спекулировать на теме. Я с этой дрянью вот что сделаю, вот. — И полетели на пол клочья бумаги. — Если ты думаешь, что на Двенадцатом съезде была отменена генеральная линия, то ты неправильно понимаешь. Партия вынуждена была пойти на некоторые поправки, но сомневаться в главном мы никому не позволим. Сталин как был, так и есть — ум, честь и совесть нашей эпохи. Был и есть. И все, и ничего более. И если о нем там кто-то что-то может сказать, это не значит, что каждому будет позволено. Надо же! — Она постепенно успокаивалась. — Каждый пишет чего ни попадя. «Верю в коллективный разум». Верующий какой нашелся! Ты вот, если такой сатирик, написал бы про мусорные бабки. Стоят, понимаешь, без крышек, а от них вонь, антисанитария, мухи. Сколько можно говорить, чтобы сделали крышки? Я завхозу два выговора влепила, скоро третий вломаю, строгий с предупреждением, а он хоть бы хны. Вот, если ты талант, сатирик, возьми и ударь сатирой по мусорным бачкам.

Шубкин побледнел еще больше, напыжился:

— А я не хочу ударять сатирой по ба-бачкам. Я хо-хочу сатирой ударить по Ста-та-та...

— Все понятно, — поставила точку Аглая. — Вы уволены. Завтра расчет в бухгалтерии.

11

Между прочим, она этого типа раскусила давно. Еще когда он пришел наниматься на работу. У нее тогда не было учителя литературы, а этот подкатился. С красным дипломом

ИФЛИ, Института философии и литературы, того самого, где учились еще до войны многие наши выдающиеся личности, включая поэта Твардовского и секретаря ЦК комсомола Шелепина.

— Надо же! — удивилась Аглая, разглядывая диплом. — Какие люди осчастливили наше захолустье!

В Долгове по причинам, изложенным выше, встречались люди с высшим образованием, но с таким все же встречались нечасто.

— А где же вы после института работали?

— На лесоповале, — сказал Шубкин просто.

— Почему? — спросила она и тут же поняла, что глупость сморозила, чего уж тут спрашивать.

И пока он молол ей что-то невнятное о необоснованных репрессиях и перегибах, она все решила.

— Понятно, — перебила она. — А почему вы, собственно, к нам?

— Ну, во-первых, потому, что увидел объявление, во-вторых, у меня подходящее образование, и в-третьих... — он выдержал паузу и закатил немного глаза, — я очень люблю детей.

— Детей все любят, — заметила Аглая. — Тем более, — подчеркнула, — наших, советских детей, — имея в виду, что наших, но не ваших. — А у вас, кстати сказать, собственные детишки есть?

— Нет, — сказал Шубкин, словно бы извиняясь. — Не обзавелся. Потому что... сами понимаете.

— Ну да, — простила она. — Это понятно. Но, — развела руками, — к сожалению, у нас для вас нет места.

И, давая понять, что разговор окончен, полезла в пачку за очередной «беломориной».

Но он уходить не торопился.

— Но вы только что сказали, что у вас есть место.

— Я сказала, но вижу, что у вас нет достаточного педагогического опыта. Образование у вас, конечно, очень высокое. Для нас, может быть, даже и слишком. Но у нас же специфика.

У нас дети трудные, без родителей. Вам лучше для начала попробовать в обыкновенной школе.

Ясно, что слова о недостатке опыта были лишь отговоркой. На самом деле она отказала Шубкину потому, что таких, как он, не любила. Она твердо знала, что *туда* ни за что не попадают. Она рассуждала по известной логике: вот я жила честно, и меня никто не посадил. И этого не посадили, и того не посадили. А уж если посадили, то дыма без огня не бывает, значит, было за что. Допустим, теперь новые времена. Социалистический строй укрепился, и партия, она сильная, может проявить к врагам известную снисходительность. Можно сократить наказание, трудоустроить. Но доверять подобным типам воспитание подрастающих поколений — этого нельзя допустить никогда и ни при каких обстоятельствах.

Ее, однако, поправили.

Это тоже был один из признаков надвигающихся перемен. Шубкин пожаловался в роно. Оттуда пришел приказ: трудоустроить. Аглая, скрепя сердце, подчинилась, но определила нового педагога не преподавателем в старшие классы, как он просил, а воспитателем в старшую дошкольную группу.

Но продолжала относиться к нему подозрительно. Ей не нравилось, что он своим маленьким воспитанникам рассказывает про каких-то мух-цокотух, гадких утят, козлят, поросят и волков.

— Если уж вы им и рассказываете про этих поросят, — учила она, — подведите под них идейную базу. Объясните, что поросята — это развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки, а серый волк это кто?

— Кто? — спрашивал Шубкин, имея на этот счет собственные соображения.

— Серый волк, — объясняла Аглая, — это американский империализм.

— Но ведь дети для такого восприятия еще маленькие, — сопротивлялся Шубкин.

— Вот и хорошо, что маленькие. Маленькие лучше усваивают.

Шубкин умолкал, но по глазам его она видела: не согласен. Причем не просто не согласен. Она подозревала, что Шубкин через этих поросят сознательно протаскивает чуждую идеологию. И как ни странно... но об этом позже... была, в общем, права.

Теперь поведение Шубкина и его стихотворение убедили Аглаю, что его прошлое не было случайным. Раньше таился, и вот, на тебе, вылез, как таракан из щели. Забыл про своих козлят-поросят, перешел к прямым нападкам на самое дорогое.

12

Вскоре она увидела, что Шубкин в своих устремлениях не одинок. В районном отделе народного образования, куда он опять пожаловался, ее приказ не утвердили. Она решила сама навестить заведующего.

Когда она вошла в кабинет, Богдан Филиппович Нечитайло сидел под портретами Ленина и Крупской. Это был молодой, грустный человек в хлопчатобумажном пиджаке и темной рубашке с расстегнутой верхней пуговицей. В описываемое время еще многие начальники районного уровня жили плохо и одевались бедно. Поскольку зарплату имели небольшую, а взятки пропивали немедленно, да и какие взятки у зав районным отделом народного образования?

Небритый и нетрезвый, Нечитайло пальцами, желтыми от табачного дыма, складывал газету «Правда» в нечто вроде маленькой книжечки.

— Я к вам, — сказала Аглая, потоптавшись у порога и почему-то вдруг оробев.

— Я вижу, шо до меня, — кивнул Нечитайло. — Тута, — он повернул голову туда и сюда, — кроме меня, никого нету. И чем же, Аглая Степановна, я мог бы быть для вас, к примеру, полезный?

Пока Аглая излагала суть дела, он закончил сложение книжечки, один листок из нее вырвал, согнул желобком и потянулся за лежавшим перед ним шелковым кисетом с вышитой

на нем и выцветшей витой надписью «Кури и не кашляй». В этом кисете был у него табак-самосад, то есть такой, который люди раньше сами выращивали, сами сушили и сами же мелко резали. Если резали с корнями, то получалась махорка, сравнительно слабая, а если в дело шли одни листья, то достигалась такая крепость, что у заядлых курильщиков перехватывало дыхание и из глаз брызгали слезы, как у клоунов в цирке. Табак этот в народе назывался «самсон» и, по распространенному убеждению, курильщиков побуждал: молодых — к половой активности, а стариков — ко сну. Хотя трудно себе представить, чтобы регулярный курильщик такой отравы имел сколько-нибудь шансов дожить до стариковского возраста. Нечитайло достал из кисета щедрую щепоть «самсона», рассыпал ровно по желобку, край бумаги послюнил и покусал передними зубами, чтоб лучше клеилось, свернул тугую сигарку толщиной с большой палец, достал из кармана зажигалку, сделанную из винтовочного патрона с колесиком.

— Фронтвая, — сказал он Аглае и высек огонь. Запахло дрянным табаком и горелой бумагой. Раскуривая сигарку, Нечитайло пучил глаза, раздувал и втягивал щеки, издавая звуки, как паровоз: — Ух-пух-ух-пух-пух.

Нечитайло пыхтел, табак трещал и стрелял, искры сыпались в разные стороны. Цигарка наконец раскурилась, Богдан Филиппович затянулся со вкусом, закашлялся, засипел, словно в предсмертных муках, и на время утонул в клубе темносизого облака.

— И вот, — закончила свой рассказ Аглая, — я вас спрашиваю, разве можно допускать такого человека, как Шубкин, к воспитанию наших советских детей?

— Я думаю, можно, — дошел до нее голос из дыма, который, впрочем, стал рассасываться, и Нечитайло вынырнул из него, как самолет из облака. — Я думаю, можно, — повторил он, держа самокрутку в левой руке и разгоняя дым правой, — и вообще скажу вам, товарищ Ревкина, примерно вот так. Партия сейчас, как вы знаете, узяла курс на бережное отношение к кадрам. Не то шо, как было раньше, чуть

шо — и секим башка. С людьми ж надо обращаться, я бы сказал, гуманно. Тем более с такими, как Шубкин. Это же ж человек, можно сказать, уникального интэллекта. Он же ж имеет два вышших образования, на двенадцати языках говорит свободно, а остальными владеет со словарем. А память у него ну просто скаженная. Помнит, можно сказать, наизусть «Одиссею», — Нечитайло загнул мизинец, — «Илиаду», — загнул безымянный палец и дальше с загибом остальных пальцев перечислил: — «Евгения Онегина», таблицу Менделеева, «вечнозеленую» шахматную партию, «Песню о Буревестнике», четвертую главу «Истории ВКП(б)» и работу Ленина «Шо такое «друзья народа». Я сам, Аглая Степановна, не поверил, следил по тексту, так он же ж прямо из головы и слово в слово. Во! Прямо можно сказать не голова, а Совет Министров.

— А товарищ Сталин, — сказала Аглая, — нас учил, что чем враг умнее, тем он опаснее.

— Ну шо вы мне говорите за товарища Сталина. — Богдан Филиппович вздохнул, сделал новую затяжку и опять закашлялся, наклоняясь к столу и хватаясь за грудь. — У товарища Сталина, — еще покашлял, — мы ж теперь знаем, тоже ж были свои ошибки. Он даже в войну руководил войсками по глобусу. Вот так глобус крутит и говорит, этот город, говорит, узять к Октябрьской годовщине, а этот, говорит, ко дню Красной Армии. А как его узять, с какой стороны подойти, куда подтянуть резервы, это меня, говорит, не касается, я, говорит, Верховный главнокомандующий и руковожу верховно. Понимаете? А насчет деталей это пусть Жуков, говорит, думает или Толбухин.

— Чушь! — разозлилась Аглая. — Товарищ Сталин был гений и во все детали сам лично вникал.

— А-а, — поскучнел Нечитайло, — я с вами, Аглая Степановна, в идеологические споры не вступаю. Тем более шо руководство нашей партии имеет другое мнение.

— А у тебя, — перешла Аглая на «ты», — свое мнение есть?

— Есть, — заверил ее Нечитайло. — Но оно у меня, как у каждого честного коммуниста, от мнения высшего руководства не отличается. И потому я ваш приказ об увольнении Шубкина признаю, ну как бы сказать, недействительным. Это значит, — заключил он решительно и вдавил окурочек в пепельницу, — шо он завтра утром может выходить на работу.

Аглая поняла, что говорить больше не о чем, и встала со стула.

— Ну хорошо! — сказала она с угрозой, не имеющей смысла. — Хорошо!

И вышла, постаравшись хлопнуть дверью погромче.

А Нечитайло посидел, подождал, пока она удалится, сказал «дура», покачал головой и стал ладить новую самокрутку.

13

На этот раз Аглая вышестоящему органу не подчинилась и к работе уволенного не допустила. Начались неприятности. Ее вызвал к себе Поросянинов, усадил в мягкое кожаное кресло, велел подать чаю с сушками и лимоном. Разговор начал со вздоха:

— Эх, Аглая Степановна, партизанская жилка. Куда ж ты лезешь-то напролом? Ну, не нравится тебе этот Шубкин, ну кому он нравится? Он и мне не нравится, и сам лично я, признаться, всю нацию их на дух не переношу. И то, что там наверху происходит, мне это тоже не по нраву. Сталин тридцать лет стоял во главе государства, мы его до небес возносили. И гений, и корифей, и генералиссимус. А теперь, значит, Кирова убил, крестьянство разорил, интеллигенцию пересажал, армию обезглавил, партию уничтожил. А мы-то с тобой кто, разве не партия?

— Вот! — обрадовалась Аглая. — Я именно про это и говорю.

— Про это все говорят. Но промежду собой, шепотом. А гласно мы должны поддерживать линию партии. Какая б она ни была, куда б ни поворачивала, мы коммунисты и голосуем «за».

— Беспринципно? — спросила Аглая.

— Беспрекословно, — сказал Поросянинов.

Аглая вспыхнула, хотела возразить, и довольно резко, но тут отворилась дверь и в кабинет без шума вошел, как будто даже и не передвигая ногами, первый секретарь райкома Нечаев. Он поздоровался за руку с Поросяниновым, который вскочил, и с Аглаей, которой, положив руку на плечо, не дал подняться, спросил: «Не помешаю?», сел на диван и застыл в положении пассажира, ожидающего поезда, который не скоро придет. И с таким видом, будто происходящее здесь его не касается.

— Так вот, товарищ Ревкина, — продолжил Поросянинов. — Речь идет не о Шубкине, а о линии партии. Партия наша взяла курс на преодоление культа личности Сталина. Который, вы знаете не хуже меня, совершил много тяжелых политических ошибок. Он управлял страной единолично, разорил крестьянство, обезглавил армию, возглавлял гонения на интеллигенцию, уничтожил фактически цвет нашей партии и поощрял славословия в свой адрес. И теперь партия мужественно говорит народу всю правду, а вы что? Что вы, — повторил Поросянинов и честно посмотрел Аглае в глаза, — против правды?

— Это ты кому говоришь? — удивилась Аглая, помня, что минуту тому назад Поросянинов говорил нечто противоположное.

— Я вам говорю, — сказал Поросянинов и бросил быстрый взгляд на Нечаева. — Я вам говорю, что у нас есть принцип демократического централизма, по которому, если партия приняла решение, рядовые коммунисты его исполняют. Вот и всё.

В это время Нечаев встал и вышел так же тихо, как и вошел. Аглая проводила его глазами и перевела взгляд на Поросянинова. Тот, очевидно, все-таки разволновавшись, взял в вазочке сушку, разломал, взял другую, разломал, взял третью, посмотрел на Аглаю:

— Ну так что, Аглая Степановна?

— Что? — спросила она.

— Каяться будешь?

— Я? — удивилась она.

— Бери бумагу и пиши: «Я, Ревкина Аглая Степановна, будучи немного не при своих, не поняла нового курса партии, не осознала мудрости партийных решений, в чем полностью раскаиваюсь и торжественно обещаю, что больше никогда так делать не буду».

— Это ты серьезно? — спросила Аглая.

— Товарищ Ревкина, — сказал Петр Климович, поднимаясь, — у нас, в этих кабинетах, вы сами знаете, несерьезно не говорят. Я вам очень советую подумать.

— Хамелеон! — сказала Аглая и вышла, не заметив протянутой ей руки.

Вскоре Аглая получила строгий выговор за противодействие партийным решениям и была понижена в должности, став рядовым воспитателем, как Шубкин. Что ее оскорбляло ужасно.

14

На свои злоключения пожаловалась Аглая сыну Марату, который учился в Москве, в Институте международных отношений. Из ее письма он узнал, что мама огорчена не столько личными неудачами, сколько общим направлением дел. «Ты знаешь, — писала она, — что ни я, ни твой героически погибший отец никогда себя не жалели, я и сейчас себя не жалею, но мне стыдно, стыдно до слез смотреть на людей, которые плевывают то, что вчера превозносили. Когда Сталин был жив, я не помню такого случая, чтобы кто-то сказал, что Сталин ему чем-то не нравится. Все в один голос говорили: гений. Великий полководец. Отец и учитель. Корифей всех наук. Неужели они все не верили в то, что говорили? Неужели все врали? Не могу понять, когда же эти люди были искренни, сейчас или тогда? А как можно равнодушно смотреть на то, что среди твоих ровесников, среди молодежи подрывается вера в самое святое, в правоту нашего дела!»

В длинном письме она ни разу не спросила сына, как он живет, где и в каких условиях, здоров ли, что ест или пьет, как проводит свободное время. Но изложила убеждение, что никто не имеет права судить и осуждать гения, который тридцать лет стоял во главе государства, провел коллективизацию, разгромил оппозицию, превратил отсталую страну в индустриальную державу и одержал всемирно-историческую победу над врагом.

В том же письме выражала она недовольство тем, что из лагерей выпустили всех врагов народа, которые вместо того, чтобы сказать спасибо, теперь еще требуют каких-то прав и льгот и на каждом углу кричат, что они пострадали ни за что. Может быть, среди них и попадались случайно отдельные невинные жертвы, но — лес рубят, щепки летят — нельзя же выпускать всех без разбору. «А мы разве не страдали? — писала Аглая — Разве не мы недоедали и недосыпали, разве не на нас были нацелены кулацкие обрезы? Кто-то просидел несколько лет в тюрьме, там его кормили и поили бесплатно, а твой отец жизнь отдал, не задумываясь, за Родину и за Сталина. Почему же мы никому не жалуемся? А то, видишь, герои. Они пострадали. Так пострадали, что даже самим плакать хочется. А я думаю, что если кого и напрасно наказали, то теперь его, когда он в лагере разложился и набрался антисоветского духа, выпускать незачем. Он уже все равно враг, и поступать с ним надо по-вражески».

Сын ответил ей, к ее удивлению, холодно. Он написал, что все эти проблемы его не волнуют, и, почти повторяя слово в слово Поросьянинова, заметил, что на жизнь надо смотреть реалистически.

Сам Марат к своим двадцати двум годам практикой реалистического отношения к жизни вполне овладел и свои дела успешно устраивал. Будучи благородного по советским понятиям происхождения (партийные работники считались передовым отрядом рабочего класса), он учился в одном из самых престижных и доступных не всем институтов. Блестящих способностей не имел, но был сообразителен и приметлив. И

очень быстро заметил, что, имея общие привилегии как сын партийцев, он допущен к освоению преподаваемых в институте наук, но там же, среди студентов, есть узкий круг, совсем для него закрытый. Дети больших начальников, генералов, министров, членов ЦК жили совсем другой жизнью и могли себе позволять гораздо больше, чем другие их однокашники. Они пропускали занятия, пьянствовали, раскатывали на родительских автомобилях, устраивали оргии с девочками своего круга или не своего, иногда и насильствовали, а одну (был такой случай) даже скинули с балкона. Дело казалось громким, но оказалось тихим. Его очень ловко замяли, объявив, что скинутая была в состоянии депрессии и сама с балкона этого скинулась. А уж сравнительно мелкие шалости этим ребятам и вовсе сходили с рук. Марат знал: то, что позволено и простительно им, никогда не будет позволено и прощено ему. Стать с ними вровень или даже обойти их можно, но для этого надо преуспеть в каких-то других делах, набрать очки там, где эти балбесы не добирают по беспечности, надеясь на своих пап и не понимая того, что сегодня твой папа всё, а завтра никто и ты тоже вместе с ним станешь никем. Марат сделал правильные выводы и вел себя в соответствии с ними. Жил скромно, посещал студенческий научный кружок, делал скучные доклады, активно участвовал в комсомольской жизни, готовился в партию. Науки усваивал с трудом, но старался, поняв, что для будущей карьеры важна не успеваемость, а именно старания, чтобы начальство видело, что ты стараешься, слушаешь, раскрыв рот, и ведешь конспекты. А конспекты у него были ну хоть в музей. Чистые аккуратные тетрадки, обложки газетой «Правда» обернуты, почерк прямой и четкий, важные мысли подчеркнуты красным карандашом в доказательство того, что не только записывал, но и читал. Марат усвоил и то, что активное участие в общественной жизни поощрялось больше, чем усердие в накоплении знаний. Он знал, что надо уметь ладить с людьми, следовать не пылким порывам, а трезвому расчету и помнить, что в реальной жизни важны не писанные законы, а неписанные правила поведения.

Эту мысль сформулировал не он, а замминистра внешней торговли Сальков, отец Зои, девушки, за которой он ухаживал. И он, ухаживая за Зоей, как раз и руководствовался в первую очередь правилами. Он делал карьеру и замечал, что время фанатиков истекло. Их не любят не только какие-нибудь антисоветчики или фрондеры, но и сами партийные люди. Партийным не хотелось работать, как это было в прошлом, ночами, в ожидании, что вдруг Отцу народов понадобится какая-нибудь справка или еще что-нибудь, они устали жить в постоянном страхе и помнить, что отстрел партийных работников продолжается. Сейчас время для карьеры не такое опасное, как раньше, зато более сложное, надо проявлять гибкость и не спешить занимать ту или иную позицию, пока она точно не определилась.

Понял Марат и то, что время излишне скромных одежд — косовороток, гимнастерок, полувоенных френчей, суконных шинелей и сапог с высокими голенищами — прошло. Он по возможности хорошо и аккуратно одевался, вовремя стригся у дорогого парикмахера и даже слегка душился. С Зоей разговаривал не развязно, как это было принято у юнцов ее круга, а, наоборот, проявлял некоторую старомодную галантность. Что ее в конце концов и покорило.

15

Что говорить о других, если даже родной сын Аглаю не понял. Она обиделась, стала писать ему реже и холоднее.

Отношения с сослуживцами в детском доме были натянутыми, а то и просто враждебными. Никто не улыбался, как раньше, не кидался исполнять ее просьбы, и даже секретарша Рита здоровалась сквозь зубы. А Шубкин за это время еще больше возвысился. Его перевели преподавателем литературы в старших классах, и вид победителя, с которым он входил в детский дом, вполне соответствовал его положению.

Новый директор детдома Василий Иванович Чиркурин, равнодушный ко всему, кроме выпивки, дал Шубкину очень

большую волю, чем тот в полной мере пользовался. Он не только преподавал литературу в старших классах, но создал литературный кружок «Бригантина», вел драмкружок имени Мейерхольда и продолжал редактировать стенгазету «Счастливое детство».

Аглая никогда не была стукачкой и стукачей не любила, но по партийному долгу много раз указывала новому директору на то, что, пользуясь своим положением, Шубкин внедряет в головы учеников «не наши идеи». На уроках литературы и на занятиях литкружка иронически отзывается о методе социалистического реализма, пропагандирует писателей сомнительной репутации и нереалистического направления, восхваляет таких осужденных партией литераторов, как Зощенко, Ахматова, Пастернак. Высоко отзывается о порочном, отвергнутом советской общественностью романе Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» и распространяет этот роман среди воспитанников детского дома, уделяет слишком много внимания западной литературе. Чиркурин на эти сигналы не реагировал, махал рукой, пусть, мол, делает чего хочет. Тем более что интерес к литературе у учеников заметно возрос, успеваемость повысилась и с дисциплиной стало лучше.

К Октябрьским праздникам Шубкин вместе со своими учениками подготовил большой концерт художественной самодеятельности, на который явились шефы из кожевенной фабрики и колхоза «Победа» и, естественно, все сотрудники детдома.

Пришла на концерт и Аглая. Ей досталось срединное место в третьем ряду, соседнее с председателем колхоза «Победа» Степаном Харитоновичем Шалейко, плотным бритоголовым мужчиной лет сорока. Шалейко она знала еще со времен своего секретарства. Кажется, он был из одной области с Нечитайло, во всяком случае, говорили они одинаково, на языке, который нельзя было назвать ни русским, ни украинским. Когда-то это называлось малороссийским наречием. На самой Украине этот язык именуют суржиком, а суржик — это гибрид пшеницы и ржи. Шалейко и сам был похож на гибрид

человека с каким-то растением, вроде, может быть, баобаба, крупный, корявый, с грубыми чертами лица и вислым носом, похожим на недозревший баклажан. Он был одет по уходящей в прошлое моде тогдашних деревенских начальников: в диагональном френче-сталинке с накладными карманами, в хромо-вых сапогах. От него пахло одеколоном «Шипр», гуталином, потом и сельским хозяйством.

Шалейко с Аглаей приветливо поздоровался и даже почти привстал.

— Давно тебя не видел, — сказал он, доброжелательно улыбаясь. — Как дела?

— Так, — пожала плечами Аглая.

— Слышал про твои неприятности, — сказал он вполголоса и вздохнул. — Ты человек принципиальный, негибкий. А сейчас время гибких. Которые хорошо и в нужный момент умеют сгинаться. Тем более шо все меняется. Здесь меняется, там меняется.

Он показал глазами куда-то вверх. Она проследила за его взглядом и увидела над сценой два портрета советских вождей. Там всегда висели два портрета. Но раньше это были портреты Ленина и Сталина, а теперь... вот наглость-то... Ленина и Хрущева. Или «этого Лысого», как она называла Никиту Сергеевича. Что возмутило Аглаю до глубины души. Она уже примирилась с нападками Лысого на Сталина, но не ожидала, что он дойдет до такого нахальства и на место Сталина поставит себя. Рядом с Лениным. Который, впрочем, тоже был лысым и которого она, сама себе не признаваясь, тоже, в общем-то, не любила.

Иногда на Аглаю находили такие приступы злости, что ее в буквальном смысле слова начинало трясти. Она сжимала пальцы в кулаки, прижимала локти к бокам и дрожала, чувствуя, что и сердце необыкновенно колотится. Однажды она даже попыталась объяснить свое состояние врачу-невропатологу. Она боялась, что он над ней посмеется, но он выслушал ее внимательно и посоветовал подобных стрессов опасаться и избегать.

— Вы меня извините, — сказал он, — но я врач и должен быть откровенным. Ваша беда в том, что вы — злая. Злоба — это чувство, которое прежде всего разрушает того, в ком рождается. Вы же это чувство сами в себе переживаете, ваше, не чье-нибудь сердце колотится, и совершенно без толку. А тот, на кого вы злитесь, этого может даже и не заметить. Очень вам советую: постарайтесь не злиться, быть к людям добрее, и не ради них, а ради себя самой.

К совету доктора она отнеслась серьезно и старалась ему более или менее следовать, но теперь, увидев портрет Лысого, не сумела себя сдержать и опять стала трястись, как в припадке, хотя понимала, что вред ей одной. Если бы хоть часть ее чувства дошла до Лысого, он бы, наверное, сгорел, испепелился на месте, но куда там! Расстроилась, хотела уйти. Но только стала подниматься, свет в зале погас, сцена осветилась лучом прожектора, и на ней появился Шубкин в мятых брюках и серой вязаной кофте. Он стал посреди сцены, смотрел в зал, шурясь от направленного на него луча, выдержал длинную паузу и тихо сказал:

— Я земной шар чуть не весь обошел...

И умолк.

— Врет, — прошептал Аглае Шалейко. — Лагеря он прошел, а не земной шар.

— И жизнь хороша, — продолжил Шубкин раздумчиво, — и жить хорошо.

— Это стихи, — сказала Аглая.

— Все равно врёт, — сказал Шалейко.

Шубкин помолчал и вдруг зачастил резко, рубя воздух правой рукой:

— А в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше.

Аглая заскучала. Сталин сказал о Маяковском, что он был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Спорить со Сталиным она не смела, но Маяковского не любила. Ей гораздо больше нравились Демьян Бедный и Михаил Исаковский, которого она знала по песням. Шубкина слушала вполуха и смотрела куда-то мимо.

А Шубкин сказал:

— Вьется улица-змея, дома вдоль змеи.

На этих словах из-за кулис, выстроившись друг другу в затылок, выбежали мальчики и девочки группы дошкольников и стали бегать по сцене, извилистой колонной по одному, изображая улицу-змею.

— Улица моя! — закричал Шубкин. — Дома мои!

Дети окружили Шубкина, а он раскинул руки, как будто всех подгрел под себя, и все вместе они стали победоносно выкрикивать:

Окна разинув, стоят магазины.

В окнах продукты: вина, фрукты...

Почувствовав прикосновение, Аглая опустила глаза и увидела, что Шалейко трется своим коленом об ее колено. В другой раз ей могло понравиться. Но сейчас не было настроения. Шубкин вел себя на сцене так, как будто праздновал победу над ней. Она посмотрела Шалейко в лицо и сказала:

— Нет.

Он спросил шепотом:

— Почему?

Она ответила:

— По кочану.

Он обиженно засопел и стал смотреть на сцену, где младшие школьники исполняли краснофлотский перепляс. Затем средние школьники спели песни «Гренада» и «Бригантина», а старшие сыграли отрывки из какой-то пьесы про Ленина, которую Шубкин сам, кажется, написал и сам себе доверил исполнение главной роли. Когда он опять вышел на сцену в гриме с бородкой, все прямо ахнули — до чего похож! Он быстро бегал по сцене, бурно жестикулировал, хитро шурился, грассировал, хлопал Сталина по плечу (его с наклеенными усами играла Света Журкина), называл батенькой, уличал в ошибках и махал перед носом пальцем: «Запомните, батенька: законность относится к числу архиважнейших признаков социализма».

Аглая смотрела на сцену, сжимала кулаки и, забыв наставления доктора, думала: «Ненавижу!»

Второе отделение концерта Шубкин захватил целиком — опять со стихами Маяковского и других поэтов. Она слушала «Стихи о советском паспорте», сжимала кулаки и думала: «Ненавижу!» Он читал «Анну Снегину», она думала: «Ненавижу!» Он прочел отрывки из «Василия Теркина», она и тут думала: «Ненавижу!» А потом он и вовсе дошел до какой-то безыдейной модернистской чуши. Какого-то Леонида Мартынова:

*Что такое случилось со мною?
Говорю я с тобою одною,
А слова мои почему-то
Отзываются за стеною.
И звучат они в ту же минуту
В ближних рощах и дальних пущах,
В близлежащих людских жилищах
И на всяческих пепелищах,
И повсюду среди живущих.
Знаешь, в сущности, это неплохо,
Ни для оха и ни для вздоха
Расстояние не помеха.
Удивительно звонкое эхо.
Очевидно, такая эпоха,
Очевидно, такая эра.*

«Ненавижу!» — думала Аглая, упираясь кулаками в колени.

Однако большинство зрителей приняло концерт хорошо. Было много аплодисментов, и самые бурные достались, конечно, Шубкину.

После концерта праздник отмечали в кабинете директора, за двумя поставленными в ряд длинными столами. Аглая ока-

залась между Шалейко и Шубкиным. С Шубкиным она вообще не разговаривала и даже делала вид, что не замечает его. Она повернулась к нему спиной и стала громко расспрашивать Шалейко о колхозных делах: какой собрали урожай яровых и много ли засеяли озимых? Шалейко вполголоса сообщил ей главные цифры и под скатертью потрогал ее колено рукой. Она руку скинула и спросила: а как насчет животноводства, утеплены ли к зиме коровники?

— А как же, — сказал Шалейко, суя руку туда же. — Крыши перекрыты, стены ошкатурены, везде стоят calorиферы.

Она его опять отпихнула и теперь сидела как бы одна, сама себе подливая портвейну.

Богдан Филиппович Нечитайло произнес тост за Октябрьскую революцию, за партию, успешно преодолевающую последствия культа личности, за дорогого Никиту Сергеевича Хрущева, ведущего страну по пути обновления. Особо он отметил усилия Никиты Сергеевича по восстановлению ленинских норм социалистической законности.

Чиркурин, продолжая тост, предложил выпить за один из примеров восстановленной законности, то есть за Марка Семеновича Шубкина. Который, как сказал Чиркурин, не обиделся на партию...

— А на партию не обижаются, — перебил Шалейко.

— А я и говорю, — охотно согласился Чиркурин. — На партию не обижаются. У советского человека есть своя гордость, он может обижаться на соседа, товарища по работе, на жену, на брата, на мать и отца, но на партию... — он выдержал длинную паузу, выпятил нижнюю губу и повел указательным пальцем из стороны в сторону, — ни-ни. И Марк Семенович не обиделся... Ты ж не обиделся, Марк Семенович?

— Ни в коем случае, — отозвался Марк Семенович. — Я не обиделся. Больше того, я приобрел неоценимый жизненный опыт.

— Стоило бы его удлинить, — вдруг пошутила Аглая.

— Что? — повернулся к ней Шубкин.

— Ничего, — сказала она и отвернулась.

— Да, — продолжил свою речь Чиркурин. — Марк Семенович не обиделся, не озлобился, не укрылся в своей скорлупе, а сразу и активно включился в работу и в общественную жизнь. И детей воспитывает, и газету выпускает, и самодеятельность организовал. Скоро на областной смотр поедем, и там, я уверен, первое место будет за нами.

Разумеется, похвалы Шубкину Аглая поняла как укоры себе, но больше в разговор не встревала. Все произносимые тосты были ей чужды, однако выпить хотелось, и она пила, ни с кем не чокаясь. И чем больше пила, тем больше испытывала какое-то странное влечение к Шубкину. Хотя слева к ней все еще время от времени приставал и раздражал своими руками Шалейко. После двух стаканов портвейна и половины третьего она возбудилась и, наклонившись к Шубкину, спросила:

— Рад, что победил?

— Нет, я боролся не против вас. — Шубкин говорил ей «вы», хотя года на три был старше. — Я отстаивал принципы. А вам я зла не желаю.

— Ну да, не желаешь! — не поверила она. — Еще как желаешь. Я думаю, если б твоя власть, — сказала она, впадая в не осознанное ею волнение, — ты б уж со мной ух как расправился.

— Только одним способом, — сказал Шубкин. — От детей бы отодвинул подальше. А больше ничего.

Тем временем веселье продолжалось. После ужина сдвинули столы, стали танцевать под аккордеон. Играл Аглаин сосед Жорка Жуков, бесшабашный лохматый парень, специально приглашенный для обслуживания этого вечера. Он сидел у окна на стуле, поставив стакан с водкой на подоконник, и в перерывах между танцами брал стакан, прихлебывал и опять играл с закрытыми глазами, как будто спал. Шалейко, не оставляя своих усилий, пригласил Аглаю, она станцевала с ним один вальс, но удовольствия не получила.

Потом Шалейко и Нечитайло спели на два голоса «Выпрягайте, хлопцы, коней», а жена Нечитайло Рада (по-

русски — Совет) исполнила арию из оперы «Запорожец за Дунаем»: «А я дивчина полтавка, а зовуть мэнэ Наталка».

А когда все кончилось и сотрудники выкатились в дождливый холодный вечер, Аглая догнала Шубкина уже за воротами, рванула за рукав:

— А я тебя... слышишь, вот если б моя власть, если б ты мне попался во время войны, я бы тебя, псину, из пистолета... я бы всю обойму в тебя всадила...

И вдруг вцепилась в него, прижала его к себе, он думал, что она его душит, и не понял, что ее чувство было вспышкой ненависти и вспышкой страсти, она его хотела убить и одновременно воспылала желанием быть подмятой им под себя, чтобы он ее растоптал, раздавил, раскатал, как тесто на доске.

Он был крупнее ее, сильного пола, с мускулами, неплохо развитыми на лесоповале. Но справиться с разъяренной бабой оказалось непросто. Попытался вырваться, но не смог, а она притянула его голову к себе и в противоречивом желании впилась в него как бы поцелуем взасос, но сжала зубы и прокусила нижнюю губу. Ощутила вкус крови и хотела грызть его дальше, предвкушая наступление какого-то необыкновенного состояния, но он оборвал ее порыв грубым толчком, отшвырнул ее от себя, так, что она упала, зашибла колено и порвала чулок, а сам, прижавши ладонь к губе, в ужасе кинулся прочь, разбрызгивая кровь и оглядываясь.

Такое ее поведение, может быть, кому-то покажется странным. Оно и автору показалось странным, он даже подумал, что тут, может быть, и есть некий ключик к разгадке Аглаино характера, и по этому поводу консультировался с очень авторитетным психосветилом фрейдистского направления. Светило долго думало и рассудило:

— Ваша героиня, очевидно, относится к тому типу женщин, которые всегда страдают от сексуальной неудовлетворенности. Одни переносят ее сравнительно спокойно. А она из другой категории. Она вообще ничего спокойно переносить не может, а этого тем более. При определенных обстоятельствах у нее возникает столь страстное желание, что она не в силах с

ним справиться и теряет рассудок. Это желание возникает внезапно, как приступ, и готово немедленно, даже без полового акта, довести ее почти до оргазма, но в самый последний момент приступ проходит, возделенный пик остается недостижимым, и это приводит ее к сильному, болезненному душевному опустошению, она становится резкой, злой и жестокой.

— Хорошо, — сказал я, — допустим, все это так, но при чем здесь Шубкин? Какое желание может он вызывать, если она его так ненавидит, что готова немедленно расстрелять?

— А это, — сказала светило, — довольно распространенное нарушение психики. Безумная ненависть возбуждает такое же влечение, как и безумная любовь. У человека вроде вашей Аглаи любовь и ненависть в сильнейших своих проявлениях ничем друг от друга не отличаются.

17

Мне жаль грядущие поколения, которые даже представить себе не смогут, что было время, когда на всей обширной территории Союза Советских Социалистических Республик (обширной, а не оффшорной) торжествовала обязательная для всех трехсот миллионов населяющих территорию народов, народностей и племен (порою довольно диких) общая система передовых во всех отношениях взглядов, называемая Единственно Правильным Научным Мировоззрением.

Мировоззрение было единственно правильным и проповедовалось единственной (в других не было нужды) политической партией. Но внутри партии все члены ее, признавая Единственно Правильное Мировоззрение единственно правильным, разделялись на два недружелюбных друг к другу течения. Одно течение были марксисты-ленинцы, а другое — сталинисты. Марксисты-ленинцы были хорошие марксисты, добрые. Они хотели установить на земле хорошую жизнь для хороших людей и плохую для плохих, но обязательно в соответствии с Мировоззрением. И поэтому плохих людей убивали, а хороших по возможности оставляли в живых. А сталинисты были по сути своей

демократы — убивали всех без разбору, и Мировоззрение считали не догмой, а руководством к действию. Соответственно марксисты-ленинцы считались гуманистами и приверженцами Единственно Правильного Мировоззрения, а сталинисты были привержены Сталину и готовы были идти за ним в любую сторону, куда бы он их ни повел.

Так вот разница между Марком Семеновичем Шубкиным и Аглаей Степановной Ревкиной состояла в том, что он был марксист-ленинец, а она сталинистка. Но оба, каждый по-своему, исповедовали Единственно Правильное Научное Мировоззрение, которое наш Адмирал обозначал аббревиатурой ЕПНМ, а произносил как японское слово Епэнэмэ.

Кстати, насчет Адмирала.

Пора уже представить его поподробнее.

Алексей Михайлович Макаров носил это прозвище не потому, что фамилия адмиральская. И не в соответствии с профессией — по профессии он был лингвист и литературовед. И не по призванию — по призванию он был интеллектуал широкого профиля. И не по реальному роду занятий — по роду занятий он был ночным сторожем на лесоскладе. Адмиралом он назывался ввиду своего увлечения морем, которого он никогда не видел, но о котором всё знал по книгам. Впрочем, по книгам он вообще знал всё обо всем. Даже больше, чем Шубкин. Когда его спрашивали, откуда у него такие обширные знания, он отвечал, что просто повезло. В детстве болел полиомиелитом, был прикован к постели, а потому не играл в футбол или в пятнашки, не бегал за девочками. К тому же не знал еще телевизора, компьютеров, компьютерных игр и Интернета. Ему еще и та удача выпала, что родился он не в Америке. Там бы ему придумали что-нибудь электрическо-механическое, с помощью чего он бы передвигался, отвлекаясь от накопления знаний. А у нас ему созданы были идеальные условия, в которых только и можно прочесть столь огромное количество книг и столько всего познать.

В детстве Алеша Макаров, как многие люди, обреченные на неподвижность, увлекался описаниями морских путеше-

ствий и приключений. Начал, конечно, с Жюль Верна и Стивенсона, а потом углубился в тему, изучал биографии всех сколько-нибудь известных мореплавателей, и историю открытия разных земель, и описания морских сражений и знал типы кораблей от древнегреческих галер до современных атомоходов. Кроме того, у него было целое собрание лоций и морских справочников, но самое главное — у него прямо к спинке кровати был прикреплен морской штурвал, который помогал ему в детстве бороздить воображаемые моря и океаны. Годам к восемнадцати Алеша Макаров от своих недугов частично оправился, научился с помощью двух палок передвигаться, окончил институт (в основном все-таки заочно) и даже написал кандидатскую диссертацию по вопросам языкознания. Настолько блестящую, что ему за нее хотели сначала дать доктора, а потом дали пять лет ссылки. Вот почему он и попал из Москвы в Долгов. Здесь он жил сначала с матерью, а потом один. Литературоведением заниматься не мог, физическим трудом тоже, а на пенсию бы не выжил. Добрые люди устроили его на лесосклад напротив дома, куда он с помощью палок своих кое-как добирался и дежурил там через ночь.

Так вот наш Адмирал, будучи человеком обширных знаний и совершенно независимых суждений, всегда имея на все оригинальную точку зрения, к учению Епэнэмэ относился без уважения еще в те времена, когда мало кто до этого решался додуматься. Я под его влиянием тоже стал размышлять и усомнился в том, что еще недавно мне казалось незыблемым. Я стал думать, а почему это Епэнэмэ считается единственно правильным и научным и почему ради грядущего блага народа надо было столько этого же народа убивать, травить, топить, морить голодом и вымораживать? И не лучше ли придумать какое-нибудь Единственно Неправильное Епэнэмэ, но к людям помилосерднее? Однако до сих пор приверженцы Епэнэмэ говорят, что теория была хорошая, а практика плохая. Ленин правильно разработал, а Сталин неправильно применил. А кто, где, в какой стране правильно применил? Хрущев? Брежнев?

Мао Цзэдун? Ким Ир Сен? Хо Ши Мин? Пол Пот? Кастро? Хоннекер? Кто? Где? Когда? Что же в этой теории такого хорошего, если она никакой практикой, нигде и ни при каких обстоятельствах подтвердиться не может?

Сейчас, конечно, в мире число людей, беззаветно преданных Епэнэмэ, поубавилось. Но в описываемые времена они водились на наших просторах в довольно больших количествах, и одним из них был Марк Семенович Шубкин, верный исповедник Епэнэмэ, ученик сначала Ленина—Сталина, а потом только Ленина. Но зато уж за Ленина он держался долго, крепко и безоглядно. Верность Епэнэмэ и Ленину Шубкин хранил до и после ареста, во время ночных допросов, даже в годы, проведенные на общих работах. Несмотря на голод и холод, никогда, ни разу, ни на одну минуту (до определенного времени) не усомнился. Крупные и мелкие дьяволы часто искушали его, пытаясь посеять сомнения, но он терпел, как Иисус Христос, в которого он не верил.

Следователь Тихонравов очень больно бил Марка Семеновича скрученным в жгут полотенцем, последними словами ругаясь, слепил настольной лампой, и спать не давал, и сидеть не давал, а когда Марк Семенович, стойко все это выдерживая, показывал на висевший над ним портрет Ленина и корил следователя цитатами из Ленина, тот отвечал просто: «Срал я на твоего Ленина». На что Шубкин не находил достаточно убедительных контраргументов. Но стойкость проявлял прежнюю. И вышел из лагеря несломленным, непокоренным, не изменившим своим убеждениям. То есть, по словам Адмирала, вышел таким же дураком, каким и вошел. Пломбированный дурак, называл его Адмирал, то есть дурак с апломбом.

Признаюсь, мне суждения Адмирала казались иногда слишком резкими. А по отношению к Шубкину незаслуженно резкими. Все-таки, если человек прошел через лагеря и, несмотря ни на что, не изменил своим убеждениям, разве это не достойно уважения?

— Глупость, несмотря ни на что, — безжалостно отвечал Адмирал, — это уже не глупость, это идиотизм.

Адмирал относился к Шубкину с легким презрением, хотя поначалу сам пытался сокрушить его веру в Епэнэмэ и в главного идола. Рассказывал Шубкину о немецких деньгах, немецком вагоне (кстати, пломбированном), о расстрелянных по личному приказу «самого человеческого изо всех прошедших по земле людей» священниках и проститутках, о прогрессивном параличе на почве сифилиса и о многом другом, что тогда было известно немногим. Но все эти рассказы не производили на Шубкина ни малейшего впечатления. Тем более что многое он знал и сам. Но поступки своего кумира объяснял объективными обстоятельствами, суровой необходимостью и тем, что революцию в белых перчатках не делают. Он советовал Адмиралу внимательно перечитать полное собрание сочинений Ленина. «И тогда, — говорил он, — даже вам станет ясно, что Ленин — гений». — «Если гений, — спорил Адмирал, — то почему же так бездарен построенный им лагерный социализм?» Шубкин возражал: «Ленин собирался построить не то, что есть, а что-то получше». — «Но гений, — говорил Адмирал, — строит то, что хотел, а не что-то другое». — «Ленин, — объяснял Шубкин, — не мог предвидеть инертности крестьянской массы, которая не поймет преимуществ социализма, не мог предвидеть, что к руководству страной проберется мелкобуржуазный элемент, что руководство свернет с избранной им дороги, откажется от нэпа, поспешит с коллективизацией». — «Но гением, — не уступал Адмирал, — считается только тот, кто предвидит. А для того, чтобы не предвидеть, не надо быть гением. Не предвидеть мы все умеем». — «Владимир Ильич, — вздыхал Шубкин, — родился на сто лет раньше своего времени». — «С этим я согласен, — охотно кивал головою Адмирал, — но вам в вашем возрасте пора знать, что раньше времени рождаются недоноски».

Все нападки Адмирала выдержал Шубкин и еще долго — все шестидесятые годы и половину семидесятых — оставался верен Епэнэмэ и при этом вел себя почти в полном соответствии с заветом Христа, который сказал своим апостолам: идите и проповедуйте. Шубкин проповедовал взрослым и детям, да-

же детям дошкольной группы, вбивая в детские головы Епэ-нэмэ в доступной им форме.

Например, в форме сказок. Аглая Степановна Ревкина была права, подозревая Шубкина в том, что он, рассказывая детям будто бы безобидные сказки, вкладывает в них вовсе не безобидный смысл. И точно. Рассказывая о волке и трех поросятах, Шубкин под серым волком подразумевал не американский империализм, как хотела Аглая, и не просто лесного хищника, а Сталина, а под поросятами — верных, как он теперь считал, ленинцев — Троцкого, Бухарина и Зиновьева.

18

Первым человеком в Долгове, кто познакомился с Марком Семеновичем Шубкиным, была вокзальная буфетчица Тонька Углазова, невысокая полная женщина тридцати пяти лет с грустными глазами и нелегкой судьбой. В тихий, опутанный паутиной солнечный день бабьего лета она скучала, положив на прилавок свою пышную грудь и руками подперев подбородок, когда перед ее взором возник сошедший с поезда пассажир в старой армейской шинели и шапке с длинными ушами из шинельного тоже сукна. Он снял шапку и, протерши ей обширную лысину (Тонька уже тогда обратила внимание, что голова была у него необычно большая), спросил, сколько стоят пирожки с капустой.

Тонька, по обыкновению, хотела ответить: что, мол, сами не видите или глаз нет? И кивнуть на ценник, стоявший прямо перед ним. Но, посмотрев на него, передумала, смахнула ценник и сказала: на рупь четыре, хотя они стоили в два раза больше. Он удивился: почему так дешево? Она пожала плечами: а вот так.

— Дайте мне четыре пирожка и стакан чаю.

— С лимончиком? — спросила она радушно.

Он пошевелил пальцами в кармане и сказал:

— Можно с лимончиком.

— Лимонов нет, — вздохнула она и развела руками.

Он взял четыре пирожка и чай и примостился к столику у окна, выходящего на пыльный пристанционный скверик. Там посреди пыльной клумбы виднелся памятник Ленину, изображавший дни, проведенные прототипом в Разливе. Гипсовый Ильич, расположившись на гипсовом пне, писал в гипсовой тетради «Апрельские тезисы», а под пьедесталом, прислонившись к нему спиной, дремал, сидя, пьяный мужик с бутылкой, и тут же паслись две козы. Приезжий смотрел в окно, Антонина смотрела на приезжего, и, хотя он пирожки ел аккуратно, не чавкая и чай пил маленькими глотками, она поняла, что он *оттуда*. Да и как было не понять, когда сама она в том мире жила, где люди *туда* уходили и *оттуда* возвращались или не возвращались. Ушедшим и пока не вернувшимся был ее муж Федя, который сначала бил смертным боем Антонину, а потом завел себе полюбовницу, бил и ее и, наконец, вовсе зарубил топором. Её тогда еще товарки поздравляли: «Ой, Тонька, повезло-то как. Не было б у него Лизки, тебя б зарубил».

Приезжий был не из тех, что разбираются в своих отношениях с помощью топора, но и таких, как он, Антонина тоже встречала, их называли «политические», «контрики», «фашисты», но люди они были в основном культурные.

Приезжий ел пирожки, запивал чаем, она смотрела на него, и ей почему-то хотелось плакать. Один раз она даже нагнулась под прилавок и смахнула слезу.

Дорвавшись до дешевизны, приезжий взял еще четыре пирожка с повидлом по той же цене и еще стакан чаю и спросил у нее, не знает ли она, у кого тут можно временно поселиться. И она, имея комнату в пристанционном бараке, сказала, что — у нее. Он, не раздумывая, перетащил к ней чемодан, и они стали жить вместе.

Она говорила ему «вы» и называла по имени-отчеству.

— Головка у вас большая, Марк Семенович, — говорила она иногда, прижимая его голову к своей тоже немалой груди.

— Большая и лысая, — шутиливо уточнял Марк Семенович.

— Это хорошо, что лысая, вошкам плодиться негде. А если какая и заведется, то скатится, потому как у вас вон как круто, прям как это, ну как вот.

И замолкала, не найдя подходящего сравнения.

Ухаживала она за ним, что за малым ребенком. С тех пор как он у нее поселился, рубашки на нем всегда были свежие, носки заштопанные, брюки глаженные. Трех месяцев не прошло, щеки его округлились, и животик наметился. На собственный свой живот Марк Семенович, бывший лагерный доходяга, часто и довольно поглядывал и иногда поглаживал его с уважением. Заботясь о Шубкине, Антонина делала все бескорыстно, не требуя от него ответно ни любви, ни церкви, ни расписки, ни верности. Только смотрела на него часто с радостью, что он есть, и с грустью от понимания, что навряд ли надолго задержится.

Антонина понимала, что она своему сожителю не ровня, но не знала того, что именно это его и устраивает. Ровня у него уже была. Ее звали Ляля. Она называла Марка Семеновича Маркелом, не ценила его таланта, но любила тряпки, рестораны, оперных теноров и вообще шикарную жизнь. Представить себе ее стоящей у плиты, штопающей или хотя бы пришивающей пуговицы было невозможно. К счастью для Шубкина, Ляля не выдержала испытания долгой разлукой, о чем он в ханты-мансийской тайге узнал из телеграммы:

«ИЗВИНИ ТЧК ПОЛЮБИЛА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ТЧК
ЖЕЛАЮ УСПЕХА ТЧК КРЕПКО ЖМУ РУКУ ТЧК ЛЯЛЯ ТЧК»

Так что положение Антонины было гораздо надежнее, чем она могла себе вообразить.

Потратив много лет своей жизни на строительство социализма в особо сложных условиях, Марк Семенович Шубкин теперь пытался наверстать упущенное. Он купил себе подержанную немецкую пишущую машинку «Триумф-Адлер» с большой кареткой и нехваткой нескольких букв (немецкий шрифт был перепаян на русский так на так, а в русском алфа-

вите знаков больше), своими руками, которые сам признавал кривыми, соорудил стол, тоже кривой и шаткий, из плохо струганных досок и фанеры, поставил на него настольную лампу собственной конструкции, скрученную из алюминиевой проволоки с абажуром из газеты «Известия», и под этой лампой проводил большую часть своего свободного времени. А свободного времени у него было немного. С утра до позднего вечера он работал в детдоме, там же проводил репетиции драмкружка имени Мейерхольда (он сам дал кружку такое название) и занятия литкружка «Бригантина», редактировал стенгазету «Счастливое детство», а приходя домой, сразу кидался к своему ламповому приемнику «Рекорд», слушал «вражеские голоса», закуривал папиросу «Прибой» и тут же, времени не теряя, заправлял в машинку четыре листа бумаги с копиркой и начинал с бешеной скоростью выстукивать очередной текст в строчку или столбиком. Писал он одновременно и лирические стихи, и поэму «Рассвет в Норильске», аллегорическую, о восходящем после долгой зимней ночи солнце, и роман «Лесоповал» о работе заключенных в хантымансийской тайге, и мемуары под названием «Память прожитых лет», и статьи по вопросам морали и педагогики, которые в большом количестве слал в центральные газеты, и письма в ЦК КПСС и лично Хрущеву, которые начинал всегда словами: «Дорогой и уважаемый Никита Сергеевич!» Антонина сидела у стола на диванчике и вязала своему сожителю шапку, поскольку ни один из имевшихся в магазине головных уборов на его голову не налезал. Промышленность наша, рассчитывая на голову среднего советского человека, гнала вал, а голова Марка Семеновича шестьдесят шестого размера была производства не валового.

Работая спицами, Антонина время от времени поглядывала на Шубкина с любопытством. Иногда он сильно над чем-то задумывался, взгляд его стекленел, рот открывался, так проходило много минут, и Тонька, пугаясь, что Шубкин ушел куда-то, откуда и возврата может не быть, окликала его:

— Марк Семенович!

Но он иной раз цепенел настолько, что никаких окликов не слышал. Она еще и еще звала его, подходила, тормошила, кричала в самое ухо:

— Марк Семенович! Эй!

Он сильно вздрагивал, смотрел на нее безумным взглядом, вскрикивал: «А? Что? Чего?» Потом приходил в себя, спрашивал:

— Ты что, Антонина?

— Ничего, — отвечала она смущенно и объясняла с блаженной улыбкой: — Мне просто интересно знать, Марк Семенович, о чем это вы всё думаете, думаете и головку ломаете?

— Ах, милая Тоня, — отвечал Марк Семенович, вздыхая. — Мне кажется, что партии нашей угрожает опасность нового термидора и мелкобуржуазного перерождения.

Поскольку она не знала слова «термидор», он начинал ее просвещать, рассказывал о Великой французской революции, потом еще о чем-то, и — все смешивалось: литература, история, философия. Он наизусть читал ей «Полтаву», «Евгения Онегина», поэму «Владимир Ильич Ленин», пересказывал роман Чернышевского «Что делать?» или книгу Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Подобному же просвещению он когда-то пытался подвергнуть и Лялю, но та во время рассказа то красила губы, то примеряла перед зеркалом новое платье, то перебивала его своими соображениями о новом спектакле, охотно откликалась на телефонные звонки и вообще делала вид, что всё это ей самой хорошо известно. Антонина как слушательница была намного благодарнее. Раскрыв рот и не мигая, смотрела она на Марка Семеновича, когда он ходил по комнате, размахивал руками, знакомил ее с мифами Древней Греции, рассказывал о далеких странах, путешествиях и путешественниках, о революционерах, мечтателях, борцах за народное дело, о морях, звездах, будущих полетах в космос. Правда, у нее, как она сама говорила, голова была с дыркой, и через эту дырку все улетало в тот же космос, ничто не задерживалось. Благодаря этой дырке Антонине можно было одну и ту же историю рассказывать бес-

конечное количество раз, и каждый раз она слушала с тем же вниманием.

Но не только просветительством занимался Шубкин со своей Антониной. Утром она приходила на работу томная, утомленная, под глазами — круги. Вокзальная кассирша Зина Трушина спрашивала с завистью:

— Ну как?

В ответ Тонька не читала стихи, не пересказывала утопию Кампанеллы и не говорила о возможных полетах к другим мирам. Она качала головой, жмурилась и, понизив голос, сообщала:

— Цельную ночь не вынимаемши.

— А лупит? — как-то спросила Зина.

— Да ты что! — возмутилась Тонька. И, оглянувшись, объяснила шепотом и не без гордости: — Он же еврейчик!

19

Летом 1957 года скончался тихий Аглаин сосед Савелий Артемович Телушкин. В комнате покойного не оказалось никакой мебели и никаких ценностей, кроме простой железной кровати, кухонного соснового стола с одной тумбой и табуретки. Но когда вскрыли матрас, в нем обнаружили целый клад: часы, браслеты, серьги, перстни, обручальные кольца, серебряный портсигар, кисет, набитый золотыми коронками, и медаль «Золотая Звезда», которая в самом деле была золотая, но фальшивая, без номера. Откуда у покойного были эти ценности, не знали даже работники МГБ. При исполнении высшей меры вещи расстрелянных конфисковывались, а если и разворовывались, то, естественно, не исполнителями, а чинами повыше. Говорили, что после смерти Телушкина чекистами была предпринята попытка расследовать происхождение богатств усопшего. С этой целью работник органов, представившийся выдуманым именем Василий Васильевич, время от времени являлся в дом по Комсомольскому тупику, обходил соседей, расспрашивал, что они помнят об образе жизни по-

койного, но они ничего не помнили, кроме того, что Телушкин был тихим, не вредным и при встречах говорил «Здравия желаю» или «Доброго здоровьица». Обстановка после него, как уже сказано, осталась убогая. А стены все исписаны разными мудростями известных миру великих людей и собственными мыслями автора, который в писаниях своих пользовался неординарной грамматикой: гласные буквы или пропускал, или ставил не те. Было, например, написано: «Правлна линия жизни по повсти Стровского «Как зкалялась сталь». «Руский члавек всегда своего дабется». «Дети наше будущее». «18 августа день наших тважных летчиков». «Члавек преобразует природу». «Любов мжчины к жнщине есть блезнь и стрдание организма». «На Марсе никакой жизни нет» и «Самое дргое у члавека это жзнь».

За комнату Телушкина боролись многие, но получил ее вне очереди как жертва необоснованных политических репрессий Марк Семенович Шубкин.

20

Грядущее переселение Шубкина в соседи к Аглае, конечно, ей понравиться не могло. Но оно частично затмилось другим событием, еще более неприятным, — июньским Пленумом ЦК КПСС 1957 года и поспешно собранной районной партийной конференцией, куда пригласили и Аглаю. Приехавший по этому случаю работник обкома Шурыгин привез товарищам тревожную весть. В Москве разоблачена антипартийная фракция, в которую вошли не кто-нибудь, а члены Президиума ЦК КПСС т.т. Маленков, Молотов, Каганович. И, согласно формулировке официального сообщения, примкнувший к ним Шепилов. По партийно-бюрократической грамматике того времени аббревиатура «т.т.» означала «товарищи», но не простые товарищи, а плохие товарищи. Если надо было сказать, что выступили хорошие товарищи, например товарищ Хрущев, Микоян или кто там еще, то писалось полное слово: «товарищи», а если плохие товарищи, то не «товарищи», а

«т.т.». (Данное утверждение к пистолету «ТТ» отношения не имело, но в подсознании с ним как-то ассоциировалось.) А что касается «примкнувшего к ним», то он немедленно стал героем многочисленных анекдотов и нарицательной фигурой у алкоголиков всего Советского Союза, и в частности города Долгова. Лица данной категории великодушно приблизили этого персонажа к себе и, сошедшись вдвоем в очереди за водкой, обращались к предполагаемому третьему собутыльнику: «Шепиловым будешь?» То есть — не примкнешь ли? Наверное, эта шутка дошла со временем до т. Шепилова, и, должно быть, было ему обидно, что каждый алкоголик, имея при себе лишний рубль, мог стать хотя бы на время Шепиловым.

Суть конфликта, случившегося в руководстве КПСС (теперь уж никто про это не помнит), заключалась в том, что плохие «т.т.» не согласились с идеями хороших «товарищей», с решениями XX съезда КПСС, не приняли курса партии на преодоление последствий культа личности и даже составили заговор с целью захвата власти.

После сделанного сообщения слово взял секретарь райкома Нечаев, вальяжный человек с щеками круглыми и розовыми от раннего атеросклероза и толстыми ушами, как будто вылепленными из теста.

— Коммунисты района, — сказал он, — целиком и полностью одобряют принципиальную линию нашего ленинского Центрального Комитета и клеймят позором жалкую кучку отщепенцев и фракционеров.

В этом же духе была написана и поставлена на голосование резолюция.

— Кто за? — спросил Нечаев.

Все немедленно вскинули руки кверху, а сидевший впереди Степан Харитонович Шалейко вскинул обе руки и прокричал:

— Одобряем! Одобряем! Целиком и полностью одобряем!

— Кто против кто воздержался? — быстро спросил Нечаев в единой фразе без запятой и, не ожидая никакого ответа, уже раскрыл рот, чтобы произнести привычное «принято еди-

ногласно», как вдруг... Поросянинов толкнул его локтем в бок, да и сам он увидел в заднем ряду тонкую руку, поднявшуюся одинокой качающейся былинкой. — Товарищ Ревкина? — не поверил своим глазам Нечаев. — Вы? — Он оглянулся на Шурыгина и пожал плечами, показывая, что он не виноват, для него самого это очень большой и неприятный сюрприз. — Вы? Аглая Степановна? Как это можно? Вы возде... вы... воздерживаетесь?

Он был растерян, но и Аглая владела собой не совсем. Она потом вспоминала, что легче было подниматься в атаку под шквальным огнем вражеских пулеметов, чем выступить против решения партии. И тем не менее...

— Да, — подтвердила она тихо. — Я, да, вот...

И умолкла, не в силах произнести ни одного слова более.

Зал замер, и наступила такая тишина, что, казалось, слышно было, как шуршат капли пота, стекая с мягких ушей Нечаева. Поступок Аглаи всех застал врасплох. Эти вопросы: за, против, воздержался — всегда были не более чем ритуалом, по ритуалу все и во всех случаях, важных или неважных, голосовали только за. Всегда за и никогда — против. И никогда не воздерживались. Между «воздержаться» и «против» разницы не было, потому что, как определил любимый поэт Марка Семеновича Шубкина: «Кто сегодня поет не с нами, тот против нас».

Всех, сидевших в зале, охватили противоречивые чувства. С одной стороны, ужасно любопытно, что же из всего этого выйдет. Все были не против скандала, вносящего оживление в бедную событиями скучную и затхлую провинциальную жизнь. А с другой стороны — страшно. Если бы это был просто скандал. Кто-то у кого-то что-то украл, или взял взятку, или дал взятку, или дал по морде, или изменил, наконец, жене, или нечто подобное. Такие вещи в районной партийной организации случались, осуждались, но и находили понимание. В таких случаях провинившегося корили, стыдили, угрожали исключением из партии. Провинившийся каялся, плакал, бил себя кулаком в грудь, получал выговор, и на том дело кончалось.

Но тут скандал разражался такой, что непременно должен был выйти за пределы района и дойти до каких-то верхов, где обратят внимание и отметят, что в указанном районе не все в порядке относительно коммунистического сознания масс, пропаганды и агитации, что имеют место идейные шатания, колебания и вообще дело пахнет не чем-нибудь, а (даже страшно выговорить!) идеологической диверсией. И начнутся в районе всякие проверки и чистки. А с ними и выяснения, кто, где, чего украл. Или взял взятку. Или дал по морде. Или и взял, и дал. И хотя участники долговской конференции были поголовно и целиком преданы ЕПЭНЭМЭ и последним указаниям вышестоящих партийных инстанций, сказать, что из них никто никогда ничего не украл, и не дал взятку, и не взял взятку, ничего не приписал и не списал в свой карман, было бы слишком. Но чем больше человек крал, тем непримиримее он был в идеологическом отношении. Поэтому реакция зала на случившееся была искренней и решительной. Хотя и последовала после краткой заминки. Сначала было тихо-тихо. Тихо и глухо. Потом из дальних рядов к передним потекло, поехало, покатилося. Шелест, шум, гул, ропот, грохот, словно рокот морского прибоя, и чем ближе к президиуму, тем мощнее. Слились в одно и шум, и кашель, и грохот стульев, и отдельные выкрики, и вдруг кто-то заверещал пронзительно: «Позор! Позор!», и все, впадая по нарастающей в раж, орало, выли, свистели, хлопали руками и сучили ногами. Как псы, спущенные с поводка, возбудились при возможности безнаказанно грызть и рвать брошенную им под ноги жертву. А директор мясокомбината Ботвиньев выскочил вдруг на сцену перед президиумом и, размахивая кулаком, словно крутил над головою веревку, стал выкрикивать: «Слава Коммунистической партии! Слава Коммунистической партии! Слава Коммунистической партии!» с таким видом, как будто страстно желал за партию отдать свою жизнь не сходя с места, немедленно и без остатка. Против него как раз на днях было заведено уголовное дело по факту хищения мясoproдуктов в особо крупных размерах, но, проявляя преданность партии, он спра-

ведливо рассчитывал на снисхождение правоохранительных органов. Публика в зале, казалось, озверела настолько, что была не в силах себя сдерживать, но Нечаев поднял руку, и члены заседания, только что собой не владевшие, сразу притихли, поникли, а впрочем, некоторые еще немного повизгивали, постепенно все-таки утихая.

— Аглая Степановна, — в наступившей тишине мягко сказал Нечаев, — если я вас правильно понял, вы не согласны с линией партии. Может быть, выйдете на трибуну, объясните свою позицию.

— Да, пусть выйдет, — громко сказал Поросянинов.

— Пусть выйдет! — Заведующая райбольницей Муравьева вскочила со своего места и стала кричать так, чтобы президиум отметил ее старания: — Ты кому служишь, Ревкина?

— Не тебе служу, — сказала Аглая, направляясь к трибуне. Но чем ближе подходила, тем меньшую ощущала решимость. А достигши трибуны, и вовсе оробела. И ощутила в коленях такую слабость, что захотелось сесть или даже прилечь. Она оперлась о поверхность трибуны и стала бормотать об Иванах, не помнящих родства, и еще что-то невнятное.

А в зале опятьросло напряжение и раздался крик:

— Хватит!

— Довольно!

— Ясно!

— Долой!

Ботвиньев, вновь возникши на сцене, крикнул:

— Да здравствует наш дорогой и любимый Никита Сергеевич! — И тут же, указав пальцем на Аглаю, стал вопрошать: — Товарищи! Я не понимаю, что здесь происходит? Почему эта женщина здесь? Почему она позволяет себе выступать против нашей партии, народа, государства, против нас с вами и наших детей...

— По-зор! — кто-то пробасил сзади.

— По-зор! — пропищал другой голос.

И опять:

— По-зор! По-зор! По-зор! — покатилося по залу.

Такой реакции Аглая не ожидала. Ей, партизанке и героине, стало действительно страшно, и, закрывши лицо руками, с плачем она кинулась вон из зала. Нечаев и Поросянинов пытались ее остановить: «Аглая Степановна! Товарищ Ревкина!»

Не остановилась.

Да, Аглая никогда не верила в то, что стало называться ошибками культа личности, отклонениями от ленинских норм или нарушениями социалистической законности. Ее раздражали разговоры о незаконных репрессиях и невинных жертвах. Она всегда говорила, что у нас (это у нас-то!) никого зря не посадят. Но в тот день ее правосознание переменялось сразу и круто. Вернувшись домой, она закрыла дверь на все задвижки, приперла ее столом, хотела и шкаф сюда же поставить, но не осилила. Придвинула кровать и сама легла на нее, одетая, только сняла сапоги.

С партизанских времен был у нее восьмизарядный трофейный «вальтер». Она его прятала в кладовке в старом валенке. А тут достала, положила рядом на стул, пообещавши себе, что живой не дастся.

Часов до четырех совсем не спала, да и потом сон был тревожный. Снились высокие скрипучие сапоги, которые сами по себе поднимались по лестнице с большими револьверами в руках. Она потом сама удивлялась: какие руки могут быть у сапог? Но тем-то сон от яви и отличается, что в нем все возможно. Сапоги с револьверами поднимались по лестнице, что-то мохнатое лезло в окно, а в железной трубе звучал железный голос Вышинского, объявляющего приговор: «Именем Союза Советских Социалистических Республик...» Во сне Аглая пыталась кричать, но рот открывался, не производя ни малейшего звука. Два раза во сне она хваталась за пистолет, но оказывалось, что это не пистолет, а резиновая игрушка.

К утру она все-таки заснула по-настоящему и спала, как ей показалось, долго, но проснулась от солнца в глаза и от звука въехавшей во двор машины. Машина въехала, мотор смолк, слышались разные голоса, и мужской голос спросил:

— А где это?

И голос бабы Гречки ответил:

— На втором этаже, милоч. Как подымисси, сразу первая дверь.

И сразу закрипели шаги на лестнице — несколько человек дружно поднимались наверх. Она вскочила, глянула в окно и обмерла, увидев во дворе автомобиль «черный ворон» и водителя с погонами сержанта внутренних войск, который закуривал, прислонившись спиной к радиатору.

Люди, поднимавшиеся по лестнице, дошли до второго этажа и теперь топтались на площадке, как будто бы в нерешительности.

Аглая метнулась назад к кровати, схватила пистолет, отщелкнула предохранитель. Стала быстро думать, застрелиться сразу или... Все-таки «вальтер» у нее был восьмизарядный, а ей самой достаточно было одного патрона — последнего.

21

Насколько автор на протяжении своей жизни имел возможность заметить, у большинства людей, даже весьма образованных, нет ни ощущения, ни понимания того, что они существуют в истории. Большинству кажется: всё всегда будет, как есть сегодня. А если на их глазах случилось историческое событие, им оно видится происшедшим в результате совпавших во времени недоразумений. И кажется, что все можно вернуть обратно. Одни на это надеются, другие этого боятся. Аглая надеялась, Шубкин боялся, и оба не понимали, что история обратных ходов не имеет. Так или иначе, развивался процесс, в результате которого надежды Аглаи выглядели чем дальше, тем более иллюзорными, а страхи Шубкина напрасными. Дело, конечно, не зашло еще так далеко, чтобы Аглаю стали наказывать за разорение крестьян, а Шубкина носить на руках за нанесенные ему обиды, но в целом что-то куда-то двигалось, и одним из мелких результатов больших перемен и было предоставление Марку Семеновичу отдельной комнаты в двухкомнатной квартире в доме № 1-а по Комсомольскому ту-

пику. Эта комната была в два раза больше той барачной, где Марк Семенович и Антонина размещались прежде, с кухней, ванной и ватерклозетом и всего только с одной соседкой по коммуналке — Шурочкой-дурочкой.

В субботу Марк Семенович получил ордер и уже в воскресенье, сложив свои и Тонькины манатки в узлы и связав шпагатом пачки книг из своей небольшой еще библиотеки, вышел на Поперечно-Почтамтскую улицу с надеждой словить какой-нибудь перевозочный транспорт. Он не учел, что день был воскресный и поэтому большинство казенных грузовых машин стояли на приколе. А не грузовые ему не подходили. Он долго стоял, махал рукой. Две машины прошли, не остановились. Третий самосвал остановился, но он перед тем возил уголь и был настолько грязен, что Шубкин заглянул в кузов и отказался. Он уже совсем потерял надежду, когда рядом с ним резко затормозил «черный ворон».

Можно себе представить, какие чувства испытал Марк Семенович при виде столь знакомого ему транспортного средства. Он съезжился, ожидая, что сейчас вывалит из машины команда МГБ и возьмет его под белые руки. Но в машине никакой команды не оказалось, был в ней только водитель старший сержант Опрыжкин с жизнерадостным выражением на лице.

— Садись, отец, подвезу, — сказал он, распахнув правую дверцу.

— Куда подвезете? — осторожно спросил Шубкин.

— Куда надо, туда подвезу.

Кто читал «Чонкина», помнит, а кто не читал, и сам знает, что под названием «Куда надо» в народе всегда подразумевалось такое место, куда никому не надо. То есть прокуратура, милиция и другие органы насилия над человеком. Поэтому нетрудно оценить переживания Шубкина и понять, почему он стал верить Опрыжкина, что ему никуда не надо.

— А если не надо, — начал сердиться Опрыжкин, — то чего стоишь и руками машешь?

Придя в себя и поняв, что водитель один и вообще ситуация на арест будто не походит, Марк Семенович сказал стар-

шему сержанту, что ему нужна машина, но не такая, а в которой можно перевозить мебель.

— А эта тебе чем не хороша? — спросил Опрыжкин чуть ли не обиженно. — Это ж фактически автобус, только что с решетками.

Он оказался человеком словоохотливым и по дороге объяснил, что служба у него тяжелая, семья большая, зарплата маленькая, а начальник тюрьмы майор Бугров — мужик хороший, в свободное от перевозок арестантов время разрешает подкалывать.

— Я с ним, знамо дело, делюсь, а как же. Хочешь жить, давай жить другим. Правильно, папаша?

— Возможно, — ответил Шубкин уклончиво.

Опрыжкин о чем-то задумался, а потом спросил:

— А вообще-то, отец, как думаешь, сейчас жить лучше, чем при Сталине, или хуже?

Конечно, будь Шубкин осмотрительней, он мог бы заподозрить, что вопрос имеет провокационный характер, но Марк Семенович никогда осмотрительным не был, и даже лагерь его в этом смысле не многому научил. Он верил, что в каждом человеке есть что-то хорошее, и потому бесхитростно отвечал Опрыжкину, что, на его взгляд, без Сталина гораздо лучше жить, чем с ним.

— Я тоже думаю, — охотно согласился Опрыжкин. — Хотя при нем был, конечно, порядок. Но другое дело, что люди в страхе жили. При Сталине, допустим, стал бы я калымить? Да ни в жизнь.

22

Мы покинули Аглаю Степановну Ревкину в тот драматический момент, когда она, увидев «черный ворон», приготовилась к самому худшему. Она ждала, что люди, поднявшиеся на площадку второго этажа, начнут колотить кулаками или прикладами в дверь, требовать открытия ее именем Союза Советских Социалистических Республик. И, не дождавшись ответа,

начнут выламывать дверь или палить в нее из всех видов оружия. Но ничего этого не случилось. Люди потоптались на площадке и стали тихонько спускаться вниз. Аглая еще немного подождала, выглянула одним глазом из-за тюлевой занавески и только теперь поняла, с какой низкой целью используется такая машина.

Может быть, именно эта картина больше, чем XX съезд партии, нынешний Пленум ЦК КПСС и другие события, убедила Аглаю в том, что сталинская эпоха ушла безвозвратно в прошлое.

Обнаружив, что ее никто не собирается арестовывать, Аглая даже испытала некоторое разочарование. Готовность к героической гибели осталась не востребованной, и опять надо жить обыкновенной, повседневно скучной жизнью. И, как только она это подумала, ей сразу захотелось есть. Она засунула свой «вальтер» назад в валенок, сама сунулась в холодильник, а он — пустой.

День был воскресный, и продмаг не работал. Аглая решила сходить в чайную, позавтракать там, успокоиться, послушать, что говорит народ.

Во дворе разгрузка «черного ворона» происходила на глазах жильцов дома 1-а, тех, кому делать было нечего. А делать нечего было всем, поскольку день-то был выходной и недождливый. Все бабки высадились на лавочку, наблюдали и комментировали происходящее.

— А книг-то, книг-то сколько! — удивлялась Гречка. — И куды ж столько? Да в них пылищи-то!

— И клопы! — подсказала баба Надя.

— Ну клопы-то в книгах не водятся, — усомнилась Гречка.

— А чего ж им там не водиться. Везде водятся, а в книгах не водятся.

— А в книгах не водятся, — настаивала Гречка. — Они водятся в стене, в кровати, поближе к телу. А в книгах-то чего им водиться и чем питаться? Буквами, чтолича! — Она даже засмеялась от такого предположения.

— И главное, для чего столько? — сказала баба Надя, сдаваясь. — Показать людям, что ты такой умный и что ты все эти книги читаешь. Так все равно ж никто не поверит.

— Ну почему ж не поверит? — возразила Гречка. — У меня внук Илюха тоже всегда читает, читает. И в постеле, и за столом. И иной раз так зачитается — ничего вокруг не видит и не слышит. И то смеется, то плачет. Я ему: «Илюха! Ты что! Ежли так переживаешь, то зачем же тебе эти книжки? Да пойдди лучше с ребятами по двору побегай, мяч погоняй, воздухом подыши». А он нет. Все читает, читает...

Баба Надя хотела по этому поводу высказать что-то свое, но тут внимание бабушек отвлекла вышедшая во двор Аглая. Которая, как заметили бабки, была со вчерашнего дня не в духе.

Процесс разгрузки «черного ворона» подходил к концу. Антонина и водитель связки книг и узлы с пожитками клали на вытащенную до того никелированную кровать с четырьмя шпешечками на спинках. Шубкин шел Аглае навстречу, неся перед собою приемник «Рекорд». Увидев будущую соседку, он, кажется, смутился, а может быть, даже и испугался и сделал шаг в сторону, чтобы не укусила, но поздоровался. Аглая, сама себе удивившись, тоже буркнула «сссте» и пошла дальше, провожаемая взглядами сидевших на лавке соседок.

Чайная находилась в одноэтажном деревянном строении с высоким крыльцом и дощатой верандой. На веранде сидел бородатый нищий со сворой прижавшихся друг к другу маленьких грязных собак и выставленной перед ними картонкой с текстом: «Мы тоже хотим есть». Тут же лежала и шапка для подаваний. Аглая этого нищего встречала во многих частях города, никогда ему не подавала и не видела, чтоб подавали другие, а тут, неизвестно с чего, расщедрилась и высыпала из кошелька всю мелочь — больше рубля — в шапку.

В чайной было полутемно, накуренно, сыро и душно. Пол покрыт не ковром, а толстым слоем древесных опилок. Должно быть, их не меняли со времен Первой мировой войны, и люди ходили по ним, как по рыхлому снегу. Над столами ви-

сели желтые спирали липучек для мух, а под потолком вдоль стены, отделявшей кухню от зала, были растянуты два полотна с изречениями. Первое (его еще не успели снять):

ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА — ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

И.СТАЛИН

И второе:

НОРМАЛЬНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА ЕСТЬ ЕДА С АППЕТИТОМ, ЕДА С ИСПЫТЫВАЕМОМ НАСЛАЖДЕНИЕМ.

Акад. И.ПАВЛОВ

Народ в чайной собрался самый разный. Председатели местных колхозов. Командировочные инженеры, землемеры, механизаторы, шоферы, прокуроры и прочий крупный народ и помельче, одни в пиджаках, другие в рубашках с короткими рукавами, а иные и просто в майках.

Здесь по воскресеньям всегда было не пусто, но сегодня количество посетителей резко возросло за счет футбольной команды «Урожай» из соседнего городка Затёпинск. На долговском стадионе разыгрывался кубок района, и потому команда гостей прибыла с двумя тренерами, шестью запасными игроками и фельдшерницей Тамарой, державшей у ноги большой саквояж с перевязочным материалом и примочками на случай всяческих неприятностей во время предстоящей игры и особенно после нее. Дело в том, что команда «Урожай» была постоянным соперником долговского «Авангарда». У той и другой команды были свои болельщики, которые после каждого матча приезжих спортсменов в случае их победы били, и очень крепко, считая это своим патриотическим долгом. «Урожай» вот уже несколько лет подряд выигрывал у долговцев все матчи не только дома, но и на выезде, за что игроки регулярно бывали биты. Иной раз они готовы были согласиться в гостях на ничью или даже на поражение, но во время очередного матча, охваченные спортивным азартом, забывали о

неизбежности наказания и снова, к своему несчастью, выигрывали.

Футболисты сдвинули у окна несколько столиков, запивали макароны по-флотски компотом из сухофруктов и держались тихо, стараясь не привлекать к себе особого внимания.

В чайной пахло кислыми щами, сырыми опилками, машинным маслом и потом.

Утопая в опилках, Аглая продвигалась вперед и шурилась, выглядывая сквозь густой табачный дым свободное место. И выглядела у окна Степана Харитоновича Шалейко, красного, веселого, в украинской рубаше с подтяжками, в габардиновых галифе, в белых начищенных зубным порошком парусиновых сапогах. Парусиновый пиджак висел на спинке стоявшего рядом стула, парусиновый портфель лежал на стуле, а широкополая соломенная шляпа — на портфеле. Аглая думала, что Шалейко отвернется, сделает вид, что не заметил, а он, наоборот, увидев ее, издали заулыбался, замахал руками, приглашая к своему столику.

— Сидай, — сказал он, когда она подошла. Пиджак перевесил на свой стул, портфель поставил к ногам, а шляпу, не найдя ей другого места, надел на голову. Перед ним была тарелка с размазанными по ней остатками макарон по-флотски, алюминиевая вилка, пустой стакан и кружка с недопитым пивом. Напиток, которым по случаю выходного ублажал себя Шалейко, был комбинированный и назывался «сто пятьдесят с прицепом», то есть состоял из ста пятидесяти кубических сантиметров водки и кружки пива. Сколько «прицепов» Шалейко уже пропустил, осталось неизвестным, но язык у него при разговоре двигался неуклюже.

Усадив Аглаю рядом, Шалейко хлопнул в ладоши, и тут же подкатилась официантка Аня, квадратная толстушка на коротких ногах, пользовавшаяся повышенным интересом у проезжавших мимо водителей большегрузных автомобилей.

— Так, — сказал ей Шалейко, — для дамы — сто грамм молдавского коньяку и касемо еды — все, шо Аглая Степановна пожелает.

Блюд, которые можно было причислить к желаемым и подходящим под определение академика Павлова, в чайной было всего два: макароны по-флотски и гуляш с тушеной капустой. Аглая заказала гуляш, а пока коньяк пригубила без закуски.

Шалейко смотрел на нее внимательно и добродушно маленькими глазами из-под рыжих ресниц.

— Вчера, — сказал он, отхлебывая из кружки, — на конференции слушал тебя, Степановна, и просто радовался, шо есть еще у нас такие, как ты, коммунисты. Честные, принципиальные, мужественные. Особенно среди женского пола. Мужики у нас, правду сказать, похлипче. А ты им прямо раз! — и промеж рог. — Он даже махнул кулаком, изображая удар, нанесенный Аглаей некоему рогатому существу. — И всё. Давай выпьем. За тебя. Молодец! — Отхлебнул еще. — А я, понимаешь, вчера расстроился, ой как расстроился! Как послушал, как ты выступала и как там на тебя кричали, так расстроился и хотел сразу домой. И уехал бы, но на выезде — бац — сцепление полетело. Как раз токо на шоссе выехали, мой шофер — тык-мык, я спрашую, ты шо, а он говорит: «Сцепление». Ну, значит, вертаем обратно. — Из бокового кармана Шалейко достал пачку папирос «Северная Пальмира», угостил Аглаю и сам закурил. — Туда-сюда, пошел побираться по автобазам, в Сельхозтехнику — нигде сцепления нет. Заночевал в Доме колхозника. В райкомовском гараже обещались, но только, говорят, в понедельник утром. А ранее, ну никак. Ну я, значит, ну шо. Заночевал в Доме колхозника. Лежу один, курю папиросы, думаю. Шо ж, думаю, с нами такое вот происходит, шо мы сами вот это. Я ж из казаков и сам лично на фронте в атаку без каски — и не боялся. А тут на конференции голову у плечи утянул, сижу не дышу, думаю, Господи, пронеси и токо б меня не вызвали. У меня же это, сцепление полетело, и вот я там в гостинице лежу, думаю, как же это ж вот? Еще учера усе были за товарища Сталина, ну усе до единого, а сегодня усе до единого против? И уже частушку сочинили. Не слыхала, нет?

— Не слыхала.

— Щас расскажу. — Он склонился к ее уху и прочел: — «Удивили всю Европу, показали простоту. Тридцать лет лизали задницу, извиняюсь, оказалось, шо не ту».

— Гадость! — отреагировала Аглая.

— Действительно, гадость, — легко согласился Шалейко. — Шофер рассказал. Он, знаешь, политически не подкованный, чего услышит, то ляпает. Но раз народ такое распространяет, это же знаменательно. Вот я и думаю. Вчера усе были за то, шо за, а сегодня усе за то, шо против, и руки кверху. Не коммунисты, а попки, и не более того. Так расстроился, уехал бы, но сцепление полетело, ну я его туда в этот гараж отдал. А сам лежу в гостинице, думаю. Если, думаю, Аглаю Ревкину тронут, я тоже. Сам, добровольно. Партбилет на стол. И всё. Я же Шалейко, я ж из казаков. Анюта, — успел он ухватить пробегавшую мимо официантку за край передника. — Ну шо ты тут мимо, мимо, мимо, не обращаешь внимания на клиентуру. Принеси-ка еще.

— С прицепом? — спросил Анюта.

— С прицепом. Сто пятьдесят. А Аглае Степановне еще сто молдавского. А у меня вчера сцепление полетело...

Анюта, не дождавшись продолжения, отошла.

— Попки, и более никто, — продолжал Шалейко. — А ты вот взяла и прямо по мозгам. А когда ты ушла, Поросянинов, сучья рожа, говорит, надо немедленно поставить вопрос о дальнейшем пребывании в рядах. Но Нечаев заступился. Свойский мужик. Зазря губить никого не будем. Товарищ Ревкина, говорит, в целом товарищ хороший, а насчет ее недопонимания мы с ней еще поработаем. Так и сказал: поработаем. Значит, еще не усе там категорически решено. Так что ты, Степановна, не тушуйся, и давай за тебя выпьем. А я... Я ведь тут остался, сцепление полетело....

Выпили, закусили, добавили. Размягчился Шалейко, растянул еще одну пуговицу, посмотрел на Аглаю внимательно. Она ему и раньше нравилась, и теперь увидел он в ней не только партийного товарища, да и она под влиянием коньяка и приятных сердцу слов подобрела к Шалейко.

— Ты, Степановна, я тебе так скажу, женщина в целом, можно сказать, симпатичная. Привлекательная. Имея в виду относительно внешности. И я вот еще думаю... — Он глянул вокруг и перешел на шепот: — Ведь мы ж с тобой вроде сказать... как бы это... Так, может, пригласишь? — спросил он, делая ударение на втором слоге.

— Когда? — спросила Аглая.

— Да хоть сейчас, — оживился Шалейко.

Аглая заколебалась. Шалейко ей не очень-то нравился, но никто другой давно за ней не ухаживал, хотя было ей только сорок два года и все жизненные циклы совершались у нее регулярно, как восход и заход луны. По ночам еще снились ей сладостные сцены плотской любви, не часто, но порой столь осязаемо, что, казалось, вот-вот дойдет до вожделенного момента, но до момента не доходило, и пробуждалась она с неприятным досадливым чувством.

— Сейчас нет, — сказала Аглая, не желая доставаться Шалейко слишком просто. — К вечеру — не уедешь, не передумаешь — заходи.

23

Пока Аглая обедала, ее сосед Шубкин обустроивался в новой квартире. Опрыжкин за дополнительную плату поставил ему книжные стеллажи, на которых разместились сочинения Ленина, Горького, Маяковского, Короленко, Куприна и входящего в те времена в моду Сент-Экзюпери. Стеллажами с библиотекой были заняты все четыре стены, за исключением, естественно, дверного и оконного проемов, а перед книгами Шубкин расставил портреты своих кумиров, в число которых вошли Ленин, Дзержинский, Горький, Маяковский и особо почитаемый герой его молодости Джузеппе Гарибальди. Покончив с библиотекой, Марк Семенович установил у окна свой так называемый письменный стол, поставил на него самодельную настольную лампу, приемник «Рекорд», выкинул за окно проволочную антенну. Ему не терпелось послушать какую-

нибудь из западных радиостанций и проверить, как они слышны на новом месте, но «Голос Америки» в здешних окрестностях почему-то не принимался вообще, «Свободу» сильно глушили, а Би-би-си работало только по вечерам.

24

Весь день Аглая провела в хозяйственных заботах: стирала, мыла полы и окна, сменила постель. Допуская при этом, что Шалейко протрезвеет, одумается и не придет. Но вскоре после семи вечера в дверь постучали. Она открыла и увидела расплывшегося в улыбке Степана Трофимовича с бутылкой коньяка в одной руке и с бумажным пакетом в другой.

— Тебя кто-нибудь видел? — спросила Аглая.

— Не знаю, — пожал плечом Шалейко. — Там, кажись, две старухи на лавочке сидят, но тебе то шо? Ты ж незамужняя.

— А я не о себе, — сказала Аглая, — а о тебе. Я же сейчас вроде опальная.

— Да ладно, опальная, — беспечно отозвался гость, ставя на стол бутылку и высыпав из пакета два лимона и конфеты «Мишка на Севере». — Мне-то шо, шо опальная? Думаешь, я теперь буду тебя стороной обходить? Я же Шалейко. Казак! Я в атаку без каски ходил. — Он похлопал себя по лысине, чтобы показать, как он ходил без каски. — Пули не боялся, осколкам не кланялся, а теперь шо ж? Мне лишь бы жинка не застучала, а на партийные органы мне, как бы тебе сказать, вот наплевать, как говорится, и растереть. Ну покажь, как живешь, — попросил Шалейко.

Он обошел всю квартиру, постучал по стенам, подергал оконные рамы, спустил в унитазе воду и вынес суждение:

— Квартира хорошая. Шо практически без фундамента, это плохо. А шо с удобствами, хорошо. И ванная, и это. За цепку дернешь, и оно у-ух! А мы в деревне все еще по старинке. Вода из колодца, удобства во дворе, мыться — у баню. А газ у тебя откуда?

— Из коллектора, — сказала Аглая.

— Это шо такое?

— Это у нас в подвале. Двенадцать баллонов с газом. Пропан-бутан.

— Пропал-болтал, — засмеялся Шалейко и тут же одобрил: — Газ хорошо. Я у Киеве у родичей жил, так у них тоже газ. Вот такую кастрюлю поставишь — через пять минут кипит. Я так думаю, может, и мы когда доживем до того, шо в каждом колхозе будет электричество и газ, канализация. Мне говорят, ты шо, чокнутый, а я говорю не чокнутый, а имею мечту. Ленин о том мечтал, и я тоже. Нет, я себя не равняю. Ленин это, знаешь, ого, а я это совсем другое. У Ленина мечта была, может, с километр, а у меня токо полметра, а все ж таки мечтать каждый имеет право. А вот то, шо твой дом практически без фундамента, это плохо. А шо, как землетрясение?

— Да откуда у нас землетрясение, — возразила Аглая. — Это где-нибудь в Средней Азии. Или в Италии. Или в Турции. А у нас таких вещей никогда не бывало.

— И то правда, — сказал Шалейко. — Не было. А шас будет. — И, схвативши Аглаю в охапку, поволок в спальню. — Ой, шас будет землетрясение!

Она не упиралась. Только спросила:

— А как же коньяк?

— Не прокиснет, — заверил Шалейко.

Вижу ясно, как избалованный современный читатель замер в предвкушении подробностей того, что именно случилось в спальне Аглаи Степановны Ревкиной, какие положения принимали герои, какие части организма между собой и каким образом совмещали, какие слова при этом друг другу шептали и как именно пришли к завершению. Но ничего этого автор рассказывать не будет. И не столько по причине присущего ему целомудрия (это само собой), сколько потому, что рассказывать особенно нечего. Герои наши были рабоче-крестьянского происхождения и воспитания, сексуального обучения не проходили, теперешних программ телевидения «про это» не видели, книг индийских, китайских или иных об

изысках эротики не читывали, читали в основном газету «Правда», «Блокнот агитатора» и «Краткий курс истории ВКП(б)». Слова «секс» Аглая не слышала вообще, а Шалейко слышал, но думал, что это шесть по-немецки. Так что все обошлось без особых пикантностей, хотя надо отметить, что пробудил-таки настырный Степан Харитонович в Аглае какое-то чувство, потому что он, хоть и не образованный, но физически крепкий, старался, сопел, грыз ее волосы и говорил ей: «Ты моя кыса».

И вот когда она уже приближалась к той станции, до которой ни разу в жизни не доехала, и он был на том же пути, и оба готовы были обрушиться с горы и погрузиться в nirвану, как где-то совсем близко (но не в них самих, а вовне) заиграла музыка и грудной женский голос просто сказал:

— Говорит Би-би-си. Начинаем передачу из Лондона. Западные корреспонденты передают из Москвы, что по циркулирующим здесь слухам политика десталинизации встречает заметное сопротивление наиболее ортодоксальных членов КПСС. В связи с этим в Президиуме ЦК КПСС рассматривается вопрос о возможной чистке партийных рядов от тех, кто тайно или явно противится новому генеральному курсу, разработанному на Двадцатом съезде... Как заявил один из партийных деятелей, партия будет выявлять и наказывать не только тех, кто прямо выступает против нового, но и тех, кто не дает им должного отпора.

«Это же про меня!» — вдруг подумал Шалейко, и в груди его появилось неприятное чувство.

— Это шо? — спросил он, не оставляя своих усилий, но чувствуя, что трезвеет.

— Не обращай внимания, — прошептала Аглая, задыхаясь и стараясь не утратить возраставшего возбуждения. — Это новый сосед. Шубкин. Ты его знаешь.

— Шубкин, — повторил Шалейко разочарованно. — А если мы его слышим, значит, и он...

— Не знаю. Меня это не волнует, — быстро и раздраженно сказала Аглая, и сказала неправду, ее как раз очень взвол-

новало, что Шубкин, может быть, слышит, это даже, наоборот, возбудило ее еще больше и если б у Шалейко хватило ума или такта помолчать секунду-другую...

— А меня волнует, — не прекращая своих действий, зашептал ей в ухо Шалейко. — Ты слыхала, говорят, будет чистка. Для тех, кто противится и не дает отпора. А я не противлюсь и твою позицию, — он задвигался еще интенсивнее, — целиком и полностью осуждаю.

— Ах, ты осуждаешь, ты осуждаешь! — возмутилась она, пытаясь при этом не остыть и дойти до точки. Но у него в это время шел обратный процесс, и, хотя он из вежливости еще елозил по ней, дело шло на спад. Она, почувствовав это, сама стала скисать, не выдержала и столкнула его с себя довольно грубо. Бормоча невнятные извинения, он сполз на пол и стал одеваться.

Она его не попрекала, но смотрела злобно. Накинула шелковый китайский халат с павлинами и ждала нетерпеливо, пока он застегнет все свои пуговицы. Он уже надел шляпу и двинулся к дверям, когда она выхватила у него из рук портфель и стала совать в него коньяк и лимоны.

— Да ты шо, Степановна! — попытался он ее урезонить, но она вручила ему портфель и сказала:

— Сгинь, сопля!

Шалейко такое обращение показалось очень обидным, и оно тем более было обидно, что его в детстве в самом деле звали Соплей. Тяжело вздыхая, вышел он на лестничную площадку в надежде, что незаметно покинет дом, не привлекая ничьего внимания. Правда, там, перед домом — он вспомнил, — сидят какие-то старухи. Они носы свои готовы во все совать, но по слепоте, глухоте и глупости авось не поймут, кто он и откуда идет.

Но прежде чем снова встретить старух, он уже здесь, на лестничной площадке, столкнулся с Шубкиным. Марк Семенович, прослушав очередную передачу Би-би-си, решил вынести мусорное ведро и подумать по пути о текущих событиях. У него по поводу возможной чистки в КПСС тоже возникли

различные идеи, и он сочинял уже на ходу очередное письмо Хрущеву с требованием не ограничиваться изгнанием высокопоставленных фракционеров, но очистить партию от наиболее оголтелых сталинистов, засевших в партийных организациях областного и районного уровня.

Шубкин вышел с ведром на площадку и тут нос к носу столкнулся с Шалейко. Шалейко, увидев Шубкина, решил, что тот слышал скрип кровати и слова «ты моя кыса» и захотел посмотреть, кто же их произносил. Не понимая того, что творческий человек, каковым был, конечно, Марк Семенович Шубкин, будучи погружен в свои мысли (а он в них был всегда погружен), настолько отрешался от всего вокруг происходящего, что никаких разговоров, никаких посторонних звуков не слышал, а если и слышал отдельные охи, ахи и слова, то лишь как невнятный шум, как отдаленный гул морского прибоя. Но Шалейко, не понимая тонкостей душевного устройства творческого человека, был уверен, что этот гад слушал и, может быть, даже подслушивал и потому таиться перед ним бессмысленно.

— А-а, — сказал он, изображая неподдельную радость, что увидел Шубкина. — Здорово!

— Здравствуйте, — сказал Шубкин рассеянно или, как показалось Шалейко, уклончиво.

— А я тут, понимаешь... Ну, выпил. И сцепление полетело. Я в Доме колхозника заночевал...

— Хорошо, — сказал Шубкин отвлеченно и ничего не имея в виду, но Шалейко показалось, что за словом «хорошо» содержится недоверие Шубкина к услышанному.

— Ну, я ж тебе объясняю, — сказал Шалейко, обижаясь неизвестно на что. — Ну, был выпимши. Признаю, со мной это бывает. И встретил. А я же живу, как собака, все по командировкам. То на партконференцию, то на совещание передовиков, то на сессию, то на выставку. Жинка у меня больная по женскому делу. Она мне сама говорит: ты, Степа, можешь чего хочешь, токо меня не бросай. А я шо ж, человек слабый. На фронте в атаку без каски ходил, пули меж виском и ухом сви-

стели, а им не кланялся. Я же ж Шалейко! Я ж из казаков. Но когда вижу симпатичную бабешку, тем более... да вот... — Он вздохнул и опять приосанился. — Но зато в идеологическом плане не признаю никаких компромиссов. Тут Шалейко твердый, как камень. — И показал сжатый кулак, изображая им, очевидно, крепость названного минерала. Но решил попробовать и другой подход. — Слухай, а может, по коньячку? Смотри, хороший, молдавский, четыре звездочки. Нет? Дело твое. А шо там по бибисям-то об нас рассказуют? Шо-то обратно клеветают, а?

Последнюю фразу он сказал как бы мимоходом и без нажима, но с намеком, что, мол, если ты про меня донесешь, то и нам есть кое-что куда надо просигнализировать.

— Да так, — ответил Шубкин рассеянно. — Ничего особенного. — Ему хотелось поскорее отделаться от Шалейко и побыть наедине со своими мыслями. Поэтому он сделал вид, будто что-то забыл, и вернулся к себе в комнату, оставив мусор невынесенным.

А Шалейко постоял еще на площадке, пожал плечами и с неохотой стал спускаться вниз.

25

Уже темнело, но двор по случаю воскресенья и теплого вечера был полон народу. Дети играли в футбол, в прятки, в фантики и в ножички. Милиционер Толя Сараев накачивал колесо мотоцикла «Ковровец». Шурочка-дурочка на примусе варила кошкам какое-то варево. Старухи в полном составе сидели на лавочке. Жора Жуков играл на аккордеоне танго «Утомленное солнце». Мать его Валентина танцевала с Ренатом Тухватуллиным, а жена Тухватуллина Рая снимала с веревки белье, ревниво поглядывая на танцующих.

Короче говоря, когда Шалейко вышел от Аглаи, там перед домом уже собралась такая куча приметливого до чужой жизни народу, мимо которого и муравей бы незамеченным не прополз. А Шалейко был вовсе не муравей, а крупный и за-

метный со всех сторон мужчина. Да к тому же в соломенной шляпе. И напрасно он надеялся, что люди во дворе, занятые сугубо своими делами, на него не обратят внимания. Они, конечно, обратили. Еще когда входил, обратили. А когда выходил — тем более. А когда он, стараясь не быть опознанным, нагнул голову и надвинул шляпу на глаза, они обратили внимание и на то, что нагнул голову, и на то, что надвинул на глаза шляпу. Шалейко удалился в сторону улицы Розенблюма. Старухи посмотрели ему вслед, и Гречка сказала в условно вопросительной интонации:

— Это он от кувyki, штолича, вышел?

На что получила ответ:

— Знамо, от кувyki, от кого же еще.

Будучи человеком относительно трезвого ума, Шалейко не подумал, что люди, встреченные им при выходе от Аглаи, выполняли чье-то задание, но по житейскому опыту знал, что старухи, проводящие время на лавочках, ввиду незагруженности ума чем-нибудь практически нужным, бывают приметливы и памятьливы, и, если кто у них спросит, сидели ли они в такой-то вечер на лавочке и не заметили ли проходившего мужчину определенной наружности в соломенной шляпе, разумеется, скажут: как же, как же, конечно, заметили, и тут же вспомнят подробно, в чем был одет, как выглядел, когда пришел и во сколько времени вышел.

26

Из всех развлечений, доступных в свободное время партийному человеку с большими возможностями, секретарь обкома Николай Иванович Грызлов предпочитал три: охоту, рыбалку, баню. В субботу он отправился в охотничье хозяйство «Осинки» и там заночевал. Вечером попарился. Две девушки-комсомолки его как следует венчиком похлестали, помылили, помыли, в простыню завернули, пивка принесли и другие удовольствия сделали, а потом вместе с ним и песни попели. Утром была охота. Удачная. Грызлов подстрелил двух уток и од-

ного кабана. Те же комсомолки обед приготовили замечательный. Салат «Столичный», салат из свежих овощей, солянку сборную с грибами и маслинами, утку по-пекински, кисель клюквенный, и водочка была в графине из холодильника. Ох! Ах! Ух! — сказал Грызлов, глядя на это изобилие, но сказал мысленно, потому что партийный руководящий товарищ не может иметь человеческих эмоций, а если еще имеет, то поостережется выражать их при подчиненных. Даже в бане, когда девушки Грызлова делали ему всякие приятности, он и там принимал их усилия с каменным лицом и с таким видом, как если бы был полностью одет и сидел в президиуме. Обслуживая его, девушки никогда не могли понять, прибегает ли он к их услугам для удовольствия или считает, что так полагается. Закрытый был товарищ, гвоздями заколоченный, как гроб. Но когда рюмку первую выпил, не удержался и крикнул, и только погрузил вилку в салат «Столичный», как вдруг во дворе затахтело — прикатил на мотоцикле нарочный с протоколами и резолюциями прошедших по области районных конференций. Расписался Николай Иванович в получении и, прихлебывая солянку, стал листать доставленные бумаги. Лениво листал, заглядывая в конец, заранее зная, что там будет. Коммунисты района с большим воодушевлением приняли весть о Пленуме Центрального комитета КПСС, заклеями жалкую антипартийную группу в составе т.т. и примкнувшего к ним. В конце стояло везде: «Принято единогласно». И после резолюции, пришедшей из Долгова, тоже стояло, что принято единогласно. Но немножко в другой редакции: «Принято единогласно при одном воздержавшемся в лице т. Ревкиной». Прочтя эту фразу, Грызлов так открыл рот, что солянка вытекла обратно в тарелку. Аппетит пропал. Не дотронувшись до утки по-пекински, Грызлов пошел к директору хозяйства и из его кабинета позвонил домой Нечаеву. Нечаев как раз тоже сел обедать и уже заложил за ворот салфетку. И тут как раз жена позвала его к телефону, прошептавши в страхе: «Грызлов».

Нечаев взял трубку и, понимая, что в воскресенье Грызлов без дела звонить не будет, сказал официально:

— Нечаев у телефона.

Ожидая, что в ответ с ним поздороваются, спросят, как дела. Но Грызлов, ничего не спросив, сказал сразу:

— Оказывается, у тебя в районе есть своя оппозиция.

Разумеется, имея в виду Аглаю Ревкину. А когда Нечаев стал говорить о заслугах Аглаи и о том, что с ней надо поработать, Грызлов резко заметил:

— У нас, милый друг, с оппозицией не работают, у нас ее уничтожают.

И, не дожидаясь ответной реакции, положил трубку.

Вот тут-то все и началось. Нечаев послал жену за Поросьяниновым, который был вскоре найден в парикмахерской. Поросьянинов, думая, что его пригласили к обеду, явился без промедления с бутылкой водки «Посольская» и запасом свежих анекдотов, чтоб посмешить начальство.

У порога, тщательно вытирая ботинки, он сказал:

— Вчера я слышал анекдот про козу и сороку. Летит, значит, сорока...

— Ноги можешь не вытирать и сразу топай обратно, — перебил сурово Нечаев. — Завтра будем исключать Ревкину. Поручаю тебе собрать бюро, и чтобы был полный кворум.

— А что случилось? — удивился Поросьянинов.

— Полный кворум, — повторил Нечаев.

— Да какой кворум? Как я до завтра его соберу? — спросил Петр Климович.

— Звони по телефону, работай ногами. В общем, делай, что хочешь, но кворум чтоб был, — сказал Нечаев и отвернулся.

27

Покинув Аглаин двор, Степан Харитонович направился сразу к себе в Дом колхозника, который находился по ту сторону железной дороги. Подпрыгивающей походкой Шалейко шел в сторону вокзала, испытывая ощущение, что за ним кто-то сзади крадется, скрываясь за деревьями, или следит из-за неосвещенных окон.

Шалейко шел быстро, а вечер надвигался еще быстрее. как будто сама темнота кралась за Шалейко на мягких лапах. И постепенно стали зажигаться огни в окнах и на столбах вдоль дороги, вернее, не на всех столбах, а только на одном при подходе к вокзалу. На остальных столбах лампочки отчасти перегорели, отчасти были побиты в прошлом году сильным градом, а отчасти расстреляны местными мальчишками из рогаток. И с тех пор то ли лампочек не было, то ли некому был их вкрутить, но улица ночами жила в полном мраке. Зато сам вокзал, через который лежал путь Степана Харитоновича, со всех сторон светился электрическим раем.

Вокзал в городе Долгове, как и во многих ему подобных, играл особую культурную роль. Не имея лучшего места для вечерних прогулок, местная публика стекалась сюда по субботам и воскресеньям к прибытию дальних поездов.

Этих поездов было четыре, и все четыре московские. Два — один из Москвы, другой в Москву — проходили днем. И два других тех же направлений останавливались здесь вечером с промежутком около получаса. Стояли каждый по четыре минуты. И эти минуты до прибытия первого поезда, после отбытия второго, в промежутке между ними и особенно во время стоянки того и другого воспринимались долговачанами как волнующее событие. И в самом деле, это было красиво и впечатляюще. Гладкий перрон из хорошо укатанной кирпичной крошки очень отличался от городских улиц, темных и кривых, в лучшем случае крытых булыжником.

Двухэтажное здание вокзала было построено в начале века из серого шершавого камня. В нем было все, что полагается: зал ожидания, билетные кассы, два буфета и ресторан. На фронтоне по обе стороны от круглых часов и светящейся вывески с названием станции располагались портреты коммунистических основоположников: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Между прочим, в том самом 1957 году в Москве должен был состояться Всемирный фестиваль молодежи. К великому этому событию готовился и Долгов. Поэтому долговский во-

кзал в ожидании проезжающих на фестиваль зарубежных гостей был почищен и приведен в порядок, а у главного входа в вокзал было вывешено на понятном иностранцам языке объявление:

«TUALET NAKHODITSYA ZA UGLOM».

А у клумбы перед вокзалом для той же категории пассажиров на специальной фанерке было написано:

«ZVETY NE RVAT'! PO TRAVE NE NODIT'!»

Иностранцы в Долгове пока что встречались редко, но и без них вечерами на здешнем перроне бывалолюдно и весело.

Первыми задолго до прихода очередного состава появлялись девушки. Они ходили по две, по три, источая запах крепких духов местного производства. Тут же возникали здешние парни в вельветовых куртках-бобочках и в широких расклеванных брюках. Супружеские пары, нарядившись в самое лучшее, неторопливо двигались вдоль перрона, приветствуя друг друга почтительным наклонением голов и приподнятием шапок, кепок и шляп. У входа в вокзал продавались бублики с маком, газированная вода с сиропом «Крюшон» и сливочное мороженое в вафельных стаканчиках. А иногда даже и надувные шарики для детей. Так все гуляли туда-сюда в терпеливом ожидании приходящего по расписанию краткого праздника. Девушки шуршали крепдешинном, молодые люди, волочась за ними, мели платформу своими клешами, пытались завязать разговор:

— Девушка, а девушка, из вас что-то выпало и пар идет.

Девушка либо гордо не отвечала, либо отвечала:

— Дурак! — И тем самым давала повод для дальнейшего общения.

Минут за пятнадцать до прихода поезда публики на перроне прибавилось за счет футболистов «Урожая». Им сегодня удалось сыграть с хозяевами поля вничью — 1:1, после матча

они выпили в чайной уже не компот, а водку. Теперь добавляли из закупленного в дорогу, пользуясь поочередно одним стаканом на всех. При этом весело шумели, надеясь, что на этот раз удастся покинуть Долгов небитыми. Но напрасными были их надежды: местные болельщики частично просочились уже на перрон, поджидали остальных, а пока, прогуливаясь в одиночку и парами, приглядывались к футболистам с неравнодушным вниманием.

Поезд появлялся издалека, из темноты. Сначала слышался далекий, но сильный крик паровоза, потом из-за дальнего поворота выскакивали и начинали быстро приближаться три светящихся глаза, три фары, свет которых тонкими струйками бежал по рельсам, затем становился больше и ослепительней, и вот на станцию в клубах пара врывается, пыхтя и свистя, двигая блестящими рычагами и кривошипам, «Иосиф Сталин», гордость советского паровозостроения, с пятиконечной звездой на могучей груди. Он втаскивал за собой длинную, пропахшую копотью вереницу вагонов, двери которых одновременно распахивались, свету становилось еще больше, пассажиры в пижамах и тапочках спрыгивали со ступенек, и одни с чайниками торопились за кипятком, другие за бубликами и мороженым, остальные смешивались с местным народом. На перроне возникало оживление, атмосфера временной многолюдности, даже как бы столичности, слышалась чистая московская речь: «Сматри, какой прелестный гарадок!», «А пачем ваши агурчики?» — и возникало ощущение, что это не жалкий перрон захолустной желдорстанции, а что-нибудь вроде парка имени Горького, или улицы Горького, или даже Бродвея.

В этот раз на перроне было еще веселее, потому что, как только появились вдаль огни паровоза, местные болельщики, восприняв идущий издалека свет как сигнал к действию, немедленно накинлись на футболистов и началась потасовка, впрочем не нарушившая общего течения дел.

Как раз в такой момент попал на перрон Степан Шалейко. Здесь встретил он много разных знакомых, поговорил с ними о сломанном сцеплении, погоде и видах на урожай и, обеспечив

себе полное алиби, уже собирался покинуть перрон, как вдруг столкнулся нос к носу с Петром Климовичем Поросяниновым. Тот куда-то бежал с озабоченным видом, но, увидев Шалейко, ткнул его пальцем в живот и сказал:

— Во! Ты мне как раз и нужен. — И заодно поинтересовался: — А промежду прочим, ты почему в воскресенье не дома?

Шалейко, подозревая, что вопрос задан не зря, торопливо стал объяснять в тысячный раз, что вчера на выезде поломалось сцепление, в райкомовском гараже обещали починить, но чем дальше объяснял, тем больше ему самому казалось его объяснение чистым враньем, хотя говорил он чистую правду.

Поросянинов и точно ему не поверил, решив, что тот просто запил. Однако придирааться не стал. Не до того было.

— Вот что, друг ситный, — сказал он дружелюбно. — Придется еще задержаться, и завтра утром не вздумай уехать.

— А у чем дело? — поинтересовался Шалейко.

— Скоро узнаешь, — пообещал Поросянинов. — Ты к Аглае Ревкиной как относишься?

Не зная подоплеку вопроса, Шалейко перепугался еще больше. «Неужто уже донесли!» — подумал он. И стал быстро соображать, а что именно могли донести? Если что в чайной вместе сидели, то мало ли чего. Все-таки она еще коммунист, еще неисключенная. Конечно, ведет себя неправильно, но ведь не конченный человек. Нечаев сказал, будем с ней работать. И можно считать, что он с ней работал, убеждал ее как коммунист и старший товарищ отказаться от заблуждений. Призывал оценить свое поведение, не идти поперек партии, не смотреть в прошлое, смотреть только вперед. Ему даже стало казаться, что он и впрямь общался с Аглаей ради воспитательной цели. Ну, а что было дальше, кто про это знает? Шубкин скажет про это? Не скажет. У самого рыло в пуху — Би-би-си слушает. А эти старухи... Ну что они знают? Только что зашел да вышел...

— Ты что? — дошел до него откуда-то очень издалека голос Поросянинова. — Ты меня понял? Я тебя спрашиваю, ты к Ревкиной как относишься?

— А почему спрашиваешь? — поинтересовался Шалейко, надеясь по ответу определить степень осведомленности.

— Потому что завтра ты должен, как штык, явиться на внеочередное бюро райкома. Будем проводить персональное дело.

— Персональное?! — ахнул Шалейко. — Да за что же?

— За вражескую вылазку, — объяснил Поросянинов. — А что же ты думаешь, мы такие вещи будем прощать?

Разумеется, Степан Харитонович понял так, что под вражеской вылазкой имеется в виду его собственная вражеская вылазка. Или может быть, точнее, залазка в постель врагини народа.

— Да какая там вылазка? Да ты шо! — нервно заговорил Шалейко. — Какая вылазка? Шо я такого сделал? Ну, зашел в чайную, ну, выпил, женщину угостил, проводил до дому, это же разве вылазка? Я же ей не сказал, шо я с ней согласный хотя б у чем.

— Слушай, — сказал Поросянинов. — Меня не колышет, кого ты чем угощал. Хотя ты коммунист и не должен с чужими бабами, тем более на людях, но я тебе не о бабах, а о коммунисте Аглае Ревкиной. Завтра будем выводить ее из партии.

— Аглаю? — переспросил Шалейко. — Ревкину?

— Аглаю, — подтвердил Поросянинов. — Ревкину.

— Ага. Ну да, да, — закивал охотно Шалейко, чувствуя облегчение и делая вид, что он так и думал. И чтобы совсем снять с себя малейшие подозрения, быстро сообщил Поросянину, что он и сам глубоко возмущен антипартийным поведением упомянутой выше особы. Но при этом пожелал сказать о ней и что-нибудь положительное.

— Просто не понимаю, — посетовал он почти искренне. — Все ж таки она же ж была наш товарищ. Честная, принципиальная. В коллективизации участвовала, в войну партизанским отрядом командовала... Воевала, говорят, очень храбро.

— А теперь, — резко прервал Поросянинов, — со своим же народом воюет. И с партией. В общем, завтра решительно выступишь и осудишь. Понятно?

— Понятно, — кисло согласился Шалейко.

— Не слышу уверенности в голосе, — отметил Поросянинов. — Говори прямо, выступишь или нет?

В это время раздался свисток дежурного по перрону. Паровоз откликнулся радостным нетерпеливым гудком. Он здесь уже застоялся, клокотавший в нем пар распирает его грудь, звал дальше во тьму и в дорогу. Паровоз рывкнул так, что могли полопаться барабанные перепонки, и, трогаясь с места, выпустил густое облако, в котором Поросянинов временно потонул. У Шалейко мелькнула в голове сумасшедшая мысль: а что, если вот сейчас немедленно скрыться, но он даже осознать эту мысль не успел, как Поросянинов вновь перед ним воплотился и повторил свой вопрос:

— Так ты выступишь или нет?

Шалейко не отвечал, глядя на проходящие перед ним вагоны. Висевшие на поручнях урожайцы, дергались, стряхивая с себя на ходу наиболее цепких местных любителей спорта. Вот так бы хотелось Степану Харитоновичу стряхнуть Поросянинова, но тот вцепился в него покрепче долговских болельщиков:

— Не отвлекайся на постороннее и отвечай прямо — выступишь или нет.

— Ну, — вертелся Шалейко, — если надо, то как же. Я ж этот же...коммунист. Так шо само собой. — Сделал паузу. — Если только не заболелю. В горле, понимаешь, саднит. Там в гостинице такой сквозняк, ну прямо вот это... Боюсь, шо анги-на, понимаешь, или шо-то такое. — Он потрогал кадык и покашлял, как певец перед сценой. — Кхе-кхе! Надо бы горячего молока с медом попить, банки поставить, отлежаться...

— Понятно, — прервал его Поросянинов. — Хочешь сбежать?

— Я сбежать? Да ты шо? — всполошился Шалейко. — Да я же на фронте в атаку без каски ходил. У меня пули промежду виском и ухом свистели. Мне сколько раз комроты говорил: ты шо, Шалейко, хочешь без головы остаться или...

— Значит, выступишь? — уточнил Поросянинов.

— Ну, а как же, — вздохнул Шалейко. — Если надо, так шо ж. Я же ж Шалейко. Я ж из казаков. Я могу у чем-то и слабость проявить как человек. Но когда дело касается идеологии, тут коммунист Шалейко непоколебим, как это... как Брестская крепость.

— Вот и хорошо. Но Брестская крепость оборонялась, а мы будем брать Рейхстаг. Завтра. А пока иди к себе в номер и не молоко с медом, не банки, а стакан водки с перцем, и все пройдет.

28

То лето было тяжелым в Долгове. В результате надолго застрявшего над данной местностью антициклона жара стояла большая и бесконечная. Днем в тени температура поднималась до тридцати четырех градусов, а ночью не опускалась ниже двадцати пяти. От жары сохли на корню злаки, мелели местные речки, самовозгорались торфяники, и в городе постоянным атрибутом погоды, отмечаемым даже в метеосводках, стала непреходящая дымная мгла. Такое состояние погоды трудно переносили люди с сердечно-сосудистыми проблемами, некоторые вовсе не переносили и гибли, а вскоре падеж скота и народа резко усилился за счет появления в местных измелевших водах неопознанной бактериологами то ли чумной, то ли холерной палочки.

Но Степан Харитонович Шалейко был здоров как бык, никакая холера его не брала, сосуды имел крепкие, сердце работало ритмично, а насчет того, что саднило в горле, то это он, как мы помним, просто придумал. Понимая, что увильнуть от выступления на бюро не удастся, пил он до трех ночи, потом спал, и ничто его по отдельности не могло одолеть — ни водка, ни жара, ни клопы, — но все вместе даже на него подействовало, и на заседание явился он бедный, бледный и мятый. Явился позже других, с надеждой притаиться где-то за спинами, но Поросянинов, уже положивший локти на стол президиума, глазами показал ему на место во втором ряду за проку-

рором Строгим, человеком некрупным во всех трех измерениях, за которым не спрячешься.

Пробираясь к этому месту между стульями и коленями, Шалейко заметил, что Аглая Ревкина сидит прямо за ним, одетая по-фронтальному: в сапогах, в темной шерстяной юбке и в гимнастерке, перепоюсанной командирским ремнем, с двумя орденами, четырьмя медалями и еще какими-то знаками. Не зная, как ответить на ее немой вопрос, он кивнул ей полузащитно, как бы одним подбородком, и сел, шевеля лопатками под ее физически ощущаемым взглядом.

Заседание начали без проволочек. Дело докладывал Поросянинов. Даже читая по бумаге, путался в падежах и предложениях, как иностранец, взявшийся изучать русский язык в пожилом возрасте. Шалейко слушал его, но не слышал. Воспринимал лишь отрывки отдельных фраз. Товарищ Ревкина, коммунист с большим стажем и большими заслугами, в последнее время проявляет признаки недопонимания. Обнаружила тенденцию в сторону зазнайства и высокомерия. В то время, как партия со всем советским народом нацелилась на новое, товарищ Ревкина цепляется за старое. Учитывая прошлые заслуги, к товарищу Ревкиной отнеслись гуманно, с товарищем Ревкиной многократно и терпеливо беседовали, товарищу Ревкиной объясняли суть политики партии и правительства на данном этапе, но товарищ Ревкина к мнению товарищей не прислушалась, упорствует в своих заблуждениях, поддержала антипартийную группировку и тем самым сама ставит себя вне рядов партии.

Аглая на этот раз к событию подготовилась.

Вышла, заложив большие пальцы за ремень, расправила гимнастерку и встряхнулась так, что ордена на груди зазвенели.

— Вы, — сказала она обращаясь к залу, — подумали, что вы делаете? Если вы товарища Сталина не любите, то почему вы ему этого при его жизни не говорили? Сказали бы ему в то время: «Извините, товарищ Сталин, но мы вас не любим». И Молотова не любим, и Кагановича. Вы бы тогда так сказали, я

бы сейчас вашу позицию уважала. Но вы тогда говорили, что вы товарища Сталина очень любите и готовы за него в огонь и в воду...

В зале стояла робкая тишина. Аглая почувствовала, что овладевает аудиторией, и возвысила голос:

— Сталин и его соратники революцию совершили. А вы без революции, ну кем бы вы были? Никем бы вы не были. Вас всех Сталин из грязи в князи...

Первым опомнился Нечаев и постучал крышкой графина в графин. Встрепенулся и Поросянинов:

— Товарищ Ревкина, нам курс политграмоты не нужен. Ты говори о себе.

— Я о себе и говорю, — отбила атаку Аглая. — Я, как и вы все, выросла с именем Сталина. Под его руководством мы провели коллективизацию, индустриализацию...

Снова застучал в графин Нечаев, снова зашепелявил Поросянинов:

— Товарищ Ревкина, нам историю партии рассказывать не надо, мы ее знаем.

— А если знаете, то я бы вам посоветовала вспомнить, как Сталин боролся с оппозицией и оппортунистами. По существу, с такими, как вы...

— Товарищ Ревкина! — повысил голос Нечаев.

— Не нравится? — повернулась к нему с насмешкой Аглая. — А я думаю, вы бы тоже товарищу Сталину не понравились. Он таких, как вы, не любил. Товарищ Сталин любил честных, принципиальных коммунистов. Но когда речь заходила о предателях...

— Всё! Всё! — закричал Нечаев. — Я вас лишаю слова. Покиньте трибуну. Немедленно покиньте трибуну!

— Нет, — сопротивлялась она. — Я еще не все сказала. Я уверена, что вы все, которые здесь сидите, согласны с тем, что я говорю. У вас же тоже есть убеждения.

Она была права наполовину. У этих людей были убеждения, но сводились они к тому, что ни в коем случае никогда не надо перечить начальству. А речь Аглаи им не понравилась

потому, что слышались в ней противопоставление и упрек: я хорошая, принципиальная, смелая, а вы — трусы, подхалимы, марионетки.

Не желая признать себя жалкими ничтожествами, заседавшие негодовали, стучали ногами, выкрикивая отдельные слова вроде: «Позор!», «Долой!», «Хватит!», «Нахальство!»

— Покайся! — кричала с места Муравьева.

Директор мясокомбината Ботвиньев снова выскочил вперед с криком:

— Дурную траву с поля вон! — и стал дергать руками, как будто дергал траву.

Автору этих строк пришлось однажды наблюдать драму из жизни кур. Одна несчастная хохлатка попала случайно в воду. Как ни странно, не утонула, но так намочила, что все перья до единого у нее вылезли. Другие куры, встретив ее в столь мизерабельном виде, набросились на несчастную, словно прирожденные хищники. Оказалось, в этих ничтожных тварях тоже бушуют большие страсти и живет готовность заклевать более слабого так же, как и у нас. На обнаженную свою сестру они кидались с клеточком, подобным орлиному, клевали и заклевали бы до смерти, если бы не вмешательство хозяина. Курицу отделили от остальных, а через некоторое время, обросши перьями, она вновь была принята в куриное семейство как равная.

Члены бюро долго кричали, визжали, свистели, исходили пеной и колотились в коллективном припадке, как на собрании секты трясунов. Секретарь Нечаев напрасно вскакивал с места, стучал в графин, кричал: «Товарищи! Товарищи!» Но товарищи его не слышали и не слушали, хорошо понимая, что такое непослушание будет им поставлено в плюс. Будет где-то отмечено как идейно оправданное психопатство.

Когда же они все-таки успокоились, стали выступать отдельные ораторы. Главный зоотехник Оберточкин, директор железобетонного комбината Сырцов, заведующий баней Колганов и опять Муравьева. Все клеймили Ревкину, говорили, что она заблуждается, упорствует в своих заблуждениях, про-

являет признаки самоуспокоенности, зазнайства, высокомерия, льет воду на мельницу врагов и сама, может быть, враг. Раскол в советском обществе — это как раз то, на что всегда рассчитывали наши противники. Ревкиной сейчас, по крайней мере мысленно, рукоплещут международные империалисты, Пентагон, глядя на нее, уточняет свои агрессивные планы, а ЦРУ внесло ее в списки своих добровольных агентов и положило на ее счет тридцать сребреников.

Есть опасение, что современный читатель воспримет описанное как неуместный гротеск и, рассуждая логически, подумает: не может же быть, чтобы десятки людей, собравшись вместе, такое говорили! Что хотите, то и думайте, но тогдашние люди именно этим и занимались, собравшись десятками и сотнями в закрытых помещениях и многими тысячами под открытым небом на площадях. И неужели ни один не находился среди них нормальный, который сказал бы: да что же это вы, сограждане, такое плетете? Вам же всем надо в сумасшедший дом, и немедленно. Иногда находились такие. Но они как раз были сумасшедшие. Потому что нормальный человек понимает, что противиться повальному безумию опасно и бесполезно, а принимать в нем участие благоразумно. Надо заметить еще и то, что люди ведь все — актеры и многие легко вживаются в прописанную для них роль из страха или в надежде на достойное вознаграждение. Нынешний просвещенный читатель думает, что придурков, подобных описанным нами, теперь уже нет. Автор, к сожалению, с этим согласиться не может. Общее количество подлости и глупости в человечестве не увеличивается и не уменьшается, но, к счастью, не всегда бывает полностью востребовано временем.

29

Заседание бюро райкома КПСС подходило к концу. Все, разумеется, сошлись на том, что Ревкину надо исключить из партии и изолировать от общества, а кто-то даже додумался

(на местном уровне и задолго до истории с Борисом Пастернаком) предложить, что если, мол, Ревкиной наш советский строй в его обновленном виде не по душе, то пусть она убирается к своим заокеанским хозяевам. Предложение, по сути, нелепое, потому что заокеанским хозяевам идеи Ревкиной тоже вряд ли были бы по душе.

Шалейко сидел, слушал выступавших и надеялся, что произнесенных другими слов будет достаточно и он останется здесь местным Пилатом, то есть умоет руки здесь и помоег их, когда вернется в гостиницу. Но когда он совсем уже решил, что пронесло, Поросянинов обратил свой взор на него и сказал с неприкрытым ехидством:

— А что же коммунист Шалейко у нас ничего не хочет сказать?

Шалейко вскочил, как ошпаренный. Пока он, наступая кому-то на ноги, выбирался из ряда, Аглая смотрела на него, предполагая, что он как-нибудь попытается ее защитить. Откуда возникла в ней эта несбыточная надежда? Почему она надеялась найти в ком-то достоинство, которым сама не обладала? Разве она, участвуя в прошлом в десятках подобных расправ, сама кого-нибудь когда-нибудь защитила? При том что была храбрая женщина, партизанка. Могла, спасая товарища, кинуться в бурный поток, в пожар, под огонь пулеметов, жизнью своей рискнуть где угодно, но только не на закрытом партийном собрании.

Шалейко шел к трибуне медленно. Надеясь, быть может, что случится землетрясение или американцы кинут на Долгов водородную бомбу и необходимость в выступлении отпадет. Но ни того, ни другого не случилось, он благополучно достиг трибуны, помедлил, пришел в себя и сказал:

— Ну вот шо, я тут мыслями растекаться особо не буду, а скажу так, шо наша партия во главе с верным ленинцем Никитой Сергеевичем Хрущевым ведет, как бы это сказать по-простому, гигантскую, титаническую борьбу за утверждение, собственно говоря, ленинских норм, и мы никому не дадим гадить на нашем огороде.

Высказав такое суждение, он покинул трибуну и пошел не на свое место, а к выходу из зала, но был остановлен.

— Товарищ Шалейко, — окликнул его Нечаев.

— Шо? — Шалейко остановился и смотрел на Нечаева недоуменно. Главное вроде высказал, чего же еще?

— Вы как-то слишком уж кратко и неохотно, — сказал Нечаев.

— Я неохотно? — переспросил удрученно Шалейко.

— Ну да. Неохотно и кратко, как будто решили отделаться. Может быть, аргументируете свою мысль?

— Ну шо ж, — Шалейко вернулся к трибуне, — если вам нужны аргументы, — сказал он с ударением на «у», — то у меня лично их нету и не нужны. Аргументы дает нам сама Аглая Степановна, которая ушла от нас далеко и своим поведением говорит нам, шо она великая цаца, а мы колхозные валенки и ничего не понимаем. И это во время, когда наша партия проводит грандиозный и всемирно-исторический курс на преодоление. Шо вызывает естественный переполох и растерянность у стане наших врагов. У Аглаи Степановны... нет, я, конечно, не скажу... были в прошлом определенные, как бы сказать... Но это же не индульгенция и не это... — Он подумал и обратился прямо к Аглае, чувствуя, что терять уже нечего: — Вот я на вас смотрю, Аглая Степановна, ну шо ж вы тут сидите такая гордая и упертая, как будто вы прямо царица какая или кто? Шо с вами случилось? Может, вы попали под влияние? Я знаю, некоторые, бывает, послушают какое-нибудь, извиняюсь за выражение, Би-би-си, уши распускают и начинают, понимаете, это. А вы не слушайте эти вот голоса, а смотрите своими глазами. Приезжайте хотя бы у наш колхоз, и я лично вам покажу, как живут наши рядовые, можно сказать, хлеборобы. У каждого, ну буквально у каждого у хлеве корова, теля, а у иных даже и нетель. У колхозников наших четыре мотоцикла и один «Москвич». Для клуба новую радиолу купили. И имеем мечту, шоб в будущем, ну, может быть, не для нас, а для наших внуков провести водопровод и туалет такой, шо когда за цепку дергаешь, вода униз текет. Вот куда мы своими

мечтами нацелены, а вы, Аглая Степановна, вы же старая женщина. Посмотрите на себя, одумайтесь, остановитесь. А не остановитесь, то мы вас, понимаете, затопчем, сметем с дороги и это...

Шалейко сошел с трибуны под аплодисменты, которые потом в газете были названы бурными. Бурными они были на самом деле или не очень, это не так уж важно, важно то, что решение исключить т. Ревкину из рядов КПСС было принято единогласно. Как и следовало ожидать.

Аглая сидела прямо, и лицо ее не выражало ни малейших признаков какого бы то ни было чувства. А мысли ее вообще были где-то не здесь, и она не сразу поняла заданный ей вопрос.

— Что? — переспросила она.

— Я спрашиваю, — повторил Нечаев, — у вас партийный билет с собой?

— У меня партийный билет и партийная совесть всегда с собой, — четко сказала Аглая.

— Насчет совести, — сказал Нечаев, — это вам в церковь надо, а билет попрошу сдать здесь.

— А вот этого ты не видал? — спросила Аглая и скрутила фигу, что членам бюро очень не понравилось. Они потом, расходясь, долго еще обсуждали, что, мол, это за жесты? фи! как некультурно!

— Ревкина! — угрожающе зарычал Поросянинов. — Ты где находишься?

— Товарищ Ревкина, — сказал Нечаев вежливо, — вы должны сдать билет.

— А я у вас его не получала.

— Сдай по-хорошему, — сказал Поросянинов, — не то отберем силой.

— Отбери, — предложила Аглая и переместила билет из кармана за пазуху.

Члены президиума переглянулись между собой, и Нечаев согласился на компромисс.

— Ладно, — сказал он, — все устали, и вопрос о передаче билета мы пока отложим. Но вам он, Аглая Степановна, в

ближайшее время не понадобится. До тех пор, пока вы не обдумаете свое поведение и не сделаете надлежащих выводов. А если сделаете, придете, покаетесь, тогда, может быть, мы вам дадим возможность вернуться в партию с очень суровым взысканием.

Аглая с исключением не согласилась, но и жаловаться не стала. Решила, что теперь она сама себе коммунист и сама себе партия. На другой день после исключения она завела специальную сберкнижку, на которую стала класть ежемесячно партийные членские взносы. Сама вносила эти деньги на счет и сама отмечала в партбилете, что взносы за такой-то месяц уплачены.

30

Только теперь Аглая могла оценить, каким хорошим соседом был покойный Телушкин. Никогда никакого шума. А этот Шубкин? Чудовище! За стеной то орет радио, то стучит пишущая машинка, то начинает скрипеть кровать. А бывает так, что и радио орет, и машинка стучит, и кровать скрипит, и еще что-то не то пыхтит, не то визжит, не то хлюпает. Аглая пыталась и не могла себе представить, как столь разнородные действия — возможная причина всех этих звуков — могут совершаться одновременно.

Обычно в таких случаях люди выражают свое неудовольствие стуком в стену. Аглая в стену не стучала, показывая Шубкину, что вообще не замечает его присутствия. Сталкиваясь с ним случайно во дворе или на лестнице, она проходила мимо него, как мимо пустого места.

Это не она донесла в местные органы, что Шубкин слушает иностранное радио, но она была ближайшей соседкой, и подозрение пало на нее. Из органов, которые народ называл просто органы, письмо переправили в партийные органы, то есть в райком, после чего Шубкина вызвал к себе Поросьянинов. Шубкин думал, что это по поводу стихов Бунина, которые он читал на вечере районной самодеятельности в День Учите-

ля. Но беспокойство оказалось напрасным. Поросянинов за Бунина Шубкина не ругал, потому что не знал, кто такой Бунин. Он усадил Шубкина в мягкое кресло, предложил чаю с сушками и лимоном, пораспрашивал о делах в детском доме, о личных проблемах, а потом, помявшись, приступил к главному, перейдя при этом на «ты»:

— Тут, понимаешь, сигнал поступил, что вечерами слушаешь враждебное радио.

— От кого сигнал? — спросил Шубкин.

— Не знаю от кого. Анонимный. У нас, — Поросянинов улыбнулся, — люди любят писать. Некоторым легче наступать, чем постучать в стенку.

Шубкин намек понял и стал уверять Поросянинова, что слушает радио исключительно с целью контрпропаганды. Он активный общественный деятель, пропагандист коммунистической идеологии. Для эффективной борьбы с буржуазной идеологией ему надо знать аргументы противника.

— Это правильно, — согласился с ним Поросянинов. — Но я думаю, что аргументы противника будут тебе так же понятны, если ты свой приемник переставишь к другой стенке. И немного звук убавишь.

Шубкин совету внял и переставил стол вместе с приемником и машинкой подальше от Аглаи, ближе к Шурочке-дурочке, тем более что та была глуховата и ненужных ей звуков не слышала. Но иногда все-таки, когда что-то случалось экстраординарное, Шубкин, чтобы просветить и Аглаю, ставил приемник к ее стенке. И она, как ни странно, не возражала, ибо тоже стала ощущать потребность в информации не только из газеты «Правда».

31

Хотя общие события развивались в приятном Шубкину направлении, отдельные частности настораживали Шубкина, о чем он с тревогой сообщал в ЦК КПСС. Написав очередное письмо руководителям партии, он для начала читал его Анто-

нине, проверяя, как оно воспринимается простым народом. Станет, бывало, в позу поближе к окну, в левой руке письмо, правая выкинута вперед, и начинает:

— Дорогой и многоуважаемый Никита Сергеевич!

Известно ли Вам... — Вот так он почти всегда начинал: «Известно ли вам...» Такое вступление звучало как вызов. Что значит, известно ли вам? Сама должность, занимаемая Хрущевым, предполагала, что ему известно всё... Начало, конечно, грубое, но если б он дальше писал как-то помягче. Но дальше еще хуже. — ...Известно ли Вам, что руководимая Вами партия находится в процессе перерождения?..

Когда он читал, Антонина переставала вязать и хмурилась.

Он спрашивал удивленно:

— Тебе не нравится?

— Не, — возражала она поспешно.

— Не нравится? — удивлялся он еще больше.

— Не, — уточняла она, делая паузу, — нравится. Только зачем же так напрягать головку? Ведь они ж вас за это, Марк Семенович...

— Что? Думаешь, снова посадят?

— Могут, — кивала Антонина. — Ой, они могут.

— Ну уж нет, — отвергал такую возможность Марк Семенович, — решения Двадцатого съезда теперь уже отменить нельзя. Но именно для того, чтобы этого не случилось, мы, рядовые коммунисты, не должны молчать, не имеем права молчать.

— А вы думаете, мы доживем до коммунизма? — спрашивала Антонина, поджимая под себя ноги.

— Ох, Антонина! — всплескивал Шубкин руками. — Что значит, думаю я или не думаю? Я точно знаю, что коммунизм наступит. Рано или поздно, но обязательно. Ты должна понять, что марксизм — это не религия, которая состоит из каких-то небылиц, а наука. Предвидение, основанное на точном анализе. Я до коммунизма вряд ли доживу, а ты молодая, ты еще доживешь. Ты знаешь, что такое коммунизм? Коммунизм —

это... — И, ходя по комнате, Марк Семенович начинал рассказывать Тоньке сны Веры Павловны, и так красочно, словно они ему самому только вчера приснились. Она слушала завороженно, с мягкой улыбкой, а выслушав, сообщала:

— А у нас в буфете вчера ночью кто-то прямо на столе обратно кучу наклал. А как получилось, кто, когда — там и дежурный, и милиция, — никто не видел. Прямо партизаны какие-то.

32

Говорят, умственные способности человека зависят от веса его мозга. А большой мозг может поместиться только в большой голове. Большая голова была у Тургенева. И соответственно мозг — весом в две буханки хлеба. Еще больше была голова у Ленина. Большой головы, чем у Ленина, и большего мозга, естественно, не было ни у кого в мире, и сомневаться в этом при советской власти было опасно. Можно было своей головы, какая ни на есть, лишиться. Но поскольку советская власть свое существование завершила, я могу поделиться своим предположением, сделанным, правду сказать, на глазок, что у Марка Семеновича Шубкина голова была, может быть, даже больше ленинской. Хотя как судить? Ленина я видел издалека и в гробу, а Шубкина вблизи и живьем. Мозг Марка Семеновича, насколько мне известно, никто не взвешивал (даже потом, когда появилась такая возможность), но, очевидно, он был тоже не маленький. И потрясающей разрешительной силы (это уж я знаю точно), благодаря чему Шубкин книги, например, читал не как мы, строчку за строчкой, а целыми страницами, как бы сразу вбирая их в себя целиком. Посмотрел на страницу — прочел, посмотрел — прочел. Я сначала думал, что он... как бы сказать... только скользит глазами от первой строчки к последней, но он даже надо мной посмеялся. То, что вы имеете в виду, сказал он, это партитурное чтение, таким способом даже и вы могли овладеть, если бы постарались. А мое чтение — фотографическое. Я смотрю на страни-

цу, и она вся сверху донизу входит в меня одновременно. Глянул на страницу и всю целиком прочел и запомнил. Хотите, проверим? Конечно, я проверял. Брал с полки любую книгу, открывал на любой странице, давал Шубкину только взглянуть, и он тут же воспроизводил весь текст с закрытыми глазами. Вот какой необыкновенный талант! Языки, как сказано выше, Шубкин знал практически все, большинство из них выучив в лагере. В Долгове иностранцы встречались нечасто, но в период ослабления напряженности, бывало, наезжали знакомиться с успехами нашего сельского хозяйства. Тогда начальство сразу призывало Шубкина. И он этим иностранцам объяснял преимущества колхозной системы на любом языке, начиная с английского и кончая каким-нибудь малоизвестным наречием финно-угорской группы. Многие люди, потрясенные обширностью его знаний и памятью, полагали, что это признак огромного ума, и в его присутствии предпочитали скромно помалкивать. А те, которые решались с ним спорить, всегда проигрывали. И я тоже проигрывал. Потому что он меня давил своей эрудицией, побивал цитатами из классиков марксизма-ленинизма. Над моими сомнениями по поводу научного и практического коммунизма он просто смеялся, считая, что они от невежества.

— Вы, голубчик, — иронизируя надо мной, он всегда меня называл голубчиком, — сначала почитайте Маркса, Энгельса, Ленина, потрудитесь вникнуть в суть их размышлений, а потом будете спорить. Разве можно судить об идеях, выношенных лучшими умами человечества, не ознакомившись с самими этими идеями?

— Я с ними ознакомился, — иногда осмеливался я на спор. — Я с этими идеями на собственной шкуре ознакомился, и очень подробно.

— Вы ознакомились с их искажениями, — возражал Шубкин, — а я вас призываю ознакомиться с самими идеями. Возьмите и почитайте для начала «Капитал», «Анти-Дюринг» и хотя бы половину полного собрания сочинений Ленина, томов пятьдесят.

Я пробовал внять этим советам. Брал в библиотеке указанные сочинения, но от чтения их меня каждый раз клонило в сон и появлялся неприятный шум в голове.

Так что я перестал читать эти книги и с Шубкиным старался больше не спорить, потому что — ну куда же мне с моими-то знаниями?

Но как-то я посетил Адмирала в его сторожке на лесоскладе. Сторожка была сколочена из струганых брусьев и обшита свежими, еще не забывшими свой запах сосновыми досками. Адмирал уже и сторожку ухитрился превратить в каюту. На стенах наколоты булавками географические карты, на столе — модель парусника семнадцатого века, на табуретке у топчана — старая лощия портов Азовского моря. Сам топчан был похож на койку в каюте и на ложе бомжа: Адмирал полулежал на каком-то тряпье, укрытый старым серым пледом с кистями, и пил чай, крепко заваренный прямо в алюминиевой кружке. А для меня он нашел в своем хозяйстве граненый стакан с подстаканником. Я тоже сыпал туда чай, а потом заливал кипятком.

Дело было зимой. На дворе трескучий мороз, а здесь в круглой железной печке с открытой дверцей весело пылают березовые чурки, жарко, Адмирал потеет, а из сосновых досок на стенах выступает смола.

Мы пили чай с тульскими пряниками, и я рассказывал Адмиралу о своих разговорах с Шубкиным. Честно рассказал, что, споря с ним, иногда чувствую свою правоту, но не могу доказать, потому что он давит меня своим авторитетом. И тем, что старше, и тем, что долго сидел, и тем, что все знает. Я мысль какую-то выскажу, а он мне на это цитату из Ленина, из Маркса или даже из Гегеля или Декарта.

— Скажите, — спросил меня Адмирал, разламывая пряник, — а вам не кажется, что этот ваш Шубкин — круглый дурак?

— Как же, — растерялся я. — Как же я могу считать его дураком, когда он такой образованный?

— А вы полагаете, образование и ум это одно и то же?

— Ну... — Я задумался. — Конечно, если человек образованный, у него в голове много знаний, он, обдумывая что-то, может оперировать большим количеством данных...

— Вот! — перебил меня радостно Адмирал. — Может оперировать! А если не может? Вы говорите, цитаты. А он вам хоть одну свою собственную, лично им выношенную мысль хоть раз высказал?

— А зачем? — спросил я. — Если у него в голове столько чужих хороших мыслей, зачем же ему свои выдумывать?

— А вы, я вижу, тоже... как бы сказать...

— Вы хотите сказать, что я тоже дурак? — поспешил я обидеться.

— Да нет, — сказал Адмирал. — Я человек вежливый и так резко в данном случае говорить бы не стал, но вы сами подумайте. Человечеством уже высказано так много умнейших мыслей, и что же — нам больше ничего не нужно? Но для чего-то мы с вами сейчас мыслим, а не перестреливаемся цитатами. Хотя поверьте, в моей голове их тоже очень много. И есть очень яркие. Некоторыми из них я могу подкрепить свою мысль. Но заменить оригинальную мысль цитатами невозможно.

— Почему? — спросил я.

— Потому что каждая мысль чего-то стоит только тогда, когда рождена в голове конкретного человека в конкретных обстоятельствах на основе собственного опыта и в результате собственного размышления. Можете, — он снисходительно усмехнулся, — записать это себе как цитату, а потом в споре с Шубкиным употребите. А пока подбросьте в печку дровишек.

Я кочергой поправил почти прогоревшие головешки, добавил свежих чурок, сбегал с чайником к водоразборной колонке. Пока нацеживал воду, продрог, вернулся и говорю Адмиралу в защиту Шубкина:

— Как же, вот вы говорите — дурак, а у него такая огромная голова, она же чем-то наполнена.

— Глупостью и наполнена, — безжалостно сказал Адмирал. — Я вам вот что скажу. Вам, наверное, приходилось бы-

вать в деревне. Если вы заметили, в каждой деревне есть один дурачок и один мудрец. Какой-нибудь простой мужик. У него головка с кулачок и мозг, вероятно, тоже не очень крупный. Но мыслит он на основе собственных знаний о жизни и личного опыта просто, ясно и здраво. А вообще я вам советую примерно вот что усвоить. Человеческий мозг отличается не только размерами, но и способами освоения входящего материала. Мозг может быть, грубо говоря, складом, мельницей и химической лабораторией. Склад бывает очень вместительным, заставленным разными предметами, но чем больше предметов, тем труднее в них разобраться. Мельница способна перемалывать только то, что в нее засыпают. Если она маленькая, примитивная, но хорошее зерно она перемелет в очень неплохую муку. Но если вы возьмете мельницу большую, современную, самую лучшую, с хорошими жерновами и идеальными ситами и загрузите ее плохим зерном, она ничего хорошего вам не выдаст. Творческий мозг — это высший тип мозга, это химическая лаборатория, в нее загружают все, что угодно, а получают принципиально новое, синтез. Там работает всё: знания, память, способность к собственному мышлению. Такой мозг очень редко встречается, редко даже у тех, у кого голова большая.

— Наверное, у Ленина был такой мозг, — предположил я.

— У Ленина? — переспросил удивленно Адмирал. — Что вы! У Ленина был мозг идеологический. Еще один тип, и не часто встречающийся. Не склад, не мельница, не лаборатория, а что-то вроде головного желудка. Закладывается много всяких продуктов высокого качества, все они перевариваются и превращаются в дерьмо.

— Ну тогда, — обрадовался я найденному определению, — значит, и у Шубкина мозг-желудок.

— Нет, нет, — возразил мой собеседник. — У Шубкина как раз мозг-мельница. Если б в него засыпать хорошее зерно, могла бы получиться мука. А он загрузил свою мельницу ленинским дерьмом, и на выходе тоже получилось дерьмо.

Я выгреб из стакана испитой чай, бросил его в огонь, а себе заварил новую порцию.

— Вам тоже повторить? — спросил я Адмирала.

— Да, пожалуйста.

— Мне бы все-таки хотелось, — сказал я, — довести начатый разговор до конца. Значит, вы считаете, что человек может быть очень образован, много знать, обладать феноменальной памятью, иметь необычайные способности к языкам и быть при этом попросту дураком?

— Ну да, — кивнул Адмирал. — Ваш Шубкин тому пример.

— А Ленин?

— И Ленин дурак, — спокойно сказал Адмирал.

Тут уж я просто не выдержал.

— Ну, знаете, — сказал я. — Вы, конечно, оригинал и парадоксалист, к Ленину я и сам отношусь критически, но называть его дураком — это уж слишком. Он весь мир перевернул.

— А с какой целью?

— С какой целью, это дело другое.

— Нет, — разгорячился наконец и Адмирал. — Это не другое дело. Я уже вашему Шубкину объяснял. Умный человек — это человек, который ставит перед собой цель и исполняет. А кто ставит перед собой неисполнимую цель и не понимает того, что она неисполнима, тот не может считаться умным.

— Ну, в бытовом смысле вы, предположим, и правы. Но Ленин, он же ставил перед собой не простую, он ставил грандиозную цель.

— Поэтому он и дурак не простой, — сказал Адмирал. — Грандиозный дурак. Запишите себе это тоже в тетрадку: Ленин — грандиозный дурак.

Адмирал помолчал, потом решил, наверное, что мысль свою надо все-таки аргументировать.

— Я... — сказал он, — в отличие от вас, у меня время было... его всего прочитал от корки до корки. Он же, извините, полностью обосрался. Во всех смыслах. Революцию он совер-

шил, власть захватил, Россию перевернул, но для чего? Где то, что он предсказывал? Где коммунизм? Почему жив до сих пор капитализм, если он еще при нем достиг последней стадии? Шубкин в доказательство его ума говорил, что Ленин после революции понял, что зашли слишком далеко, решил частично вернуться к капитализму и объявил нэп. Но не глупо ли разрушать то, что существовало полностью, чтобы вернуться к этому частично? В общем, повторяю, ваш Ленин был грандиозный дурак или гениальный дурак, если вам это приятней слышать. Но что вообще дурак, мне это настолько очевидно, что даже спорить лень.

Было уже поздно, но я, рискуя опоздать на последний автобус, спросил Адмирала, а что он думает насчет Сталина. Тоже дурак?

— Нет, — сказал Адмирал, кутаясь в плед. — Сталин как раз не дурак. Он ставил перед собой ясные ему самому цели и четко их исполнял.

— Но он при этом говорил...

— Какая разница, что он говорил? — устало зевнул Адмирал. — Важно, что он делал. А делал он всегда именно то, что хотел.

33

В октябре 1961 года на XXII съезде КПСС старая большевичка Дора Лазуркина обвинила Сталина во многих нарушениях социалистической законности и предложила вынести нарушителя из Мавзолея. Всем было ясно, что предложение сделано с одобрения и по указке вышестоящих товарищей. Поэтому товарищи нижестоящие (точнее, нижесидящие) поддержали предложение, одобрили его (в душе осуждая) бурными аплодисментами, а затем уже другие товарищи отделили тов. И.В.Сталина от товарища Владимира Ильича Ленина и под покровом ненастной ночи втайне от народа трусливо закопали у Кремлевской стены. Разумеется, заранее предполагались народные волнения. С этой целью в Москву

были стянуты дополнительные силы КГБ и МВД. Было усилено милицейское патрулирование и объявлена готовность номер один в Кантемировской и Таманской дивизиях. И все эти усилия оказались совершенно напрасны. Народ, еще недавно поголовно обожавший товарища Сталина, откликнулся на проведенную акцию полным и равнодушным молчанием. Ему это было, как говорилось в самом народе, до фени. И чего ждать от народа, когда даже партийные вожди от высших рангов до низших, которые еще недавно превозносили Сталина до небес, клялись ему в вечной любви и верности, обещали жизнь за него отдать, как только подвернется малейшая необходимость или возможность, тут же стали торопливо снимать портреты своего любимца, убирать с книжных полок и выкидывать на помойку тома его сочинений, освобождая место для уже растущего собрания сочинений Никиты Сергеевича Хрущева, «нашего дорогого и любимого».

31 октября, в день окончания съезда, пришло Аглае письмо с далекого острова Свободы, как тогда называли Кубу. Марат, окончив Институт международных отношений, был направлен туда помощником пресс-атташе в советском посольстве. В своем первом письме он без лишних подробностей писал о своей новой жизни, о невыносимой жаре, о местных обычаях, сигарах, напитках, танцах и музыке. Письмо заканчивалось сообщением, что Зоя в гаванской больнице родила сына, которого молодые родители назвали в честь покойного отца Андреем. «Мальчик, — писал Марат, — родился большой, четыре с половиной килограмма, но беспокойный. Ночами не спит и плачет. Отдавать его в ясли доктор не советует. Пришлось нанять домработницу, которую посольство оплачивает лишь частично». Но, несмотря на скромную зарплату и большие расходы, Марат надеялся скопить денег на «Волгу» и на дом в деревне, поэтому отказывать себе приходится буквально во всем.

В конверт была вложена фотография голого карапуза с пальцем во рту. Аглая, посмотрев на фотографию, положила

ее в ящик письменного стола и написала в ответ, что прокли-
нает Дору Лазуркину и ее слушателей. Она, конечно, имела в
виду Хрущева и всех участников съезда КПСС, но, считаясь с
вероятной перлюстрацией, ограничилась словом «слушате-
лей». Слушателей, не проявивших принципиальности и едино-
гласно одобренных навязанных сверху решения, включая, как
она намекнула, «разрушение того, что не ими было
построено». Стараясь упрятать свои главные мысли в под-
текст, Аглая выражала возмущение современными вандалами
и разрушителями святынь, для которых ничто не дорого: ни
родина, ни народ, ни история, ни люди, которые творили эту
историю. При этом она выразила уверенность, что гробокопа-
тели просчитаются. Тело великого человека можно зарыть где
угодно, но память о нем не закопаешь. Вооруженная истори-
ческим оптимизмом, Аглая обещала сыну, что он еще доживет
до полного и безоговорочного восстановления справедливо-
сти, доживет до того дня, когда, как когда-то предвидел вели-
кий вождь, «будет и на нашей улице праздник».

Запечатав письмо, Аглая решила отправить его заказным
и для того отправилась на почту.

Это время года было в Долгове, как обычно, муторным и
дождливым. Дождь сыпался беспросветно недели полторы
или две, отчего вся природа поблекла, посерела, набухла и
растеклась жидкой кашей по улицам. Грязь под ногами чав-
кала мучительно и со вкусом, всасывала в себя Аглаины ре-
зиновые сапоги. Чтобы не остаться босой, приходилось вы-
дирать сапоги из грязи после каждого шага, подтягивая голе-
ница руками.

Так, отвоевывая у размокшей почвы каждый свой шаг, пе-
редвигалась Аглая вдоль заборов и заборчиков и вдруг увиде-
ла трактор ЧТЗ, который, утопая по радиатор в грязи и натуж-
но урча, плыл ей навстречу и волок за собой на тросу крупно-
габаритный продолговатый предмет, показавшийся Аглае по-
началу бревном. Но, присмотревшись, она разглядела на од-
ном конце бревна носок сапога, а на другом — нос, ус и козы-
рек фуражки, торчавшие крайне нелепо.

Бежать по такой грязи было совсем невозможно, но, движимая сильным чувством, Аглая сумела обогнать трактор, выскочила на середину улицы и, не обращая внимания на жижу, потекшую в левый сапог через край голенища, картинно раскинула руки и закричала:

— Стой! Стой!

Трактор продолжал урчать и двигаться на Аглаю. К сожалению, рядом с ней не оказалось в тот момент какого-нибудь ваятеля или живописца, способного запечатлеть эту незабываемую картину: тупо прущий напролом трактор ЧТЗ и хрупкая женщина с широко раскинутыми руками, в съехавшем на затылок капюшоне, с выбившимися из-под него волосами (уже с проседью), в глазах которой застыла решимость умереть, но не сойти с места. Нет, не было на месте действия ни скульптора, ни живописца, но был чуть поодаль поэт Серафим Бутылко с авоськой, полной стеклотары. К тому времени он давно оставил планы широко прославиться, но еще не потерял надежды на удачный гешефт. А именно: что удастся ему сдать все шесть бутылок из-под жигулевского пива и приемщица не заметит на одном из горлышек маленькую щербинку. Тогда он к имеющимся у него двум рублям мелочью добавит вырученное, и ему хватит как раз на бутылку «Кубанской», да еще и на пачку «Памира» и на коробку спичек. План скромный, но зато рассчитанный до последней копейки и исполнимый. В мешковатом пальто с заштопанными локтями, цепляясь за штакетник, пробирался поэт к пункту приема стеклопосуды и увидел Аглаю, вылезшую с раскинутыми руками на середину дороги. Однако никакого героического жеста в ее порыве не усмотрел, решил, что баба надумала нанять технику для перевозки дров, о чем надо бы позаботиться и ему. А может, и усмотрел, но, пребывая в творческом кризисе, не превратил свое наблюдение в стихи. Во всяком случае, каких бы то ни было упоминаний об этом событии ни в его стихах, ни в дневниковых записях впоследствии не обнаружилось. Тем более что он вообще никаких дневников не вел.

Трактор надвигался на Аглаю, она стояла на месте, сцепив зубы и сжав кулаки. Трактор остановился. Водитель его Слава Сироткин высунулся из кабины и, прикрывая лохматую голову от дождя брезентовой рукавицей, поинтересовался у Аглаи, не из дурдома ли она, часом, сбежала. Аглая подошла сбоку и, кивая на волочимое трактором, спросила:

— Ты куда это тащишь?

— Чего? — спросил Сироткин.

— Ты понимаешь, кого ты тащишь? — перекричала она шум двигателя.

— А кого? — Сироткин втянулся назад в кабину и достал из-за уха заложенную туда про запас папиросу.

— Ты понимаешь, что это Сталин?

— А то кто же? Ясное дело, он.

— Ну и куда ж ты его тащишь?

— Велели на станцию оттаранить, — сказал Сироткин, закуривая. — А там, должно, отправят на переплавку. Металл стране ужасно нужен для космоса.

— Металл? — возмутилась Аглая. — Это тебе разве металл? Это же памятник товарищу Сталину. Мы его всем народом возводили. Мы его ставили, когда у людей не было хлеба и нечем было кормить детей. Мы себе во всем отказали, чтобы его поставить сюда. А ты его волочишь по грязи, как чушку какую. И не стыдно тебе?

Тракторист удивился:

— А чо мне стыдиться, мамуля? Как говорится, стыдно у кого видно, а я же этот... ну как... ну, тракторист же. Мне скажут — тащи, я тащу. Не скажут, пойду в курилку, вот так буду во, — он показал, как он будет курить, — и никаких вопросов.

— А если тебе Ленина прицепят, тоже потащишь?

Сироткин посмотрел на нее с укором:

— Мамуль, про политику не будем. Это там, у кого большие головы, это да. А я тракторист. Шестьдесят шесть рублей в месяц, ну и подкалымлю, если кому там вспахать огород или чего. А кого цеплять и тащить, это, мамаша, у нас бригадир Дубинин решает. Он говорит, допустим, ты, Сирот-

кин, должен это туда. А я что же скажу? Он мне скажет туда, а я не туда? Что я не это или чего? Так что, мамуль, подвинься, и поедем далее.

Сироткин снова взялся за рычаги, но Аглая опять стала перед трактором. Сироткин отпустил рычаги, откинулся назад и расслабился.

— Слушай, сынок, — сказала ему нежно Аглая, — а что, если...

Серафим Бутылко видел, как Аглая села в кабину рядом с трактористом, тот зашуровал рычагами, трактор двинулся вперед, широко развернулся и поволок свою чушку в обратную сторону.

Постороннему наблюдателю дальнейший маршрут трактора показался бы странным. Прodelав длинный и извилистый путь вместе с волочимым произведением искусства, он оказался на северной окраине города у ворот автобазы треста Межколхозстрой. Там Сироткин, оставив Аглаю в работающем тракторе, бегал и искал своего друга, водителя автокрана Сашку Лыкова. Сашки на месте не оказалось, сказали, что он на вокзале участвует в перевеске портретов к предстоящей годовщине Октябрьской революции. Там на фронте вокзала висели Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, а теперь остались Маркс и Ленин. Энгельса убрали ради симметрии.

Сашку нашли в буфете, где он после перевески портретов пил пиво и калякал о том о сем с буфетчицей Антониной. Его отвлекли от буфетчицы, взяли, поехали теперь уже к дому, где жила Аглая. Впереди шел трактор, за ним волоклась статуя, за ней двигался автокран. Дотащили статую до окна, бросили. Сбежались, конечно, жильцы, стали смотреть, что будет. Оказалось, речь идет о внесении монумента в квартиру Аглаи. Габариты позволяли. У статуи рост два с половиной метра, а потолок у Аглаи — три метра десять сантиметров. Сашка, как более сообразительный, осмотрел рабочее место, сказал:

— Будем двигать в окно.

— А как? — спросила Аглая.

— Через рычаг. Архимед, мамаша, говорил: через рычаг я чего хочешь переверну. Так что вот. Подвантажим, подвинуем, поднатужимся и втемяшим. Если с умом, мамаша, так я тебе даже слона втащу.

Как они исполнили этот необычайный заказ, сейчас даже трудно себе представить, но во второй половине того дня чугунный Генералиссимус с помощью автокрана, четырех рук и за четыре бутылки водки был поднят, втащен через окно и установлен в гостиной Аглаи Ревкиной, в углу между двумя окнами, из которых одно выходило на юг во двор, а второе смотрело на восток на автобазу на улице Розенблюма. Конечно, сам Генералиссимус на своих ногах стоять не мог, требовал хоть какого-то пьедестала. Сашка Лыков притащил пятимиллиметровый лист железа, сварочный аппарат и к нему статую приварил. Причем сделал это уже совершенно бесплатно.

В прежние времена вселение кого-то, не имеющего жилья, к кому-то, имеющему его в избытке, называлось уплотнением.

часть вторая

С ПЕСНЯМИ
БОРЯСЬ И ПОБЕЖДАЯ



**ХОЧЕШЬ БЫТЬ ТАКИМ-
ТРЕНИРУЙСЯ!**



Шестого ноября к вечеру в дверь Аглаи Степановны Ревкиной кто-то вкрадчиво постучался. Она с мокрыми руками и полотенцем вышла в коридор, но не успела спросить — кто, как дверь со зловещим, достойным фильма ужасов скрипом стала приоткрываться, и в ней появилось сначала плечо, обтянутое вытертым военным сукном, а затем постепенно обозначился до узнавания мятый профиль управдома Кашляева Дмитрия Ивановича, прозванного Диванычем, краснолицего и красноносого, бывшего полковника метеорологической службы, уволенного из армии за пьянство. Ну, не просто за пьянство — за пьянство можно было бы распустить весь офицерский корпус Советской Армии, — а за то конкретно, что полковник Кашляев, возглавляя метеослужбу Министерства обороны в северных широтах, допустил (и сам, кажется, принимал в том участие) отпивание его подчиненными из различных чувствительных приборов спирта, с заменой его водой. Дошло до того, что главный термометр на главной метеостанции военного округа ровно при ноле градусов замерзал. Тем не менее служба работала. Служба составляла сводки погоды и прогнозы, которыми пользовались корабли Военно-Морского Флота и подразделения стратегической авиации. Правда, Диваныч был очень опытный метеоролог. Текущую температуру, а так же силу и направление ветра он легко определял, поднимая вверх наклюявленный палец, а прогноз на ближайшее время составлял по общим приметам и нытью в раненном на фронте колене. Ну, ошибался, не без того, но не больше, чем всесоюзный Гидрометцентр. Хотя, может быть, и Гидрометцентр ошибался по той же причине. Диваныча из армии уволили, и теперь он служил управдомом, получая вдобавок к скромной зарплате полковничью пенсию.

Дверь скрипела, Диваныч втискивался в нее упорно и целенаправленно, сам же придерживая ее рукой, то есть оставляя лишь щель для втискивания, чем он усердно подчеркивал незначительность своей личности, как бы не заслужившей полноценно открытого входа. При этом, однако, демонстрировал и определенное нахальство, своим видом показывая, что щель для себя открыл скромную, но пролезет в нее непременно. Наконец он материализовался полностью в офицерском костюме с невыгоревшими следами от споротых погон и петлиц, с двумя пуговицами, из которых одна была форменная военная, а другая форменная ремесленного училища.

— Здравия, как грится, желаю, Агластепна, и, как грится, с наступающим праздником. — Полковник стянул с себя фуражку с красным околышем и треснувшим козырьком, потрянул головой, отчего перхоть легким белесым роем вспорхнула и, прежде чем просыпаться на плечи, зависла над головой Диваныча, словно блекло сияющий нимб.

Аглая, ничего не сказав, смотрела на вошедшего вопросительно. Он также смотрел на нее, забывши, видно, зачем пришел.

— Вот, как грится, явился, — сказал полковник и опять потряс головой.

— Ну явился, проходи, только обувкуними, я за тобой полы подтирать не буду.

— Уж это как водится, — охотно согласился Кашляев. — Грязь на улице, грубо грязь, непролазь, и таскать ее в дом...

Не договоривши фразы, он сбросил с себя полуботинки с рудиментами желтого цвета и пошел, скользя по крашеному полу серыми шерстяными носками с дырками у больших пальцев. Вслед за хозяйкой полковник проскользил в гостиную и вдруг оторопел, словно увидел перед собой слона или американский небоскреб Эмпайр Стэйт Билдинг.

Перед ним во весь рост и в полной чугунной форме стоял Верховный Главнокомандующий, держа в левой руке перчатки, а правой почти упираясь в потолок. Очищенный и отмытый Аглаей, он смотрел Диванычу прямо в глаза, и вся

левая сторона его тускло блестела в свете пятирожковой люстры.

Хотя Диваныч знал, что здесь стоит эта статуя, ради нее он сюда и пришел, но наглядный вид монумента привел его в полное ошеломление.

— Ё-о-о! — простонал Диваныч, и в груди его не осталось воздуха для более внятного междометия.

Так и стоял он с открытым ртом, покуда хозяйка не возвратила его в реальность вопросом о цели прибытия.

— Да вот, — смущаясь, начал Диваныч, но, мысли не досказав, опять прилип взглядом к статуе и замолчал.

— Что нужно? — повторила вопрос Аглая.

— Да вот... — Пытаясь продвинуться в размышлении дальше, Диваныч подергал плечом. — Это вот, — указал на статую, — так, а жильцы пишут коллективно, что большая, грубо гря, нагрузка. У нас же перекрытия, грубо гря, деревянные, а у Тухватуллиных трещины в потолке.

— Ну и что? — спросила Аглая.

Кашляев одновременным разведением рук, пожатием плеч и поджатием губ изобразил отсутствие у него удовлетворительного ответа на заданный вопрос. Но, поднатужась, попробовал высказать мнение более внятно:

— Вот, грит, трещина. А я гря, ну трещина, ну и чего, она тебе мешает? Она у тебя в голове, эта трещина? А он грит, как же это, когда вот суп, грит, ел и чувствую, грит, что-то твердое, я, грит, думаю, зуб выпал, а смотрю — это не зуб, щека-турка. Грубо гря, для квартирных условий не предназначено. На площади, дело другое, там он стоит, и, если даже провалится, это как бы не наше дело. Там он на самом месте, и люди могут подойти и цветочки положить или там с экскурсоводом, а тут же, грубо гря, жилой дом, а балки деревянные и с грибком. Если что, мне, допустим, тюрьма, а Тухватуллиным, грубо гря, прямо смертная казнь, и другие жильцы тоже имеют свои опасения.

Аглая все это выслушала, сложив руки на тощей груди. Вдохнула:

— Ну и что ты хочешь сказать? Чтоб я его выкинула. Сталина чтоб выкинула куда? На свалку? На помойку? А?

Кашляев глубоко и грустно вздохнул:

— Да я что, да если бы он живой был, то я за него, грубо говоря, с пятого этажа мог бы... как бы это сказать... — Кашляев не договорил и почтительно посмотрел на статую, словно надеясь на ее понимание. Но, встретившись с ней глазами, испытал беспокойство. Статуя смотрела на него с такой неприязнью, что ему стало не по себе. Он даже назад немного попятился к выходу и не сразу расслышал вопрос, заданный хозяйкой. И переспросил: — Чего?

— Выпить, спрашиваю, хочешь?

— Выпить? — Кашляев замер и облизнулся. Очень хотелось сказать полковнику: нет, никогда, ни за что — и гордо удалиться. Или перед тем, как удалиться, щелкнуть сбитыми каблуками, произнести что-нибудь возвышенное о чести, им, как ему иногда казалось, еще не полностью пропитой, советского офицера. Но он ни разу такого еще не делал, ни разу такого не говорил. Хотя поводов было немало. Ибо жильцы при необходимости или на всякий случай совали ему кто пятерку, кто тройку, а некоторые, видя его затрапезный вид, ограничивались мятым рублем, и он брал все, что ему протягивали. И сейчас предложение выпить вызвало в нем секундное колебание, после чего он, отведя взгляд от статуи, сказал «ага» и был приглашен на кухню за круглый стол, покрытый клеенкой с нарисованными на ней кремлевскими башнями.

Водка была у Аглаи всегда. С партизанских времен выпивала она регулярно за ужином рюмку-две, но дальше не заходила, прослышав, что злостный алкоголизм неизбежно кончается окаменением печени.

Она вынула из холодильника «Саратов» бутылку «Московской» с изображенными на этикетке многими медалями, достала две холодных котлеты, холодную картошку, капусту квашеную и банку сайры. Пробку тонкого металла с хвостиком, за который можно было тянуть пальцами, Аглая, сорвала зубами.

— О! — восхитился Диваныч. — Это по-нашему! Но я-то так не умею. Зубы шатаются ввиду неналичия кальция и достаточных витаминов.

— Ну что ж, за него, — подняв рюмку, предложила Агляя.

— Тогда не чокаясь, — сказал управдом.

— Чокнемся! — возразила она. — Для нас он вечно живой.

— Вечно живой! — согласился Кашляев и поднялся, справедливо полагая, что за вечно живых пить надо стоя. Вместе с ним поднялась и хозяйка.

Далеко за полночь, уже одевшись в прихожей, Диваныч вернулся к статуе, постоял перед ней почтительно и тихо сказал:

— Великий был человек. Полководец!

— Теперь таких нет, — отозвалась Агляя.

— И не будет. — Полковник заплакал, торопливо смахнул слезу и вышел вон.

2

На другой день был такой же вкрадчивый стук в дверь. Она думала, что опять Кашляев, но, открыв, увидела перед собой старичка, похожего на Калинина. С козлиной бородкой и усиками, в железных очках, в синем суконном пальто с давнишним, пропахшим нафталином и все же побитым молью кроличьим мехом и в стеганых бурках с галошами. Старичок предъявил ей удостоверение инспектора по надзору за эксплуатацией гражданских строений, попросил разрешения пройти и снял галоши.

Перед статуей остановился, посмотрел на нее поверх очков, поцокал языком, покрутил головой:

— Ой, сударыня, какая большая, какая тяжелая вещь! Извините, надо кое-что обмерить.

Он сбросил пальто на стул, а другой стул подтащил к статуе.

— Вы позволите? — И, не дожидаясь позволения, полез на стул. Достал из кармана портновский метр и принялся обмерять статую.

— Для чего вы это? — спросила Аглая.

— Ну как же для чего, миленькая. Это, по-моему, очевидно, что, прежде чем высказать мненьце о предмете, его надо обмерить. Я, между прочим, в юности помощником у закройщика служил, так что мне эта процедура знакома с тех пор. А закройщик славный был человек, но суровый. Чуть ошибся, и следует такая затрещина, что любо-дорого. В строгости нас воспитывали, но с большой пользой.

Он по-молодому соскочил на пол, вытащил из кармана блокнот и химический карандаш, снятые размеры сложил и перемножил. И застонал:

— Ой, нет, это никак невозможно.

— Что невозможно? — спросила Аглая.

— Ничего невозможно. Как говорит мой ближайший начальник, габариты не входят в лимиты. Такую тяжесть здешние перекрытия не выдержат. Придется это железо убрать.

— Это не железо, — рассердилась Аглая, — а товарищ Сталин.

— Нет, дорогуша! — потряс бородой старичок. — Это не товарищ Сталин, а сплав железа с углеродом, удельный вес — около восьми граммов на кубический сантиметр. Тут уж буду с вами категоричен — вещичку надобно вынести.

Аглая метнулась к себе в кабинет и вышла оттуда с красной десяткой, которую без всякого смущения протянула гостю:

— Вот, возьмите.

— Что это? — покосился на протянутое старичок.

— А вы сами не видите? — насмешливо спросила Аглая.

Всегда была она убежденным коммунистом, партийным руководителем, очень верила в советскую власть и в советский народ. Верила в преданность народа коммунистическим идеалам, в его моральное здоровье и неподкупность. И в то же время не сомневалась, что каждый отдельный член этого народа за пятерку, а тем более за десятку, продаст целиком тело, душу, родину, народ и коммунистические идеалы. Если бы она прочла где-нибудь в романе или в рассказе, что вымышленный

автором чиновник получил от вымышленного просителя взятку, она бы немедленно написала в редакцию гневное опровержение. Клевета на нашу действительность. Наши советские работники взяток не берут, и автора подобных злостных измышлений следует наказать по всей строгости. Но в реальной жизни она не могла даже представить себе, чтобы советский служащий, большой или маленький, пренебрег возможностью взять, что дают, или не дать, что просят. А такие люди все же бывали. Конечно, не в каждой области и не в каждом районе, но кое-где как пережитки прошлого встречались. Именно таким был описываемый нами инспектор. Который сказал решительно:

— Нет уж, спасибо.

— Мало, что ли? — позволила себе насмешку Аглая.

— Не мало, — сказал старичок. — По моему чину достаточно. Только я, милочка, взяточек вообще не беру. Предпочитаю жить на зарплату. Туговато приходится, но душа спокойна. Не снится мне по ночам «черный ворон» и лязганье тюремных засовов.

Аглая смутилась, стала бормотать что-то, что это не взятка, а дружеское подношение, но и тут старичок не поддался:

— Нет уж, извините, и дружеских взяточек не беру. Но вы не беспокойтесь. Придут к вам, может быть даже завтра, другие, которые побольше меня. Они возьмут. Правда, этой красненькой им будет мало. Зато они позволяют вам, драгоценная, провалиться вместе с вашей статуей на голову соседей. Но это уж дело не мое. А я пойду писать заключение.

Старичок как в воду глядел.

Пошли к Аглае косяком один за другим представители всяких контролирующих, инспектирующих и каких-то совсем сторонних организаций, и все они, в отличие от того старичка, брали кто пятерку, кто десятку. Иные вымогали и четвертную. В результате сложилась ситуация, о которой Аглаин сосед снизу Георгий Жуков говорил так:

— У ей жилец не пьет, не курит, а денег требует.

По местным понятиям Аглая не была бедной. На книжке, ее годами нетронутые, лежали, как она сама называла, скромные трудовые сбережения. Когда-то партийный спекурьер, в полувоенной форме и с револьвером в брезентовой кобуре, ежемесячно появляясь неизвестно откуда, вручал ей под расписку конверт. Внутри была ее вторая зарплата, которую получали номенклатурные работники за то, что несли на себе груз высокой ответственности. У нее было две зарплаты, но ей при ее образе жизни хватало и одной. Вторую зарплату она целиком относила в сберкассу, и не только постороннему завистливому взгляду, а и ей самой накопленная сумма представлялась богатством большим и неиссякаемым. Но богатство это оказалось недостаточным для прокормления всех местных проверяльщиков. Скромные сбережения таяли на глазах, а проверяльщики становились все наглее и ненасытнее.

3

Адмирал считал, что, развенчав Сталина, Хрущев совершил фатальную ошибку. Нарушил главный неписанный закон ЕПЭНЭМЭ, согласно которому ничто не должно подвергаться сомнению. Если разрешено ругать Сталина, значит, можно усомниться и в Ленине. А если не верить в непогрешимость Ленина, то возникает соблазн задуматься и насчет ЕПЭНЭМЭ, настолько ли оно правильно.

— ЕПЭНЭМЭ, — утверждал Адмирал, — как автомобильная шина. На ней можно уверенно ехать, пока она герметична. Проткнуть одну дырку — и ее уже надо менять.

— Или клеить, — сказал я.

— Или клеить, — согласился Адмирал. — Но это уже будет клееная шина. А идеальное ЕПЭНЭМЭ, в отличие от шины, должно иметь репутацию непротыкаемого ни при каких обстоятельствах.

С осени 1961 года у многих жителей Долгова, а точнее — у всех, появилось ощущение, что в жизни города и района что-

то непоправимо нарушилось. Памятник снесли — словно из колеса выдернули ось. Не стало центра, вокруг которого все вращалось. Пока Сталин стоял на месте, он был незыблемым ориентиром и в буквальном топографическом, и в ином, метафизическом, смысле. Когда случайный пришелец спрашивал местного жителя, как ему дойти до какого-то места, ему говорили: пойдешь прямо, дойдешь до памятника, там повернешь направо. Или налево. Или пройдешь еще дальше. А теперь не памятник, а пустой постамент с надписью, которую кто-то пытался затереть, но до конца не дотер: «И.В.Сталин». Этот гранитный куб действовал на воображение людей странным образом. Глядя на него, они остро чувствовали, что на нем кто-то должен стоять. А если никто не стоит, то во всей жизни не хватает важного стержня, в отсутствие которого можно многое, чего раньше было нельзя. Говорят, что именно с тех пор дети стали меньше слушать родителей, упала дисциплина на производстве, увеличился оборот от продажи народу алкогольных напитков, возросло количество аборт и преступлений, связанных с посягательством на жизнь, честь и имущество граждан. Жители Долгова, конечно, и раньше на бытовой почве и по праздникам пыряли друг друга ножами, закалывали вилами и забивали кольями, но это все было данью старым обычаям. А после свержения стагуи и начало формироваться явление, названное впоследствии беспределом. Прокурор Строгий был уличен в растлении собственной малолетней дочери. Примерно тогда же в районе появился первый за всю историю этих мест серийный убийца, которым оказался преподаватель марксизма-ленинизма в техникуме культуры, причем он же постоянно выступал в газете «Долговская правда» со статьями на темы советской морали. На аллее Славы неизвестные вандалы осквернили несколько могил, повалили надгробья, сделали на них хулиганские надписи и особое внимание уделили могиле Розенблюма: камень на его могиле расколотили кувалдой.

А что касается статуи Сталина, то о ней в городе распространялись слухи, один другого нелепее. Жившие под Аглаей

соседи точно слышали: кто-то тяжелый ходит ночами на втором этаже. Слышны шаги, скрипят балки, качается люстра, и штукатурка сыплется с потолка. Потом кто-то видел фигуру, бродившую в сумерках по пустырю. Как-то поздно ночью и после большой пьянки, выйдя на улицу покурить, Георгий Жуков увидел сидящего на скамейке старика в военной шинели. Он сидел, сгорбившись, и курил трубку. Жуков подошел к нему сзади и сказал:

— Папаша, не дадите ли прикурить?

Папаша повернул к нему лицо, и Жуков увидел, что лицо у старика железное, а глаза большие, с дырками вместо зрачков, и при этом смотрят прямо на Жукова.

— Извиняюсь, — сказал Жуков и тихонечко отошел. Поднявшись к себе, он достал утаенную от жены в сапоге чекушку, опорожнил ее, лег спиной к жене и спал ровно четверо суток, что было официально удостоверено в его больничном листе.

С тех пор в жизни Жукова ничего не случилось, кроме того, что он бросил курить. Но пил даже больше прежнего. А вот с куреньем покончил раз и навсегда. И вовсе не с целью сохранения здоровья, а просто так — бросил, и все. Утром после своей летаргии встал, схватил натошак папиросу, пошел в уборную, расположился, поднес к папиросе спичку и вдруг — как вспомнил глаза железные с дырками, так и курить расхотел.

О своем ночном видении Жуков никому не рассказывал, но к другим разговорам о таинственном железном старике прислушивался. А разговоры шли, и чем дальше, тем больше. Говорили, что кто-то где-то встречал Его (имя встреченного люди старались не называть) то в железном виде, то в обыкновенном, вроде он расспрашивал, как живут в районе простые люди, не притесняет ли их начальство и само не слишком ли жирно живет. Были и такие свидетельства, что каждый раз в полнолуние статуя взбирается на пьедестал и стоит там с поднятой рукой, но немедленно исчезает, растворяется в воздухе, как только приблизится к ней живой чело-

век. Впрочем, все это было не больше чем слухи, к которым относиться следует с большой осторожностью. Среди граждан города Долгова и его окрестностей всегда было достаточно диких и доверчивых людей, которые верили в знахарей, экстрасенсов, шпионов, во всемирный еврейский заговор, в колорадских жуков и в мумиё. Там же я знавал фантазеров, которые, по их словам, лично встречались с чертями, привидениями, домовыми, лешими, водяными, ведьмами, инопланетянами и даже летали на их тарелках в иные галактики.

Разумеется, просвещенному человеку верить во все это вовсе не обязательно, но что дух Сталина после его смерти много лет витал над Долговским районом, над всей территорией Советского Союза и над более обширными пространствами — это есть факт исторический и непреложный.

4

Слухи о самовольных передвижениях статуи Аглая оставляла без внимания, зная точно, что ее железный жилец никуда не ходит. Но иногда ей казалось, что, и никуда не ходя, он все-таки реагирует на события всесоюзного или местного масштаба, а некоторые из них предощущает заранее. Она стала замечать, что, как только в стране назревает что-то приятное по ее разумению, он начинает изнутри не то чтоб светиться, а чуть-чуть светлеть. Настолько чуть-чуть, что вряд ли какая-нибудь экспертная комиссия самыми чувствительными приборами могла бы это определить. Так же, как и выражение лица, менявшееся неуловимо. Впрочем, Аглая, сама себе полностью не доверяя, сомневалась: уж не мерещится ли? Но почему-то мерещилось всегда кстати. Сегодня померещилось, а завтра что-то случилось.

Однажды, проснувшись позже обыкновенного утром при ярком солнце, глянула она на своего железного постояльца и увидела, что покрылся он слоем пыли. Устыдилась, налила таз теплой воды, взяла губку, туалетное мыло. Поставила рядом

стоя, на стол табуретку с тазом, на другую табуретку сама залезла и с риском для жизни принялась за дело.

Скульптор Огородов все сделал по-настоящему: и ноздри просверлил, и ушные раковины прокарябал с заковырыстыми углублениями, и везде там набилась пыль. Она, намотав ватку на шпильку для волос, дырки эти прочистила. Когда мыла, говорила слова, которых сыну родному от нее слышать не приходилось.

— Сейчас, — приговаривала, — помоем головку, глазки, носик, ушки, плечики, грудку, спинку, животик... — и дошла до места, где между распахнутыми полами шинели находился нижний край кителя, а под ним как раз начинались ноги и то место, где они начинались. Аглаю внезапно смутило. Место, собственно говоря, было гладкое, какое могло быть только у существа женского пола или вовсе бесполого. И почему-то это Аглаю странным образом озадачило. Она вдруг подумала — сама на себя рассердилась, но от сомнения не избавилась, — а что же на этом месте было у живого товарища Сталина? Думать, что на этом месте у него что-то было, она не могла, но и представить себе, что не было ничего, оказалось еще труднее. Она сама себя обругала, назвала дурой и старой дурой за то, что у нее возникают вообще подобные мысли. Эти мысли она отгоняла, но они опять возвращались и смущали ее. Она понимала, что Сталин был человеком, но вообразить, что он ходил в уборную и зачинал детей, не могла. Эти соображения, до невозможности глупые, тем не менее посещали ее, и она стала за собой замечать, что, обтирая статую, смущающее ее место старается обойти. Через некоторое время увидела, что везде он чистый, а в этом месте не очень. Стала мыть везде одинаково, но определенного смущения избежать не могла.

Разумеется, она ни с кем своими сомнениями не делилась. И никому не давала повода для слухов, которые вскоре стали расползаться по городу: будто она со статуей живет как с мужчиной. Казалось бы, что за чушь? Как живой человек может жить с чугунным изваянием? Кажется, это и представить

себе нельзя, но люди в Долгове, как уже сказано, были доверчивы до невозможности.

Женский опыт Аглаи был сравнительно скромным и не очень удачным. Конечно, у нее был муж Андрей Ревкин. Случались (пару раз за жизнь) еще какие-то короткие связи. Но близость с женщиной никогда не приводила ее в то состояние, о котором она слышала от других. Младшая сестра Наталья рассказывала ей, что близость с женщиной возбуждает ее до того, что она просто звереет и испытывает ни с чем не сравнимое чувство неземного восторга. Это чувство она называла оргазмом. На просьбу описать это точнее, Наталья закатывала глазки и хихикала:

— Ты думаешь, это можно передать словами? Это, ты знаешь... Это ну просто что-то такое.

Более вразумительного объяснения Наталья придумать не могла, но Аглая ее каким-то образом понимала. У нее бывали случаи кое с кем, даже вот с Шалейко, когда это «просто что-то такое» чуть не состоялось. Но ведь не состоялось же ни тогда, ни до и ни после.

Кроме, впрочем, одного случая...

Осенью 39-го года она ездила в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Ее туда послали как передовика сельскохозяйственного производства, так была оценена ее партийная активность. На выставке, само собой, встречи, речи, банкеты, а потом слет ударников социалистического труда в Колонном зале Дома Союзов. Среди гостей были известные на всю страну люди: герои пятилеток, хлеборобы, сталевары, шахтеры, участники всяких зимовок, перелетов и спортивные чемпионы. Здесь были шахтер Алексей Стаханов, трактористка Паша Ангелина, летчик Водопьянов, артист Михаил Жаров. Рядом с Аглаей в четвертом ряду сидел знаменитый паровозный машинист Петр Федорович Кривонос. Он водил очень тяжелые поезда и прославился так, будто поезда эти таскал он сам, а не управляемый им паровоз. Все долго рассаживались, потом чего-то ждали, глядя на полутемную сцену, на стол, покрытый красным сукном, и

на ряды графинов на нем. Вдруг сцена ярко осветилась, и из-за правой кулисы к столу пошли гуськом члены Политбюро. Кривонос стал шептать Аглае на ухо имена вождей в порядке появления. Она сама знала всех, но не могла себе представить, что вот они рядом, живые, а не на портретах: Ворошилов, Буденный, Калинин, Микоян, Каганович, Шверник. Участники слета приветствовали вождей стоя, бурными аплодисментами, и вожди участникам слета тоже похлопали. Вожди стали садиться, и Калинин показал двумя руками, что и публика может сесть.

— Почему-то товарища Сталина нет, — шепнул Кривонос Аглае.

— Наверное, очень занят, — предположила она.

— Товарищ Сталин всегда очень занят, — сказал Кривонос. — Но для людей труда у него всегда время находится.

Не успел он это сказать, как из-за левой кулисы вышел и не спеша двинулся в сторону президиума человек небольшого роста с усами, в скромном полувоенном суконном френче.

— Слава товарищу Сталину! — вскакивая, заревел паровозом Кривонос.

Весь зал поднялся в едином порыве, вскочила вместе со всеми Аглая, и вот тут «это что-то такое» охватило ее внезапно и всю целиком. Словно молния пронзила насквозь все ее тело, невероятный жар вспыхнул в груди, опустился в низ живота. Не управляя собой, она вцепилась в спинку впереди стоявшего стула, закричала и лопнула, как ей самой показалось. Придя в себя, она испугалась, что сосед заметил и догадался, что с нею произошло. Но сосед не догадался, он сам в это время иступленно и бессвязно что-то вопил, и потом Аглая думала, что, наверное, не только с ней это случилось, а со всеми, кто там колотился в истерике.

5

Когда-то Аглая подправила документы и прибавила себе семь лет, чтобы пораньше вступить в борьбу за установление

советской власти. В 1962 году она еще и по документам соответствующего возраста не достигла, но была выпихнута на пенсию с учетом фронтового стажа. При этом пенсию ей дали не персональную, которую она всей жизнью своей, преданностью партии и правительству заслужила, а обыкновенную, составившую с надбавками за выслугу лет 82 рубля 60 копеек. При таком доходе, прежде чем кусок мыла купить, подумаешь. Тем более что она не простое покупала, а туалетное, по тридцать копеек кусок. Правда, расходы на проверяльщиков наконец прекратились. Сталин не проваливался, жильцы призывали, перестали жаловаться, и Аглаю никто не трогал.

Освободившись от повседневных служебных обязанностей, она почувствовала себя совершенно неприкаянной, не знала, чем бы заняться. Не на лавочке же сидеть со старухами и слушать их жалобы на ревматизм и несварение желудка. Или изложения снов, рассказы о проделках внуков и рецепты засолки огурцов. Надумала взяться за английский язык и даже достала где-то самоучитель для начинающих, но неделю промучилась и сдалась. Да и зачем он ей нужен, этот английский, если бы даже и выучила?

Но однажды глянула на книжную полку — там собрание сочинений Сталина занимало у нее главное место, — взяла наугад шестой том, открыла его на работе «Об основах ленинизма» и поняла свою задачу на ближайшее будущее. Она будет учить эту работу наизусть. Изо дня в день. По одной странице. Сто двадцать страниц — это всего лишь четыре месяца работы.

К вечеру того же дня она устроила себе место для ежедневных занятий. Подтянула к ногам статуи медвежьей шкуру (вот пылищи-то было!), бросила туда же две подушки, общую тетрадь и самописку завода «Союз». Принесла из кабинета и поставила рядом настольную лампу, выпила рюмку водки, отхлебнула из кружки чаю и принялась за дело, начав с предисловия.

«Основы ленинизма, — прочла она сама себе вслух, — тема большая». И подумала: еще бы! Очень большая. «Для

того, чтобы ее исчерпать, — было написано далее, — необходима целая книга». — «Одной книги мало», — подумала Аглая и, к радости своей, полностью совпала в мыслях с автором. «Более того, необходим целый ряд книг», — было сказано у него. Ободренная, она стала читать громко, с выражением, любуясь собственным голосом, прокуренным, хрипловатым:

— «Изложить основы ленинизма — это еще не значит изложить основы мировоззрения Ленина»...

Она представила себе Сталина, не статую, а живого, которого она видела тогда в Колонном зале.

Вообразила, как он медленно ходит из угла в угол по комнате и, покуривая трубку, диктует раздумчиво, с легким грузинским акцентом:

— Мировоззрение Ленина и основы ленинизма — не одно и то же по объему. Ленин — марксист, и основой его мировоззрения является, конечно, марксизм. Но из этого вовсе не следует, что изложение ленинизма должно быть начато с изложения основ марксизма...

«Не следует», — согласилась Аглая и, закрыв глаза, решила повторить весь абзац. «Изложить основы мировоззрения — это значит»... Споткнулась. Это значит... Что значит? Не вспомнила, заглянула в книгу... Это не значит... Ах, это не значит! «Изложить основы ленинизма — это еще не значит изложить основы мировоззрения Ленина»...

В конце концов она это предложение запомнила, но, дойдя до конца абзаца, последние слова в памяти удержала, а первые забыла. Решила не сдаваться и каждый вечер, располагаясь у ног монумента, читала, повторяла, конспектировала, опять повторяла. Голова, не привыкшая к столь высокому напряжению, раскалывалась, но дело все-таки продвигалось. Правда, медленно. За две недели дошла до вопроса: «Итак, что такое ленинизм?» Три недели одолевала эту страницу, но что такое ленинизм, не поняла, да и автор вроде тоже не понял, потому что долгий разбор ленинских мыслей завершился тем же вопросом: «Что же такое в конце концов ленинизм?»

Тем временем в стране происходили, с точки зрения Аглаи, черт знает какие события: Лысый ездил в Америку, побывал в штате Айова. Посмотрел, как там буйно растет кукуруза, и решил, что недостатки колхозной системы можно компенсировать, если засеять пространство от Кушки до тундры этим волшебным злаком. Сказано — сделано, засадили всю страну кукурузой, не растет. Разделили партию на сельские и городские обкомы. Не растет. Преобразовали министерства в совнархозы, а кукуруза опять не растет, не хочет. Плюнули на кукурузу, приступили к реформе русского языка, в соответствии с которой зайца собирались называть «заец» и писать на бумаге «огурци» вместо «огурцы».

В шестьдесят втором году разразился карибский кризис. Лысый послал на Кубу корабли с ракетами, чтобы установить и направить их на Америку. Американцы сказали, что никогда этого не допустят. Отрядили к Кубе свои авианосцы и подводные лодки. Лысый не отступал, американский президент Кеннеди не сдавался. Два дня длилась война нервов. Расстояние между флотами двух супердержав сокращалось. Наиболее чувствительные американцы глотали нитроглицерин и выпрыгивали из окон высоких этажей. Советские люди, не имея достаточной информации, не беспокоились и в окна не лезли. Но некоторые, осведомленные, обеспокоились.

В те дни Марат написал Аглае, что над островом собираются тучи, синоптики предвещают тайфун, поэтому он отправил жену с ребенком на родину. Но поскольку тайфун может достичь и Москвы, то не лучше ли Зое и малолетнему Андрею Маратовичу навестить бабушку? Бабушка ответила, что, на ее взгляд, в обществе происходит дальнейшее разложение. В центральной печати появляется все больше псевдоисторических материалов о Сталине и его соратниках. В народе ходят мерзкие анекдоты, люди открыто слушают зарубежные радиостанции, пишут и распространяют антисоветские произведения. А партия чем дальше, тем больше засоряется чуждым

элементом, людьми, вступающими в нее только ради карьеры, использования своего положения в грязных целях. Пока письмо шло от Долгова до Гаваны, кризис благополучно разрешился, и в посещении внуком бабушки необходимость отпала.

В том же шестьдесят втором прошел слух о новочеркасском восстании, жестоко подавленном войсками с применением танков. У Аглаи к этому событию отношение было двойное. Она сочувствовала рабочим, выступившим против антинародного режима и против Лысого, но не сомневалась при этом, что такие восстания должны подавляться именно как антинародные и, самым суровым образом. Узнав, что зачинщиков восстания расстреляли, она возмущалась и тем, что расстреляли и что расстреляли мало.

Не успело заглохнуть это событие, как произошло еще одно, совсем уже неприятное и принятое ею к сердцу намного ближе, чем карибский кризис. В журнале «Новый мир», давно известном своим критиканством, была напечатана повесть никому не известного зека, которого сразу же объявили великим писателем. И герои в этой повести такие, каких в советской литературе еще не бывало. Не колхозники, не рабочие и не трудовая интеллигенция, а заключенные. И не те, что случайно сбились с пути и стали на путь исправления, а политические. Враги народа. И изображены как хорошие люди, которые ни за что пострадали. А воинов внутренних войск автор расписал в самом черном свете и назвал попками. И что хуже всего, читатели оказались настолько политически незрелыми, что кинулись на это сочинение, передавали из рук в руки, а при встречах друг с другом понижали голос, оглядывались и спрашивали: «А вы читали?»

Аглая прочла начало. Страниц шесть или семь. И сказала сама себе, что до этого журнала она больше никогда не дотронется. Но к сожалению, эта повесть оказалась не единственной подобного рода. То в том, то в другом журнале, толстом или тонком, или в газете появлялись повести, рассказы, стихи, статьи, фельетоны, авторы которых оплевывали советскую историю, а уж что они писали про Сталина, даже пересказать нель-

зя без отвращения. Ленина он обманул, ленинскую гвардию уничтожил, Кирова убил, интеллигенцию истребил, крестьянство разорил, армию обезглавил, к войне не подготовился, сам прятался в бункере и критики не терпел.

7

Потрясающее Аглаю сочинение неизвестного зека (который сразу стал очень известным) после «Нового мира» тут же вышло массовым тиражом в «Роман-газете», отдельным изданием в твердом переплете и еще одним — в мягкой обложке и распространилось по всей стране немедленно и тотально, словно гонконгский грипп. В Долгове тоже люди, забывши про все на свете, только об этой книге и говорили, спешили ее прочитать, а прочитав, выражали свои восторги в самых возвышенных выражениях. А кто не был в полном восторге, тот, по нашему мнению, был или глуп, или еще хуже — выполнял задание органов.

Первым обладателем повести оказался, конечно, Марк Семенович. Он привез журнал из Москвы, где получил его от самого автора, которого знал лично по ханты-мансийской тайге. Привезя журнал, Марк Семенович давал его читать разным людям, среди которых оказался и я. Что, правда, мне удалось с очень большим трудом. Шубкин сказал, что у него очередь, поэтому он даст мне журнал не больше чем на два часа.

— Вы что, смеетесь? — сказал я. — Разве можно прочесть целую повесть за столь короткое время?

— А в чем дело? — удивился Марк Семенович. — Здесь всего-то сто двадцать страниц. Разве вы не можете читать со скоростью одна страница в минуту? — Впрочем, тут же он спохватился: — Ах да, голубчик, я забыл. Вы ведь даже партитурным чтением не овладели.

В конце концов я у него выпросил журнал до следующего утра, а продержал до обеда, потому что радостью открытия счел нужным поделиться с Адмиралом. Тот как раз партитурным чтением владел. Адмирал попросил меня погулять, и, по-

ка я ходил в магазин, на почту и в домоуправление, он уже всё прочел. Повесть ему понравилась. «Неплохо», — сказал он, и это была очень высокая в его устах похвала. Для него «Анна Каренина», «Отцы и дети», «Братья Карамазовы», «Серапионовы братья» были написаны неплохо. Правда, существовала еще более высокая оценка — «недурно», но она относилась к «Войне и миру», «Мертвым душам», «Евгению Онегину», «Илиаде», «Божественной комедии» и это, кажется, всё. Собственно говоря, у него было всего четыре оценки для того, что можно читать: «недурно», «неплохо», «ничего», «так себе» и — пятая, для того, что читать не стоит ни при какой погоде, — «ниже сапога». К пятой категории относилась вся советская литература, кроме «Тихого Дона», большая часть современной западной литературы и Габриэль Гарсия Маркес. Обычно я оценки Адмирала принимал с иронией, но тут мне было не до шуток. Глупым я его не считал, а в связи с органами тоже подозревать его не хотелось. Я стал с ним спорить, что повесть написана недурно. А он говорит — неплохо. А я говорю — недурно. А он — неплохо. А я говорю: а я с вашим мнением не согласен. А он говорит: вы не можете быть с моим мнением согласны или не согласны, потому что у вас никакого своего мнения нет. А что же у меня есть? У вас есть представление о том, что в соответствии с настроениями определенного круга людей в определенное время надо иметь о таком-то предмете такое-то мнение. И вы в вашем кругу, выработав представление, которое считаете своим мнением, устраиваете террор против несогласных. И если я говорю, что я думаю о предмете то-то и то-то, но не то, что по вашему мнению и мнению вашего круга я о нем должен думать, вы не можете даже себе представить, что это мое собственное честное мнение, вам легче вообразить, что я говорю это из каких-то комплексов или, еще хуже, с чужого голоса, кому-то в угоду, или... — он посмотрел на меня пристально, — или даже по чьему-то заданию. Вы ведь так думаете, правда?

Подозревать Адмирала в подобных вещах я, конечно же, не посмел и выслушал от него, что я и такие, как я, от главного

ЕПЭНЭМЭ отрешились, но в душе все равно остались епэнэмистами. И пытаемся каждый частный случай объяснить единственно правильно и научно, не допуская иных толкований.

Кажется, я Адмирала таким возбужденным еще не видел.

— Что ж, — сказал я ему, — я вижу, для вас вообще никто не авторитет.

— Совершенно верно, для меня никто не авторитет.

— Ну как же, — растерялся я. — Я не понимаю. Ведь должен быть кто-то, чьему мнению вы можете доверять.

— А я не понимаю, почему я должен кому-то доверять больше, чем самому себе. Что же касается вашего кумира, то я вас уверяю, пройдет немного времени, вы к нему охладаете и найдете себе другого.

— Никогда в жизни, — сказал я.

Адмирал предложил пари, я его принял.

— Условия, — сказал Адмирал, — запишем на бумаге, а то вы потом отопретесь.

Я согласился и сочинил нечто вроде расписки, что я, имярек, утверждаю, что писатель такой-то относится к числу величайших писателей всех времен и народов, это мое твердое мнение вряд ли будет когда-нибудь изменено.

Мне очень неприятно в этом признаваться, но прошло лет, может быть, пятнадцать или двадцать, я мимоходом зашел проведать Адмирала, к тому времени уже постаревшего, и застал его за чтением какой-то книги. Я спросил: «А что вы это читаете?» — «Не читаю, а перечитываю», — ответил он и показал мне обложку. Я сказал: «Охота вам тратить время на всякую чепуху». Он взглянул на меня не без иронии: «А вы что, плохо относитесь к автору?» — «Да я к нему никак не отношусь», — пожал я плечами. И тогда Адмирал — вот злопаятный человек! — попросил подвинуть к нему стоявшую на другом конце стола старинную рассохшуюся шкатулку, со злорадной усмешкой открыл ее, достал какую-то бумагу и протянул мне, спросив: «Вам знаком этот почерк?»

Кровь, как говорится, ударила мне в лицо. Я не мог себе представить, что память моя сыграет со мной такую злую

шутку. Я совершенно забыл, что именно этого писателя искренне обожал и ставил в самый высокий ряд мировых классиков.

Пожалуй, это одно из самых для меня неприятных признаний, но, будучи человеком исключительно честным, я не могу его не сделать. Тем более что из этого я извлек некое умозаключение. Что, произведя живого человека в кумиры, мы только таким его признаем. А как только усомнились в его божественных качествах, то сразу свергаем его в пропасть, уже даже и действительных достоинств в нем не замечая.

Уходя от Адмирала в большом смущении, я ему сказал: ну да, конечно, я тогда в определенных обстоятельствах, может быть, преувеличил, стыжусь, но вы-то зачем сейчас это читаете?

— Ну, — сказал Адмирал с кроткой улыбкой, — я это читаю, потому что это написано местами очень даже неплохо.

8

Если мнение Адмирала, я по крайней мере задним числом признаю, было честным и непредвзятым, то не могу того же сказать о Шубкине. Сначала он распространял сочинение своего бывшего соллагерника направо и налево, сам расхваливал его до небес, а потом сам же и позавидовал. Приревновал его к успеху и стал говорить, что сам-то он видел еще не такое и описать мог бы не хуже. Только времени не хватает. И даже нашел в повести несколько недостатков, говорил, что лагерная жизнь изображена в ней односторонне. Автор показывает лагерь так, как будто там сидели только так называемые простые люди. Он не заметил настоящих интеллигентов, людей высоких устремлений, идейных борцов, которые, несмотря ни на что, сохранили верность своим убеждениям и идеалам.

К тому времени в нашей среде уже сложилось определенное мнение, что Шубкин — человек хороший, общественно активный, одаренный, может написать неплохой рассказ,

очерк, стихотворение, письмо в ЦК КПСС, но вряд ли способен на большую литературную работу. И вдруг однажды встречаю я Шубкина в парикмахерской, где он подправлял края своей лысины за ушами. Он спросил меня: «Что вы сегодня вечером делаете?» — «А что?» — «Ничего, но, если вам нечего делать, заходите часиков в семь». Я спросил: а зачем, а он загадочно: придете — узнаете. Я, конечно, пришел. А там уже куча народу. Его воспитанники Влад Распадов, Света Журкина, Алеша Коновалов, еще кто-то, я уж не помню. Стульев не хватило, тем более что их было всего два. Мы расселись кто на кровати, кто на полу, кто на подоконнике. Сам Шубкин устроился в продавленном кресле под торшером с соломенным абажуром. Антонина разнесла гостям чай. Кому в стакане, кому в чайной чашке, кому в пол-литровой банке. Мне досталась банка из-под майонеза. Сам Шубкин пил не чай, а кефир, отхлебывал его прямо из широкого горлышка молочной бутылки. Отхлебывал и ставил бутылку прямо на пол к левой ноге. На журнальном столике на блюде лежала гора пирожков с повидлом, которую мы быстро превратили в пустыню.

Итак, хозяин сидел в кресле, держа в руках светло-коричневую картонную папку с надписью большими буквами «К докладу», с жирным кругом от сковородки и с шелковыми, сильно захватанными тесемками.

На него это было не похоже, но он явно волновался, нервничал, и все его раздражало. Трепещущими пальцами он развязал тесемки, достал первый лист, поправил на носу очки и начал читать:

— «Видели ли вы, как падает подрезанная под корень мачтовая сосна?..»

Я подумал, что это подражание Гоголю и дальше следует: «Нет, вы не видели, как падает подрезанная под корень мачтовая сосна...»

Тут в дверь вошла черная кошка Шурочки-дурочки, пересекла комнату, прыгнула ко мне на колени. Я ее погладил, чтобы притихла, но она стала мурлыкать. Шубкин прекратил

чтение и уставился на меня с молчаливым упреком так, будто это я мурлыкал. Я смутился и вышвырнул кошку в коридор.

— «Видели ли вы, как падает...» — начал опять Шубкин, но кошка стала царапаться в дверь.

Распадов вышел в коридор и топнул на кошку ногой.

— «Видели ли вы...» — прочел снова Шубкин, но тут в комнату влетела оса и стала жужжать, тычась в стекло. Гнали ее всем миром в форточку, она никак не могла понять наших намерений, с тупым усердием билась в стекло, пока Антонина не пришибла ее полотенцем. Форточку на всякий случай закрыли, все замерли и сидели тихо, не шевелясь, чтобы ни стул, ни кровать не закрипели, но только Шубкин открыл рот, как за стеной раздалось отчетливо:

— «Мировоззрение Ленина и основы ленинизма — не одно и то же по объему. Ленин — марксист, и основой его мировоззрения является, конечно, марксизм. Но из этого вовсе не следует, что изложение ленинизма должно быть начато с изложения основ марксизма...»

— О, господи! — Антонина всплеснула руками, а остальные засмеялись. Распадов при этом заметил:

— У нас, насколько я понимаю, сходные темы.

А Света Журкина не поняла и, кивнув на стену, спросила, кому и что соседка читает.

— Это сталинская работа «Основы ленинизма», — узнал Шубкин.

— А кому она это читает?

— Сталину, — сказал Распадов.

И опять все засмеялись.

— «Мировоззрение Ленина...» — повторила за стеной Аглая.

— Ладно, — тихо сказал Шубкин. — Я продолжу, а вы не обращайтесь внимания.

— «Видели ли вы, как падает подрезанная под корень мачтовая сосна?..»

Дальше пошел не Гоголь, а что-то другое: «Сосна падает прямо и не сгибаясь, как сраженный вражеской пулей гварде-

ец». Образ, конечно, вычурный и не точный. Что за гвардеец? Из чьей гвардии? В какой ситуации он сражен и почему падает, не сгибаясь? Я никогда не видел сраженных гвардейцев, но почему-то мне кажется, что, сраженные пулей, они падают по-разному, как и прочие люди.

Впрочем, я даже мысленно придираюсь не стал, тем более что повествование постепенно меня захватило. Шубкин исполнял свою задачу художественно. Интонационно подчеркивал определенные фразы или слова. Диалоги читал на разные голоса, то басил, то поднимался к фальцету, каким-то образом изображал даже скрип снега, звук бензопилы «Дружба» и треск падающего дерева.

Первая глава, как потом объяснил сам автор, была камертоном ко всему произведению. Речь шла о бригаде заключенных на лесоповале. Это была лучшая бригада в данной лагерной области. Возглавлял ее Алексей Константинович Наваров, большевик, герой революции и Гражданской войны, случайно избежавший расстрела. Будучи вообще-то уже очень опытным лесорубом, Наваров совершил ошибку и был задавлен спиленной им же сосной. Надо сказать, что Шубкин описал довольно ярко красавицу сосну, как ее подпиливали под корень, а она стояла, не шелохнувшись. Уже весь ее ствол насквозь пропилили, а она еще стояла. И тогда Наваров подсек ее топором. Она стала поворачиваться вокруг собственной оси, и крона ее на фоне чистого неба кружилась, словно в каком-то убыстряющемся танце, и вот все дерево стало крениться в кружении и рухнуло наконец, с оглушительным треском ломая ветви сосен, стоявших рядом, и подминая под себя кусты. Работавшие рядом зеки не сразу услышали слабый стон, а когда подбежали, увидели, что под сосной лежит задавленный ею большевик Наваров. Он лежал, вдавленный в снег, с сосной на груди, она была огромная, ни сдвинуть ее, ни вытащить из-под нее задавленного было невозможно, а резать сосну на части — долго. Герой повествования, вроде бы сам Шубкин (рассказ шел от первого лица), подбежал к задавленному, когда тот был еще жив. «Он, — понизив голос, читал Шубкин, — лежал с запро-

кинутой головой. Из угла его рта шли и лопались кровавые пузыри, кровь текла из носа и правого уха, я приблизился к нему, думая, что он без сознания, и уже хотел отойти, как вдруг заметил, что один глаз у него открылся и смотрит на меня, а губы шевелятся, шепча что-то, очевидно, очень важное для него. Преодолевая страх, я приблизил ухо к его губам и услышал слова, поразившие меня на всю жизнь.

— Читайте Ленина, — прохрипел Наваров. — Всегда читайте Ильича. Читайте его, когда вам будет легко, читайте, когда будет трудно, когда заболите, когда будете умирать, читайте Ленина, и вы все поймете, все преодолеете. Читайте Ле...»

Не буду подробно описывать, как мы все, первые слушатели «Лесоповала», были потрясены этой сценой и с каким интересом следили дальше за историей человека, который, пройдя через ад сталинских лагерей, не утратил веры в «светлые идеалы». Эта вера помогла ему пройти через нечеловеческие испытания, и он вышел на волю таким же непоколебленным, преданным этим идеалам, каким когда-то ее покидал.

Разумеется, я к тому времени был уже весьма испорченным человеком. Разговоры о светлых идеалах меня раздражали, но в данном случае... Хотя в романе речь шла о коммунисте-ленинце, но все-таки там описывались сталинские лагеря, следственные изоляторы, пересылки, карцеры, следователи, конвоиры, оперуполномоченные, сторожевые собаки... Короче говоря, время для подобных сочинений еще не наступило, и не видно было, что скоро наступит. Для романа еще не наступило, а для статьи 70-й уголовного кодекса (антисоветская агитация и пропаганда — от трех до семи лет лагерей) оно еще не прошло. Так что это был не просто, как говорится, творческий подвиг, но и проявление гражданского мужества. Причем ведь автор уже и так нахлебался всего этого по горло. Подобная ситуация, конечно, влияла на восприятие всего произведения, и я им был покорен. И хотя, конечно, у меня были некоторые сомнения, я шубкинский «Лесоповал» потащил к Адмиралу на его лесосклад.

— Ну что? — прибежал я к нему на другое утро. — Что вы об этом скажете? Недурно, а?

Адмирал надел очки и долго глядел на меня поверх стекла (если смотреть поверх, то зачем было надевать?).

— Вы хотите сказать: неплохо? — смутился я.

— Нет, — ответил мне Адмирал. — Пожалуй, могу сказать про вашего Шубкина, что как писатель он слаб, как мыслитель он глуп, а в остальном я перед ним преклоняюсь.

9

Говорит Би-би-си. Западные корреспонденты передают из Москвы, что Никита Хрущев смещен с поста первого секретаря и выведен из состава Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Со...»

И дальше загалдели, завыли давно не включавшиеся глушилки.

Аглая оторвала голову от подушки и стала думать, прикинулся ей этот текст или в самом деле был произнесен? Западные корреспонденты передают... Опомнившись, она кинулась к телевизору.

Было еще раннее утро, но по первому каналу уже показывали детский мультипликационный фильм «Девочка и медведь», а второй канал пока не работал. У Аглаи был старый репродуктор в виде тарелки, она включила его и целый час подряд слушала передачи: «На зарядку становись!», «Для тружеников села», «Пионерская зорька», «В гостях у композитора Туликова». В конце концов дождалась новостей, но в них ничего, кроме полета трех космонавтов, битвы за урожай, задутия где-то домны и спуска на воду нового дизель-электрохода. Имея большой опыт потребления советской прессы, она и из неслышанного извлекла определенную информацию. Дикторы о Хрущеве не сказали ни слова, но само это полное упоминание столь обязательно упоминаемой личности было признаком того, что Би-би-си бросает слова на ветер не зря.

Одевшись поприличней, она вышла из своей квартиры и постучалась к Шубкину. Тот вышел к ней желтый, небритый, во фланелевой пижаме.

— Вы? — удивился он, увидев Аглаю. — Ко мне?

— К вам, — сказала Аглая.

— Заходите, — он посторонился, прикрывая подбородок и ежась, и сказал: — Только прошу не кусаться, я заразный, у меня грипп.

— Не бойтесь, — смиренно сказала Аглая, — я только спросить хотела. Это вот ваше... — она хотела и спросить и выразить презрение к предмету, которым интересовалась, — Би-би-си ваше... оно правду говорит?

— Врет! — радостно оживился больной. — Они всегда врут, но все, что они врут, в жизни как раз случается.

Ничего не ответив соседу, Аглая вернулась к себе, и тут ее охватил такой бурный восторг, что, поддавшись ему, она кинулась к своему железному кумиру, обнимала его, целовала, нос об него ушибла, смеялась, плакала, выкрикивала бес-связно:

— Прогнали, прогнали Лысого. Коленом под жопу. Как собаку, прогнали. — Она прыгала, дразнила невидимого своего врага, кривила губы и высовывала язык, приговаривая: — Наш любимый... дорогой... дорогой очень... драгоценный... ку-курузник, совнархозник, навозник...

А вечером к ней явился без спроса и зова Диваныч. В парадной полковничьей форме, немного подчищенной, подштопанной (и все пуговицы на месте), сверкая металлом зубов, орденов и медалей. Пришел не с пустыми руками — с алой гвоздикой и двумя бутылками молдавского коньяка по четыре рубля двенадцать копеек.

— Позвольте мне, Агластепна, — сказал Диваныч с неожиданной для него церемонностью, — по случаю знаменательного события расцеловать вас по-братски и, как грится, по-фронтвому.

И после такого предисловия он поцеловал Аглаю в левую щеку и в правую, а потом, как вампир, впился в губы и даже

попытался употребить язык в качестве физического намека, но она его оттолкнула довольно резко.

— Ты что? — спросила она сердито.

— А что, нельзя? — простодушно спросил Кашляев.

— Незачем, — сказала она. — Я пенсионерка, меня на базаре уже бабушкой зовут.

— А я дедушка, — сказал Диваныч. — Мне дочка внучку нагуляла.

— Тем более, — сказала Аглая. — Дедушка, а руки распускаешь.

— В умеренных пределах, — сказал Диваныч. — Я человек военный. Если гряд можно, я, грубо гряд, продвигаюсь вперед, если гряд нужно, поднимаюсь в атаку, а если нельзя, отступаю, но никогда не сдаюсь.

Все-таки ей было лестно. После Шалейко за ней никто не ухаживал.

По случаю праздника, который Аглая пожелала отметить «вместе с Ним», она накрыла скатертью стол в «Его» комнате. Первую рюмку за него и выпили. Он светился неуловимо и благодушно.

— Я себя чувствую, как 9 мая 45-го, — сказала Аглая.

— А я, признаться, уже не верил, что такое случится.

— И напрасно не верил, — сказала Аглая. — Сталин учил нас, что веру терять нельзя никогда. Помнишь его притчу об этих... которые... ну, на лодке. Буря, одни испугались, ручки сложили, и всё, их волной накрыло, и — прощай, мама. А другие не сдаются, гребут, гребут, — она стала раскачиваться на стуле, изображая нечто подобное гребле, — гребут навстречу волне и ветру, не теряют уверенности и... Слушай, — перебила сама себя, — а как ты думаешь, что теперь с Лысым сделают?

— Посадят, я думаю, — сказал Диваныч откусывая у шпрота головку.

— А я думаю, расстреляют, — мечтательно сказала Аглая.

— Ну нет, — возразил управдом, — сейчас не те времена. Сейчас все-таки восстановление ленинских норм и социалистической законности.

— Да что ты, полковник, ты что? Какая социалистическая законность? Вот когда Лысого расстреляют, тогда и будет социалистическая. А то, что у них было, гниль одна, а не законность. До чего страну довели. Вон этот, — кивнула в сторону стены, за которой жил Шубкин, — пишет. что хочет. О лагерях пишет. Сейчас все пишут о лагерях. Как будто других тем нет. Всех распустили. Люди иностранное радио слушают, антисоветские анекдоты рассказывают, партийные люди детей в церквях крестят и никого не боятся. Нет, я бы Лысого на Красной площади перед всем народом... И не расстреляла бы, а повесила.

— Ну, весь народ на Красной не поместится, — заметил Диваныч. — Хотя набегут в достатке и еще друг дружку потопчут. Но на площади все не поместятся.

— А тем, кто не поместится, по телевизору показать во всех подробностях. Видел, как это выглядит?

— Не, — сказал Кашляев, — Бог, грубо гря, миловал. Много чего видел, а такого нет.

Он добавил коньяку себе и ей, положил на хлеб два кружка колбасы.

— Ну и зря. Мы, когда отбили Долгов у немцев, там на площади перед райкомом повесили городского голову, начальника полиции и проститутку за то, что спала с немцами. Так, поверишь, проститутка держалась до конца и партизану, который вешал, в морду плюнула. Городской голова трясся от страха и крестился, но ни о чем не просил. А полицейай, даже вспомнить противно, ползал на коленях, простите, говорит, пощадите. А я говорю: а ты, гад, щадил наших ребят? И вот когда эту троицу вешали, некоторые слабонервные в обморок падали, а я смотрела.

— Интересно было? — осторожно спросил Диваныч.

— Очень! Знаешь, когда человека вешают, он сначала весь задрожит, задрожит, ну в конвульсиях вроде, а потом глаза выпучит, язык весь наружу и...

— Ой, ой, ой, не надо, не надо! — заткнул уши управдом.

— Почему же не надо? — удивилась Аглая. — Ты же военный человек. Фронтвик.

— Фронтовик, — подтвердил гордо Кашляев. — Всю войну, грубо гря, от Бреста до этого и обратно. Но я, Агластепна, извиняюсь чистосердечно, хотя фронтовик, я в жизни еще никого... ну не... ну не повесил, вот. — Вид у него был при этом печальный и виноватый, как будто сам понимал всю меру своей очевидной неполноценности.

— Потому что ты в регулярных частях служил, а я в партизанах. А в партизанах ты и командир, и мать, и отец, и военный трибунал. Мы сами ловили, сами приговаривали, сами приводили в исполнение. — Она отхлебнула из рюмки, закусила кружком колбасы. — Думаешь, легко было? Думаешь, я не человек?

— Что вы, Агластепна! — перепугался Диваныч. — Ну вы-то, ну что вы! Несмотря что вы человек дамского, грубо гря, рода, я полагаю, всем нам у вас надо учиться высоким партийным качествам и отваге.

— Вот и учись, — сказала Агляя. — Я женщина, мать, у меня сын по дипломатической линии... Но когда передо мной враг, я к нему никакой, петлю на шею...

— Агластепна, милая, — замахал руками полковник, — хватит! Не надо, меня стошнит.

— Черт с тобой, — махнула рукой Агляя. Ей уже в голову ударило, и пришло благодушное настроение. — Не хочешь слушать, давай споем что-нибудь.

— Это другое дело, — сказал управдом. Он приосанился, одернул пиджак, дотронулся до своего кадыка, покашлял и начал вполголоса: — «Дан приказ ему на запад...» — но был остановлен.

— Зачем это старье? — сказала Агляя. — Давай лучше это. — И — с широким и плавным взмахом правой руки слева направо и вверх — затянула хриплым прокуренным голосом:

*На просторах родины чудесной,
Закаляясь в битвах и в труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде...*

Левой рукой она дала Кашляеву знак подключиться, и тот, снова откашлявшись, подхватил:

— Ста-лин — на-ша сла-ва боева-я...

— Сталин — нашей юности полет, — перекричала она.

— С песнями борясь и побеждая, — их голоса слились в один, — наш народ за Сталиным идет.

Тоже, наверное, нынешнему читателю трудно представить, что в те времена такие песни люди пели не на сцене и не в строю, а для себя лично и находили в том удовольствие.

В двенадцать ночи в дверь постучали. Аглая открыла. На пороге стояла Ида Самойловна Бауман в застиранном фланелевом халате, с папильотками из газетной бумаги в непросохших еще волосах.

— Извините за беспокойство, — сказала она, — но вы не могли бы чуть потише? У меня мама нездорова и никак не может заснуть.

— Захочет — заснет, — сказала Аглая. — Мы на фронте под артиллерийским огнем спали и под бомбежкой.

И захлопнула дверь.

— Кто там был? — спросил Диваныч.

— Никто, — сказала Аглая. — Давай вот эту. — И начала, раскачиваясь из стороны в сторону:

От края до края, по горным вершинам...

В дверь опять постучали. Аглая думала, что снова пришла соседка, недовольно открыла и увидела перед собой Георгия Жукова с аккордеоном на шее и двумя бутылками водки в руках.

— Ты что? — спросила она удивленно.

— А вы чего празднуете? — спросил он.

— А тебе не все равно?

— Мне все равно, но у меня тоже повод есть. Сын родился, а выпить не с кем. Четыре с половиной кило. Вот такой! — Он развел руки с бутылками, показывая приблизительный рост своего потомка, и потом, чем больше пил,

тем шире раздвигал руки, как рыбак, изображающий пойманного сома.

— Заходи, — разрешила Агляя.

10

Тем временем у Ревекки Моисеевны развивался очередной приступ стенокардии. Дочь накапала ей тройную дозу валокордина и теперь сидела рядом с ней на кровати, не зная, что делать. Телефона у них, разумеется, не было, а бежать за «скорой помощью» далеко и бесполезно. Прошлый раз ее спросили: «Сколько вашей маме лет? Восемьдесят два? Мы к таким старым не ездим».

Э Ида Самойловна держала мать за руку. Приступ, кажется, прошел, валокордин подействовал, старуха стала засыпать. Но только она стала засыпать, как за стеной опять раздалась песня, теперь уже в сопровождении аккордеона и гораздо громче, чем прежде. Опять начали «На просторах родины чудесной», потом без остановки затянули «От края до края, по горным вершинам, где горный орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом, прекрасные песни слагает народ».

Ида Самойловна взяла старую туфлю и постучала каблучком в стену.

В это же время Марк Семенович Шубкин сидел за пишущей машинкой и писал очередное послание в Центральный Комитет КПСС. Прежде всего он поздравил товарищей Брежнева и Косыгина в связи с избранием их на высокие посты Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров СССР, написал, что целиком одобряет мужественное и своевременное решение партии, направленное на недопущение нового культа личности теперь уже не Сталина, а Хрущева. Осудил волюнтаристские решения Хрущева во внутренней и внешней политике, но в то же время выражал надежду, что партия не допустит возвращения к сталинизму, не оправдает сталинских злодеяний и полностью отменит цензуру.

Его машинка стучала громко, но сейчас ее стук не был слышен, потому что музыка и пение звучали еще громче.

В третьем часу ночи Ида Самойловна, накинув поверх халата пальто, побежала в милицию. Там как раз находился участковый капитан Анатолий Сергеевич Сараев, до недавнего времени тоже живший в доме номер 1-а по Комсомольскому тупику, переселенный в порядке улучшения жилищных условий в новостройку. Нахождение Сараева в столь позднее время в отделении объяснялось тем, что они вместе с дежурным старшим лейтенантом Жихаревым отмечали день рождения последнего. По случаю чего, сидя за стеклянной перегородкой, наливали из алюминиевого чайника в кружки того же металла конфискованный самогон и пили его, закусывая хлебом, ливерной колбасой и луком, нарезанным толстыми кружками. Говорили о разных насущных вещах, как то: есть ли жизнь на других планетах, чем отличается зебра от лошади и скоро ли будет введена для милиции новая форма одежды.

Ночь была относительно спокойной. В камерах предварительного заключения находились только трое задержанных: мужик, по пьянке забивший свою жену граблями, и двое стилиг из приехавших на уборку урожая студентов. Его арестовали за то, что отрастил слишком длинные волосы, а ее — за то, что пришла на танцы мало того что в джинсах, так еще с изображением американского флага на заднице. Мужик по водворении в камеру забрался на нары и впал немедленно в спячку, студентка поплакала и тоже заснула, а студент стучал в дверь, бузил и качал права, требуя, чтобы его немедленно отпустили.

— Утром пострижем обоих наголо и отпустим. — пообещал Жихарев.

— Не имеете права! — кричал из-за двери студент. — В каком законе написано про длину волос? В Конституции? В Уголовном кодексе? В программе КПСС?

— Не ори, а то отмудохаем, — сказал Сараев добродушно.

— Что?! — закричал студент. — Не имеете права! Только попробуйте! Я на вас в суд подам!

— Подожди, — сказал Жихарев Сараеву и вошел в камеру, из которой тут же послышались крики:

— Что ты делаешь? Бандит! Фашист! Гестаповец! Я буду жа...

На этом крики прекратились, и Жихарев вернулся к столу, слизывая кровь с кулака.

— Об очки поцарапал, — объяснил он Сараеву. И пожаловался: — И что за люди! Сами спокойно не живут и других нервируют.

Он налил себе и своему другу по очередной порции. Выпили, закусили, поговорили о женах и о тещах, о преимуществах ижевских мотоциклов перед ковровскими, и, разумеется, главное политическое событие без внимания оставлено не было.

— Хрущева поперли, — сказал Жихарев.

— Поперли, — согласился Сараев, после чего оба долго молчали и думали, не зная, что сказать.

— Да-а, поперли, — наконец повторил Жихарев.

— Да, — согласился Сараев.

И опять долго молчали.

— Теперь, — предположил Жихарев, — Сталин с ними со всеми разберется по-свойски.

— Как же он разберется, когда мертвый? — усомнился Сараев.

— В том-то и дело, что не мертвый, — сказал Жихарев.

— В каком отношении? — спросил Сараев.

— В отношении того, что не мертвый, а живой, — сказал Жихарев и поведал коллеге со слов своего шурина, который в Кремле работал официантом, что Сталин в 53-м году не умер, а сделал вид, что умер. А сам скрылся из виду, сбрил усы, надел на себя лохмотья и, как раньше сделал Александр I, ходит по России, собирает милостыню, а сам смотрит, как народ живет и продолжается ли строительство коммунизма.

— Параша! — оценил сказанное Сараев, и в это время перед ним возникла его бывшая соседка Ида Самойловна с жалобой на Аглаю Степановну Ревкину и ее шумных гостей.

— Толя, — сказала Сараеву Ида Самойловна. — Я вас очень прошу, пожалуйста. Вы ведь знаете мою маму. Вы знаете, как она больна. А эти люди среди ночи орут во все горло.

Сараев вытер рот рукавом, посмотрел на часы и пообещал, что придет, разберется.

— Скоро придете? — спросила Ида Самойловна.

— Скоро, скоро, — нетерпеливо ответил участковый и, как только она ушла, высказал Жихареву свое мнение, что его сообщение есть, как говорится, художественный свист, о чем Сараев может лично свидетельствовать. Будучи в марте 53-го года курсантом школы милиции, был он направлен в Москву и лично находился в оцеплении на Пушкинской улице у выхода из станции «Охотный ряд» метрополитена имени Лазаря Кагановича, а ночью им, милиционерам, разрешили подойти к гробу.

— И я его мертвого видел вот так, как тебя.

— Как это, как меня? — попытался обидеться Жихарев. — Я ведь не мертвый.

— Не в том, что мертвый, а что рядом я с ним стоял. Метр от него или даже полметра. Вот я здесь стою, а он здесь лежит. — Сараев даже откинулся назад, чтобы изобразить лежащего покойника, но, будучи не совсем трезвым, потерял равновесие и упал бы, да Жихарев вовремя подхватил. — Так вот, — продолжил Сараев, поставив спину вертикально, — лицо его, как твое, видел. И был он совсем мертвый. Не дышал, не моргал, но подмазанный и цвет, как у живого, а сам чистый мертвяк.

— Я не спорю, что мертвяк. Только мертвяк не Сталин, а Народный артист Геловани. Его поклали вместо.

— Живого? — в ужасе спросил Сараев.

— Зачем живого? — пожал плечами Жихарев. — Скажешь тоже — живого. Звери, что ли, живого в гроб? Усыпили и поклали.

— Ну ежели усыпили, это ништо. За деньги небось?

— За большие, — сказал уверенно Жихарев. — Он же народный артист всего СССР. Им знаешь скоко плотют?

— Скоко? — спросил Сараев.

— Много, — сказал Жихарев и вздохнул.

Сараев, наклонив чайник, добавил самогону себе и товарищу. Молча чокнулись, выпили, крикнули, закусили.

— Ну хорошо, — сказал Сараев, крепко подумав, — этого поклади в гроб. А Сталин куды ж подевался?

— Ну, я ж тебе говорю! Ушел. Никому ничего не сказал. Одному только Молотову оставил записку.

Ни одному слову Жихарева капитан Сараев не поверил, но спорить дальше не стал, тем более что выпито было все и время было довольно позднее. Однако по дороге домой он вспомнил, что недавно задержал на вокзале одного нищего старика, которого хотел доставить в милицию, но тот откупился, дав четвертной. Что Сараева нисколько не удивило, он давно знал, что нищие в массе своей люди богатые. Теперь, вспомнив про нищего, он вспомнил и то, что в облике нищего было что-то необычайное, что он ему кого-то напоминал, и теперь он подумал, что нищий напоминал ему... Однако все это глупость, сказал Сараев себе самому, глупость, и ничего более, и в это время как раз услышал из открытого окна громкое пение.

11

Света в подъезде, как всегда, не было, но наверху где-то что-то мерцало. Это горела свеча, которую держала вышедшая на площадку в халате и тапочках Ида Бауман.

— Ой, наконец-то! Спасибо, что пришли, — сказала она растроганно. — А то ведь это прямо невозможно. У мамы приступ, а они вон что вытворяют. Ну хорошо, до одиннадцати это разрешено. До двенадцати мы терпели. Но в конце концов, сколько же можно!

Понимая, что ссылка на врачей, законы и позднее время может оказаться недостаточным аргументом, Ида Самойловна сунула милиционеру трешку, которую он на ощупь принял за пятерку и тут же сунул в карман. После чего решительно постучал в дверь Аглаиной квартиры. Сперва деликатно, кос-

тяжкой среднего пальца. Потом кулаком. Потом рукоятью револьвера. Никто не отозвался, и он вошел сам.

Застолье было в самом разгаре. Разогнав руками папиросный дым, участковый разглядел наконец сидевшую к нему в профиль хозяйку в темно-синем жакете и ее гостей Диваныча и Георгия Жукова. За ними в папиросном дыму, упираясь правой рукой в потолок, стоял чугунный генералиссимус.

Диваныч, с лицом потным и красным от напряжения, был в зеленой форменной рубашке с подтяжками. Полковничий пиджак его висел на спинке стула. Жуков, слегка откинувшись на табуретке и жмурясь, растягивал аккордеон. Аглая дирижировала. Она делала это вдохновенно, чувствуя, что, может быть, никогда не была так счастлива, как сегодня.

Если на празднике с нами встречаются...

И тут как раз появился Сараев. Певцы пропели следующую строчку про «нескольких старых друзей» и, смолкнув, повернулись к Сараеву. А Сараев смотрел на них и на стоявшего за ними чугунного человека. Под чугунным взглядом Сараев как-то сник и не решительно, как собирался вначале, а весьма робко обратился к Аглае:

— Я извиняюсь...

Но Диваныч показал ему пальцем, чтоб помолчал, и вернулся к недопетому куплету:

— ...несколько старых друзей...

— ...Все, что нам дорого, припоминается, — подхватила Аглая, — песня звучит веселей...

— Я извиняюсь, Аглая Степановна, — повторил капитан, — но придется ваше веселье прервать...

Аккордеон последний раз жалобно взвизгнул, Жуков сдвинул меха и полез в боковой карман за носовым платком. Диваныч молчал и смотрел на капитана внимательно, а Аглая достала новую папиросу, помяла ее в пальцах, постучала мундштуком по крышке стола и закурила, чувствуя, что сейчас настроение будет испорчено.

— Я извиняюсь, — в третий раз тихо сказал Сараев, — но после двадцати трех часов не положено.

— Не положено? — переспросила Аглая.

— Не положено, — повторил Сараев.

— А если у людей событие? Если у человека, грубо говоря, ребенок родился? — спросил Диваныч. — И тогда тоже нельзя?

— У кого ребенок? — спросил милиционер.

— Ну, у меня, — признался Жуков. — Четыре с половиной кило. Вот такой, — показал он, прибавив к предыдущему измерению не меньше вершка. — Орет, как паровоз.

— Как паровоз? — переспросил Диваныч. — И после двадцати трех орет? Арестовать и посадить на пятнадцать суток. Правильно, капитан?

— А он там орать еще больше будет, — сказала Аглая. Даже она была склонна сегодня к шуткам.

— Ну, в общем я вас предупредил, — сказал участковый со всей суровостью, на какую оказался способен. — А дальше сами смотрите. Будете нарушать... я лично... мне это совсем ни к чему... но придется... извиняюсь... к административной ответственности...

Диваныч вдруг взбеленился:

— К административной? Кого? Ее? — ткнул пальцем в Аглаю. — Нашу героиню? Нашу легендарную? Или его? Он воин, танкист, в Венгрии с контрреволюцией воевал. Или меня, полковника, ветерана двух войн? Заслуженного, как грится, этого... Или его?

Диваныч протянул руку в сторону Сталина и, сам своей же дерзости испугавшись, перешел вдруг на шепот:

— Вот что, дорогой друг, ты это брось. Садись с нами, отметим. Поскольку произошли такие события. С одной стороны, человек родился, а с другой стороны, это, как грится, вот... Ты меня понял, капитан?

— Так точно, товарищ полковник, — согласился Сараев.

— Ну вот и садись. Если хозяйка не против...

Хозяйка была не против и для начала предложила участковому выпить за здоровье товарища Сталина. И хотя капитан

усомнился, можно ли пить за здоровье умершего, но рассудил про себя, что если подносят, то можно. И вообще, мертвых людей можно считать здоровыми, потому что они ничем никогда не болеют.

12

— Ну вот видишь, — сказала Ида Бауман своей престарелой матери. — Все хорошо. Милиционер пришел и поставил этих нахалов на место.

Она накапала в стакан сорок капель валокордина, поправила подушку, положила старухе в ноги грелку, подоткнула со всех сторон одеяло, сама пошла к себе на кушетку, и в это время за стенкой опять грянула песня про артиллеристов, громкая, как канонада.

Ида Самойловна не выдержала и, накинув опять халат, побежала, ворвалась к соседке без стука, когда все четверо пели самозабвенно:

*Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовут отчизна нас...*

Ида Самойловна застыла в проеме двери, глядя на поющих с выразительной укоризной.

*И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу родину —
Огонь! Огонь!*

— Как вам не стыдно! — сказала Ида Самойловна, но сама не услышала своего голоса. Поющие же не обращали на нее никакого внимания, если не считать того, что, когда опять дошло до припева, капитан Сараев специально для Иды Самойловны заменил канонические слова более подходящими к случаю:

*...И сотни тысяч батарей, —
Кричал по радио еврей, —
За нашу родину:
Огонь! Огонь!*

Картину происшедшего дальше можно восстановить не более чем приблизительно, основываясь только на противоречивых показаниях самих участников происшествия, поскольку других свидетелей не было. Кажется, было так. Возмущенная поведением ночных хулиганов, Ида Самойловна стала кричать на них и топтать ногами. Тогда капитан Сараев вскочил и стал на нее топтать ногами, как он потом объяснял, просто передразнивал ее ради шутки. Она шутки не поняла и плюнула ему в лицо. Он такого оскорбления перенести не мог, тем более что был в форме и при оружии, кобура его висела на стуле. Он выхватил из кобуры револьвер и направил его на потерпевшую Бауман.

— Застрелю, сука! — закричал он, но тут же, вспомнив про хозяйку, оборотился к ней: — Извиняюсь за выражение.

Потерпевшая с криком, не имевшим словесного выражения, кинулась бежать. Сараев, повинувшись проснувшемуся в нем (как он показывал впоследствии) охотничьему инстинкту, кинулся за ней и ворвался вместе с ней в комнату, где на кровати в холщовой ночной рубаше, спустив на пол худые голые ноги, сидела безумного вида старуха. Увидев ворвавшегося в дом человека с оружием, старуха свалилась на пол и с криком «Казак!» полезла под кровать. Завершить сей маневр она не успела, скончавшись от разрыва сердца. Так и умерла на четвереньках, с головою, засунутой под кровать. Это уже видели и сбежавшиеся на шум соседи. Говорили, что, осознав случившееся, капитан Сараев совершенно протрезвел, спрятал револьвер, пощупал у старухи пульс и, поднявшись с колен, сказал ни к кому не обращаясь: «Ну какой же я казак? У нас казаков никаких нет, а есть законная советская власть». И с этими словами вышел.

Конечно, праздник был испорчен. Наши герои, какие бы они ни были, убивать старуху не хотели. Пошутить, попутать — это другое дело.

Большого скандала из этого дела не вышло. Хотя Ида Бауман и пыталась привлечь к суду всех четверых, ей в конце концов разъяснили, что граждане Ревкина, Кашляев и Жуков виноваты только в мелком нарушении общественного порядка и им поставлено на вид. Что касается милиционера Сараева, то тут хотя имело место превышение полномочий, но он же не стрелял и гражданке Ревекке Бауман незачем было лезть под кровать и совершать такие сложные физические движения в ее возрасте, да еще во время сердечного приступа. Ну, а многие рассудили, что старушка свое отжила и все равно померла бы, хоть так, хоть эдак. Короче, капитану Сараеву был объявлен выговор и задержано на год присвоение очередного майорского звания. А все остальное шло своим чередом.

часть третья

ПУСТЫЕ ОЖИДАНИЯ





**ДРУЖБА НАША ПРИБЛИЖАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ,
ЗА КОТОРУЮ БОРЮТСЯ НАШИ ПАРТИИ.**

Л И БРЕЖНЕВ

С приходом к власти нового руководства появилось много приятных Аглае слухов. То ли Брежнев, то ли Косыгин назвали время правления Лысого позорным десятилетием. Один из этих двух, а может быть, кто-то третий сказал, что с гнилым либерализмом последнего десятилетия в ближайшее время будет покончено. Похоже было, что эти слова произносились не зря. На партийных собраниях, пленумах, конференциях имя Сталина сперва робко, а потом все увереннее упоминалось в положительном смысле. Упоминания неизменно встречались аплодисментами. В местном кинотеатре «Победа» в старых, сперва документальных, а потом и художественных фильмах стал появляться знакомый образ. Сначала где-то в каком-то кабинете на одну секунду мелькнул его портрет. Тот самый, с трубкой, что был на столе у Аглаи. Потом уже живьем его показали на встрече «Большой тройки» в Тегеране. Затем к годовщине битвы под Москвой оказался он там, где ему и полагалось быть, — на трибуне Мавзолея. Об очередном показе Сталина в кино Аглаю регулярно извещал Диваныч, и она немедленно бежала на утренний сеанс, торопясь увидеть хотя бы мельком дорогое лицо. При этом заметила, что была не одинока в своих ожиданиях. Каждый раз, как только лицо возникало на экране, в задних рядах раздавались робкие, иногда совсем одиночные аплодисменты. Аглая сама хлопала, и ей казалось, что она совершает подвиг, хотя подвиг был пережившейся властью вполне одобряемый. Тем не менее она хлопала и вертела головой, пытаясь угадать, где он или они, ее незримые единомышленники. Но разглядеть в темноте не могла, а потом люди выходили с непроницаемыми лицами. Как будто сами не хлопали и других не слышали. Но однажды она заметила од-

ного в серой шапке из кролика. Он сидел в трех рядах от Аглаи, прямо за ее спиной. Услышав аплодисменты, она быстро обернулась и застала его врасплох: он не успел опустить руки. Когда сеанс кончился, она побежала за ним. Он завернул за угол, она тоже и, не поспевая, окликнула:

— Молодой человек!

Он обернулся с молчаливым вопросом, не уверенный, его ли имели в виду.

— Подождите, — сказала она, — подождите. — Подбежала, запыхалась, заговорила прерывисто: — Спасибо вам. Спасибо, спасибо.

— За что спасибо? — спросил он, косясь на нее с подозрением.

— За ваше мужество, — торопилась она. — За верность. Я видела, вы хлопали.

— Кто хлопал? Где? — Он спрашивал резко и нервно.

— В кино вы хлопали, я видела, — сказала Аглая, давая ему понять, что она своя и полностью разделяет его чувства.

Но он ее не понял, заподозрил, что провокаторша, и зарорал, дергаясь:

— Что ты видела? Что?

— Молодой человек! — растерялась она. — Я же ничего плохого... Я говорю, что я видела...

— Ничего ты не видела! Дура! Дура старая! — крикнул молодой человек и кинулся от нее наутек.

Аглая растерянно смотрела ему вслед, не зная, на что обижаться, — на «дуру» или на «дуру старую».

Между прочим, это был Митя Лямихов, хорошо известный персоналу столичного Института психиатрической экспертизы имени Сербского. Митя при жизни Сталина подвергался лечению за критику Сталина. Которому лично писал, что он тиран, разбойник и враг народа. Если бы писал помягче, то попал бы в лагерь или под расстрел. Но его писания были настолько разнузданны и крайни, настолько не просматривалась в них хоть какая-то забота о сохранении собственной жизни, что все врачи единодушно и искренне признавали его невме-

няемым. Невменяемость его, кроме прочего, проявлялась в том, что он был всегда против всех решений и действий существующей власти. Если власть по каким-то историческим причинам начинала соглашаться с его мнением, он это мнение сразу менял на противоположное. При Сталине он был против Сталина, при Хрущеве за Сталина, теперь он оставался за Сталина по инерции, но в случае полной реабилитации Сталина он был бы опять против него.

2

И другие признаки перемен после Октябрьского пленума ЦК КПСС 1964 года Аглая воспринимала с надеждой. Хрущев осужден. Совнархозы упразднены. Отменено разделение обкомов на сельские и городские. Выражение «культ личности» со страниц печати исчезло. Уже почти никто и нигде не говорил о незаконных репрессиях, а случайные упоминания сопровождалось оговорками, что было их не так уж и много и не надо преувеличивать. Кукурузу перестали называть царицей полей. И перестали ее сажать. Зато посадили писателей. Правда, пока только двух. Но была надежда, что посадят и остальных. Одного математика упекли в сумасшедший дом. Одного историка поместили туда же. Чехословацкие ревизионисты объявили своей целью социализм с человеческим лицом. Советские танки пришли и ревизионистов поправили. Аглая всем этим событиям радовалась. Хотя ей казалось, что руководство КПСС ведет себя нерешительно. Сталина в кино показывают, но редко и осторожно. С ней самой все оставалось как прежде. Никто не торопился перед ней извиниться и восстановить в партии.

3

Но если Аглая была недовольна медленным развитием событий, то ее сосед Марк Семенович Шубкин был недоволен направлением этого развития. И, как коммунист-ленинец, не

мог пройти мимо. Он писал в ЦК письма с требованием освободить писателей, вывести войска из Чехословакии, вернуться к ленинским нормам внутривластной жизни, поставить памятник жертвам сталинизма, отменить цензуру и напечатать его роман «Лесоповал» в одном из ведущих советских журналов. Ответ на очередное послание пришел очень быстро, и по тону его Марк Семенович понял, что времена переменялись сильнее, чем показалось вначале. Ему было сообщено, что его предложения носят откровенно провокационный характер, от них веет политической незрелостью, а может, даже чем-то похуже. Его поставили в известность, что, если он не перестанет распространять свои нелепые измышления, ему придется покинуть ряды КПСС и не исключены дальнейшие последствия. Дальнейшие последствия Шубкину при его богатом жизненном опыте и развитом художественном воображении сразу представились в виде дремучей ханты-мансийской тайги с сугробами по грудь, морозами за пятьдесят градусов, визгом бензопилы «Дружба» и отмороженным носом. На короткое время он перестал писать письма, притих, и, пожалуй, притих бы надолго, но, включив однажды приемник, из передачи Би-би-си узнал, что его роман «Лесоповал» опубликован в Мюнхене известным эмигрантским издательством «Глобус». Как это случилось, Шубкин понятия не имел. Очевидно, рукопись ходила по рукам и в конце концов попала в такие руки, которые туда, на Запад, ее увезли.

Таким образом, в районе появился свой диссидент. Чем местные органы поначалу были очень довольны. При отсутствии диссидентов у центрального начальства могла возникнуть мысль, что и органы в этой местности не нужны. А есть диссиденты, есть и работа. Можно расширять штаты, требовать увеличения бюджета, возрастает объем работы и шансы отличиться на героическом поприще без малейшего риска для жизни. Потому что диссидент опасен идеологически, а не физически. Он невооружен, неловок, не умеет прятаться и уходить от слежки. Поэтому, если бы не было в Долгове Шубкина, его стоило бы выдумать. Выдумывать они тоже умели, но в

данном случае оказалось не обязательно. Есть реальный Шубкин и есть целый кружок его учеников и поклонников, за ними тоже надо следить, а на все это нужны штаты, зарплаты, машины и прочее.

Итак, Шубкин появился, проявился, органы заработали и прислали ему повестку. Шубкин на всякий случай собрал в мешок самое необходимое в тюремном быту: теплые носки и кальсоны, кружку, ложку и томик стихов Эдуарда Багрицкого.

И прямо с мешком — туда. Антонина, естественно, пошла его провожать. У порога простились всерьез.

Шубкин приготовился к изнурительным многочасовым допросам с криком, матом и ослепительным светом в глаза, но действительность приятно обманула его ожидания. Следователь Коротышкин оказался не совсем коротышкой, а так, среднего роста и возраста, невзрачной внешности, с округлыми плечами, пухлыми мягкими ручками и пухлыми пушистыми щечками. Волосы имел светлые, брови выгоревшие, глаза бесцветные, зубы неровные, но без клыков. На вурдалака он похож не был, да и на чекиста старых времен с глазами, воспаленными от преданности рабоче-крестьянскому делу, ненависти к врагам революции, водки, табачного дыма и недосыпа, тоже особо не смахивал. Одетый в недорогой костюм пыльного цвета, он встретил Шубкина у входа в учреждение и очень удивился мешку:

— Ну что вы, в самом деле? Да зачем это? Неужели у вас об органах такое странное мнение, что мы сразу всех прямо в тюрьму и ничего другого? Эта дама с вами? Оставьте это ей. Если что — конечно, может случиться и так, — она его потом принесет.

Мешок оставили Антонине, и это было хорошим знаком. Другой обнадеживающей предпосылкой благополучного исхода было то, что пропуск Шубкину оформили временный. После чего Коротышкин повел Марка Семеновича по длинному коридору, обсуждая попутно парадоксы текущей погоды и возможное влияние на нее достижений человечества в области химии и атомной энергии. В конце концов Шубкин оказался в

просторном кабинете, где за столом справа под портретом Дзержинского сидел человек по фамилии Муходав, хмурый, худощавый, желчный и как раз очень похожий на чекиста двадцатых годов. Левый стол, под вторым портретом Дзержинского, принадлежал Коротышкину. Коротышкин предложил гостю стул, обыкновенный, с дерматиновой подушечкой и дерматином обитой спинкой, сам сел за стол и, сцепив восемь пальцев между собою, оставил свободными два больших пальца, чтобы можно было ими как бы в раздумье вращать.

— Ну вот, — сказал он, вращая пальцами, и улыбнулся Марку Семеновичу, — прежде чем мы начнем разговор, назовите, пожалуйста, ваши имя, отчество и фамилию.

— Это допрос? — спросил Шубкин.

— Ну что вы! — запротестовал Коротышкин. — Это просто беседа.

— Пока беседа! — пробурчал из своего угла Муходав, но Коротышкин этого бурчания как бы не расслышал и разъяснил вполне доброжелательно, что требование назвать имя, отчество и фамилию — это просто формальность, может быть, излишняя, ею можно и пренебречь, но по существу хотелось бы поговорить вот о чем.

— Я читал этот ваш рассказик «Лесопосадки».

— Не рассказик, а роман, — поправил Шубкин.

— Антисоветский пасквиль, — донеслось из другого угла.

Муходав в разговоре прямо вроде бы не участвовал. Он сидел за своим столом, вникал в какие-то бумаги — что-то читал, писал, подчеркивал, — а реплики свои выдавал не направленное, а словно разговаривал сам с собой.

— Не знаю, как другим, — продолжил Коротышкин, бросивши взгляд на коллегу, — но мне многое понравилось. Я, конечно, не специалист, моя профессия — архитектура. Жилые и общественные здания, клубы, дворцы культуры — вот... Но в обком партии вызвали... Вы ведь тоже, кажется, коммунист?..

— Стрелять таких коммунистов надо, — громко сказал сам себе Муходав.

— В обком партии вызвали, говорят, нужно, Сергей Сергеевич, международная обстановка требует. Ну, если партия просит, разве я могу отказаться? Нет, Марк Семенович, никак не могу, потому что я прежде всего солдат партии и патриот. И вот сижу здесь. А душа, — он вздохнул тяжело и мечтательно, — истосковалась по кульману. Впрочем, это все лирика... Так вот, мне ваша «Лесостепь», можно сказать, даже понравилась. Местами. Очень хороший слог, удачные описания природы, особенно ханты-мансий-ской тайги... Вы ведь там были?

— Был, — кивнул Шубкин.

— Можно продолжить, — не отрывая взгляда от своих бумаг, сказал Муходав.

— Но в целом, — продолжил Коротышкин, — ощущение от описываемой вами картины тяжелое. По-моему, вы немного, как бы сказать, очень сгущаете краски...

— Я пишу о явлениях, которые партия на Двадцатом съезде разоблачила, — напомнил Шубкин.

— В том-то и дело, что она их разоблачила. Разоблачила, и хватит. Хватит, — повторил Коротышкин, умоляюще глядя на Шубкина. — Ну зачем же нам все время вспоминать о плохом, беречь раны, топтаться в прошлом? Надо идти вперед, Марк Семенович. Посмотрите вокруг, какие происходят события. Продолжается строительство Братской ГЭС, в Стерлитамаке задута новая домна, наши коровы дают до трехсот литров молока в год, наша партия ведет титаническую борьбу за мир во всем мире, а вы все про свои лесополосы. Ну ладно, если бы вы вашу «Лесосеку» для себя написали или для своих друзей, но ведь вы же передали на Запад.

— Я не передавал, — быстро сказал Шубкин.

— Оно само туда перелетело, — предположил Муходав.

— Не знаю, само или не само, — повернулся к нему Шубкин, — но я, как вы знаете, за границу не езжу. Или, может, я ездил, а вы не заметили? — спросил он язвительно. Но Муходав, листая свои бумаги, на Шубкина не отреагировал, а Коротышкин с ним согласился:

— Ну, конечно, конечно, вы не ездили. Никто не говорит. Но чтобы переправить рукопись, самому ездить не обязательно. Иностранные дипломаты и корреспонденты, они-то ездят! И не всегда с чистыми намерениями.

— Все сплошь агенты ЦРУ, — заметил Муходав.

— Именно, — согласился Коротышкин. — У нас есть сведения, что ЦРУ активизировало свою деятельность и делает ставку на несознательную часть нашей интеллигенции. Ищет слабое звено в нашей цепи. Не случайно ваш фельетон опубликован в антисоветском издательстве, сотрудники которого это сплошь белогвардейцы, власовцы и бывшие полицаи. Которые вешали советских людей и отправляли в газовые печи лиц еврейской национальности. И конечно, за ваше так называемое произведение ухватились не зря. Значит, им оно понравилось.

— Если моя книга им понравилась, значит, она хорошая, — самодовольно сказал Шубкин.

— Антисоветская, — изрек Муходав.

— Если б только антисоветская, — вздохнул Коротышкин. — К сожалению, Марк Семенович, книга антинародная. Нет, — сказал он в очевидном сомнении, — мы пока не будем применять к вам карательных мер...

— А надо бы, — вздохнул Муходав.

— Сейчас не тридцать седьмой год, и мы уже не те. Мы совсем не те, Марк Семенович, — заверил он страстно. — Для нас самое главное — спасти человека, уберечь его от неправильных поступков. Сейчас идет бескомпромиссная идеологическая война. Кто кого. И в этих условиях... Было бы хорошо, если бы вы обратились в нашу печать, и мы вам в этом поможем, поможем, поможем... — Закатив глазки, он забормотал, впавши как будто в транс и произнося слова в странной последовательности: — Мы вам подскажем, вы нам поможете, вы напишете, мы напечатаем, в открытой форме выразите свое отношение...

— А то будет плохо, — сказал как будто самому себе Муходав.

— Это угроза? — спросил Шубкин.

— Ни в коем случае! — поспешно заверил Коротышкин. — Никаких угроз. Но вы понимаете, что если вы не делаете выводов, то и мы... ну что мы можем? Марк Семенович, вы же понимаете, мы, конечно, гуманисты, но...

— Если враг не сдается, его уничтожают, — заключил Муходав.

— И очень большая к вам просьба. Очень, очень. О нашем разговоре никому ни слова.

И всё. Даже подписку о неразглашении Коротышкин у Шубкина не взял.

Некоторые люди в Долгове, вроде Аглаи или даже Диваныча, такой гуманности органов не понимали. Этот Шубкин написал страшную антисоветскую вещь, опубликовал ее в эмигрантском журнале — и как же его за это не посадить? Но они много чего не понимали. Например, того, что Шубкин, как мы уже отметили, в районе был единственный в своем роде. Будь их десять, можно было б одного-другого и посадить. А если посадить единственного, с кем же тогда бороться?

4

Конечно, Коротышкин надеялся, что Шубкин осознает всю пагубность своих заблуждений и испугается. И правильно надеялся. Шубкин в социалистическую законность верил, но с очень большими оговорками. Он решил больше не писать писем в ЦК, не распространять свои литературныеopusy, не ездить в Москву, не общаться с диссидентами и иностранцами. И стал вести себя столь примерно, что органам нашим следовало бы радоваться и вывесить у себя его портрет как наиболее послушного и достойного подражания гражданина. Но поскольку Шубкин им нужен был именно в качестве диссидента, они думали, как бы его на это дело снова подбить, и придумали. В «Долговской правде» появилась статья: «Чем дальше в лес, тем больше дров». Там была изложена биография Шубкина, где было отмечено то прямо, то

намеками, что он еврей, нарушал советские законы, был осужден за антисоветскую деятельность, освобожден от наказания досрочно из гуманных соображений. И ни слова о том, что он был реабилитирован. Зато было отмечено, что Марк Семенович урока из прошлого не извлек, опять скатился к антисоветской деятельности, в настоящий момент является наиболее ценным прихвостнем западных спецслужб и поставщиком клеветы на родину, которой он обязан тем, что она его растила, кормила, поила, одевала, обувала, дала образование и надежду на счастье.

Эту статью Шубкин воспринял как сигнал, что снова посадят, и решил последовать совету одного опытного московского диссидента, который объяснил ему, что его спасение в максимальной гласности.

— Если промолчишь, тебя посадят навверняка. А начнешь шуметь, привлечешь к себе настоящее внимание Запада, не ты их, они тебя будут бояться.

Шубкин поверил и стал действовать. И гораздо нахальней, чем раньше. Раньше он писал письма в ЦК КПСС, в «Правду» и «Известия». Потом копии в «Правду», «Известия». Потом в иностранные коммунистические газеты: «Юманите», «Морнинг стар», «Унита». А теперь очередное письмо ушло прямоком в «Таймс», в «Нью-Йорк таймс», в «Фигаро», в «Ди Вельт» и в «Афтонбладет». И сразу Шубкин увидел, чем отличаются эти газеты от коммунистических. Письмо было немедленно опубликовано, причем на самых видных местах. О Шубкине заговорили. Тексты его стали регулярно звучать в эфире. «Голос Америки», «Немецкая волна», «Свобода» и Би-би-си передавали их с многократными повторениями. При этом награждали Шубкина лестными эпитетами. Чем дальше, тем более звонкими. Видный диссидент. Крупный писатель. Выдающийся правозащитник.

Долговские органы растерялись. Сами толкнув Шубкина на столь решительное поведение, теперь не знали, что делать. Он стал слишком знаменит, и теперь неясно, с какой стороны к нему подступиться. Еще недавно его легко было посадить, и

без особого шума. А теперь... Самого Коротышкина можно в одну минуту снять с работы, посадить, даже расстрелять, если уж очень нужно, и никто этого не заметит. А Шубкина? Его тронешь, и все эти голоса подымут такой вой на всю планету, что только держись. Дело дойдет до всяких правозащитных организаций, те обратятся к своим президентам, президенты скажут о Шубкине Брежневу, Брежнев рассердится, вызовет Андропова, Андропов вызовет начальника пятого управления, начальник пятого управления вызовет начальника областного управления, тот позвонит в долговский отдел, и чем дело кончится для Коротышкина, еще неизвестно.

Не зная, что делать, Коротышкин решил не делать ничего, то есть делать вид, что никакого Шубкина просто нет. Что Шубкину было, конечно, на руку. Видя, что его никто не трогает, он совсем распоясался и обращался не только в газеты, а к президентам, и премьер-министрам, и просто к мировой общественности, то есть в общем-то ко всему человечеству. Писал он обо всем. Об отходе официальных властей от коммунизма. О бюрократизме и взяточничестве. О поголовном пьянстве. О преследовании людей за религиозные убеждения. О том, что власти не заботятся о культурных ценностях.

Все эти материалы он каким-то образом переправлял в Москву, оттуда это опять же попадало на Запад, а по вечерам Шубкин искал и почти всегда находил в эфире свою фамилию.

— Иди сюда! — кричал он при этом Антонине. — Послушай, что они говорят!

Он радовался, а Антонина горевала.

— Ой, посадят вас, Марк Семеныч, ой посадят, — сокрушенно трясла она головой.

— Не бойся, Тонечка, не посадят, — успокаивал ее Марк Семенович. — Как же они меня посадят, когда меня теперь знает весь мир?

Впрочем, с работы его, конечно, уволили. И из партии исключили.

Но именно к этому времени и относится начало его отхода от марксизма и ленинизма. Все-таки даже в его созна-

нии наметился перелом. Но, будучи таким человеком, который никак не может жить без ЕПЭНЭМЭ, он стал искать его в том мировоззрении, которое еще недавно сам называл опиумом для народа.

5

К Аглае постучались, она открыла, не спросив — кто, и вздрогнула от неожиданности. На пороге с большим арбузом в руках стоял молодой человек спортивного вида в джинсах и кожаной куртке.

— Марат! — ахнула Аглая, вдруг испытав радость, которой сама в себе не ожидала. И удивилась, и обрадовалась и Марату, и своему материнскому чувству, тому, что оно есть у нее.

— Здравствуй, мама! — Марат, прижимая арбуз к животу, улыбался, за его спиной улыбалась молодая блондинка в джинсах и джинсовой куртке нараспашку.

— Здравствуй, сын. — Аглая обошла арбуз, поцеловала Марата куда-то около уха. Протянула руку блондинке: — Аглая Степановна. А вас, кажется...

— Мама, это Зоя, моя жена, — сказал Марат с упреком. — Я же тебе писал много раз.

— Ну, конечно, писал, — согласилась Аглая. — Но ведь нынешние браки, это что? Это ничего. Это раньше было... Когда мы с твоим отцом женились... — Она запнулась, вспомнив, что вряд ли ее союз с Андреем Ревкиным можно было изобразить как примерный. — Ладно, — оборвала сама себя. — Но вы как снег на голову. Хоть бы телеграмму отбили. — Повела за собой в комнату. — Проходите. Ну как же без телеграммы? У меня не убрано, и холодильник пустой.

Она первая вошла в комнату, пожимая плечами и что-то еще говоря, обернулась и увидела, что они оба стоят, едва переступивши порог, — он с выражением на лице крайнего удивления, а она в ужасе.

— Ах да, — сказала Аглая. — Я тебе разве не писала? Да вот храню. Уже почти восемь лет. — Спыхватилась. — Неуже-

ли мы с тобой восемь лет не виделись? Или больше? Да положи ты свой арбуз! — закричала она на сына, и тот бережно опустил плод на стул и покачал, убеждаясь, что не скатится.

Потом сидели на кухне за круглым столом, покрытым клеенкой с кремлевскими башнями, и ждали, когда закипит вода в большом мятом алюминиевом чайнике. Кухня была плохо убрана, закопченная, с паутиной по углам. Аглая поставила на стол полулитровую банку с сахарным песком, полпачки печенья «Привет», Марату дала стакан с подстаканником, Зое — фаянсовую чашку без ручки с надписью «XX лет РККА» и себе эмалированную кружку, предварительно протерев ее полотенцем.

Марат обратил внимание, что за время разлуки мать постарела. Под глазами мешки, а под мешками еще мешки, и вообще все лицо стало каким-то бугристым, с глубокими порами. Когда она разливала чай, заметил, что руки у нее дрожат, а пальцы черные и кривые, как сучья дерева. Отчего же, думал он, ведь она же не такая старая. Пятьдесят четыре года. Зоиной матери на два года больше, а выглядит гораздо моложе. Может быть, потому, что ходит к косметичке и красит волосы. «Постарел, — глядя на сына, думала и Аглая. — Сколько же ему лет? Около тридцати пяти, а уже лысоват, брюшко, двойной подбородок, и виски тронуты сединой».

— Что такое РККА? — спросила Зоя, разглядывая кружку.

Аглая посмотрела на нее с удивлением, не представляя, как можно этого не знать, а Марат объяснил:

— Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

— Вы когда же приехали? — спросила Аглая.

— А вот только что и приехали, — сказал Марат.

— Только что. — Она посмотрела на часы. — А на каком же поезде?

— А мы не на поезде, — улыбнулся Марат. — На машине. Я на Кубе сертификатов накопил — и вот... — Он подвел ее к окну. — Видишь, «Волга» голубая?

— Твоя?

— Моя собственная. Да, между прочим, забыл щетки снять. Здесь как вообще — воруют?

— А где не воруют? — спросила Аглая.

— Ну я думал, что, может быть, здесь... Раньше-то здесь было место тихое.

— Раньше порядок был, — сказала она. — Везде было тихо. Сейчас некоторые ахают: «Ах, при Сталине за один колосок десять лет давали». И правильно делали, что давали. А теперь не то что колосками — вагонами тащат. Эшелонами. Ну ладно. Что я об этом. Расскажи, как ты, как вы.

К приему гостей она была совсем не готова, не имея для ужина ничего, кроме картошки, полбутылки кефира и столько же водки. Но у гостей в машине в сумке-холодильнике оказались две жареных курицы, вареные яйца, колбаса «салями», а Марат сбегал в гастроном и купил пачку сливочного масла, бутылку подсолнечного, три банки консервированных болгарских голубцов, две бутылки алжирского сухого вина и торт «Столичный».

Когда Марат шел в гастроном, щетки еще были, он думал снять их на обратном пути. Но когда шел обратно, их уже не было. Ужин оказался омрачен этим событием. Впрочем, у Аглаи был знакомый начальник автобазы, она надеялась утром щетки достать.

Во время ужина Марат сидел лицом к приоткрытой двери в комнату и время от времени косился туда, откуда из темноты статуя пыливо вглядывалась в него. Этот чугунный взгляд нервировал Марата, он отворачивался, передвигал стул, сел к двери боком, но исходящая от истукана таинственная сила манила его, заставляла вертеть шеей и сталкиваться с этим взглядом, излучающим невнятный вопрос.

Аглая знала, что у Марата есть сын, но, не будучи уверенной, нет ли кого еще, спросила осторожно:

— А как наше потомство?

Марат обрадовался, что она помнит о внуке, и сказал, что Андрей остался с Зоинными родителями. Мальчик ходит в первый класс, но учится плохо, потому что много дерется.

— Очень похож на тебя, — сказал Марат.

— В том смысле, что много дерется? — спросила Аглая.

— Я говорю, что внешне похож.

— Ну, значит, и внутренне. Я в детстве была знаешь какая драчунья, — вспомнила она с удовольствием. — Меня все мальчишки боялись. А вы, — повернулась она к Зое, — чем занимаетесь? Домохозяйка?

— Ну почему же? — возразила Зоя. — Пока ребенок был маленький, с ним сидела, а теперь работаю в «Интуристе».

В «Интуристе» она работала гидом в отделе индивидуального обслуживания особо важных иностранных политических деятелей, художников и писателей. Она охотно рассказала, как ездила по стране с Говардом Фастом, Джеймсом Олдриджем, Рокуэллом Кентом и с кем-то еще, чьи имена Аглае совершенно ничего не говорили. Но по воодушевлению, с каким эти имена назывались, можно было предположить, что это были люди известные и что обслуживание их было более полным и многосторонним, чем предполагалось формально служебными обязанностями.

Обычно иностранцев возили по привычным маршрутам: «Москва — Ленинград — Киев — Волгоград — Загорск», но стоило свернуть в сторону от привычных путей, как возникали непредвиденные курьезы. Индийский премьер-министр Джавахарлал Неру, которого Зоя тоже однажды сопровождала, хотел посетить почему-то город Целиноград, его сперва отговаривали, а пока отговаривали, было дано указание в авральном порядке достроить центральную гостиницу города, которую возводили уже несколько лет. Местные строительные бригады укрепили асами Мосстроая, те вылезли вон из кожи и к приезду высокого гостя успели доделать второй этаж, лестницу к нему (что не доделали, покрыли красной ковровой дорожкой) и холл, в котором стояли важные швейцары с простоватыми лицами, каждый чином не ниже майора. Стены украсили какими-то светильниками и рогами, в баре в этот день продавались никогда не виданные местными жителями разного рода напитки, а в газетном киоске всякие

газеты и журналы, включая иностранные и, конечно, индийские. Чтобы создать видимость свободно покупаемой прессы и напитков, агенты КГБ подходили, покупали то и другое, но на выходе у них все это отбиралось, чтобы они сами, отведав кока-колы, не заразились потребительским духом или не подверглись идеологической обработке через газеты, которых они, впрочем, по незнанию иностранных языков прочесть не могли бы.

Номер люкс для высокого гостя обставили собственной мебелью секретаря обкома, очень шикарной и без клопов. Все шло хорошо и даже немножко лучше, чем хорошо, но в гостиной еще не было водопровода и не закончено подведение канализации. А поскольку гость был высокий и до ветру ходить бы не мог, на третьем этаже поставили две бочки, в которые воду носили с черного хода, и в одну бочку заливали холодную, а в другую горячую. Что же касается канализации, то тут обошлись совсем просто: сливная труба обрывалась в номере люкс на первом этаже, под ней стояло ведро, а у ведра дежурила уборщица тетя Сима. Утром дедушка Джава (так называла Зоя высокого индийского гостя) справлял свои дела, дергал за ручку, сливаемое с грохотом рушилось в ведро, тетя Сима ведро подхватывала и подставляла другое. Зоя живо жестикуютлировала, часто повторяла слова «умора» и «классно». Некоторые слова она сознательно коверкала на простонародный лад, говоря: «Вода текет, тетя Сима бегит» (это ей казалось смешным). На вопрос Марата, налить ли еще вина, она сказала: «Евственственно».

Аглая пила вино, морщилась, водка ей нравилась больше, но свое пристрастие она от сына скрыла. К еде почти не притронулась, курила свой «Беломор», кашляла, нагибаясь под стол, гулко и с надрывом. Марат предложил ей иностранные сигареты «Мальборо», она попробовала, закашлялась еще больше, сказала: дрянь, солома, наш «Беломор» гораздо лучше. Рассказы Зои слушала вежливо, но с большим нетерпением, а очередную попытку рассказать об их с Маратом поездке на Кижы прервала вопросом:

— А вот меня интересует... твой отец занимает важный пост и, наверное, общается с большими шишками.

— Бывает, — подтвердила Зоя не без гордости.

— Так вот, есть ли там намерение восстановить справедливость?

— А что? — нахмурилась Зоя. — По-моему, справедливость уже восстановлена. Все политические давно выпущены на свободу, получают повышенные пенсии, о них и так много говорят.

— Может быть, даже слишком много, — сказал Марат и невольно покосился на статую.

— Я о том и говорю, — подхватила Аглая, — что слишком. Но я как раз не о них, а о нем. — Она показала на статую. — Он столько сделал для страны, а его как какой-то хлам на свалку!

Она не много выпила, но и малости ей хватало. Она покраснелась, и в глазах появились слезы.

— Да, — согласилась Зоя, — я думаю так же, как вы. Папа говорил, что у высшего руководства были планы реабилитировать, но мировое общественное мнение и западные компартии...

— Плевать на западные компартии, — резко сказала она и прикурила от одной папиросы другую. — Что у нас, своего ума нет?

— Вы в принципе правы, — опять согласилась Зоя, — но в современной международной обстановке... Конечно, это незрело, но... Я тоже так думаю, и папа так думает, и многие так думают, но, может быть, к девяностолетию будет решение.

— Не будет, — сказал Марат. — Не будет никакого решения.

Зоя посмотрела на него удивленно, а Аглая спросила:

— Почему?

— Потому, мамочка, — усмехнулся Марат, — что после культа личности Сталина был культ личности Хрущева, сейчас создается культ личности ныне живущего Генерального секретаря, а после него будет следующий ныне живущий, а потом и

так далее, а мертвый соперник никому не нужен. Из мертвых достаточно одного Ленина.

Аглая посмотрела на сына внимательно. Марат перехватил ее взгляд, прочел в нем осуждение.

— Извини, может быть, тебе кажется, что я слишком циничен. Но циник — это разочарованный романтик. Он сперва верит в идеалы, а потом видит, что они не соответствуют реальностям в жизни, и начинает верить только своим глазам.

— Это называется не циник, а реалист, — возразила Зоя.

— Умница, — согласился Марат. — Можно сказать и так.

— Но я тебя все-таки не понимаю, — сказала Аглая. — Мне кажется, теперешнее руководство относится к Сталину с уважением, почему же...

— Потому, мамочка, — перебил ее Марат, — что лизать живую задницу гораздо приятнее, чем чугунную.

На ночь она разложила молодым людям в гостиной старый диван-кровать, который в качестве действующего ложа давно не использовался. Сама ушла к себе в спальню. Лежала, курила, думала, что Марат, очевидно, прав. У нынешнего руководства заслуги есть, но есть и вполне заметные недостатки. Сталина не реабилитируют, с диссидентами чикаются. Боятся западных компартий, мировой общественности... И в результате — абсурд. Чем крупнее диссидент, чем больше от него вреда, тем больше с ним возятся, не сажают, ведут полемику в печати, а ему только этого и надо. Да и кто будет с этими диссидентами всерьез бороться, если наверху вся политика — чинопочитание и лизоблюдство? Брежнева по каждому поводу и без повода превозносят и награждают. Недавно преподнесли с поклоном звание Героя Советского Союза. За что? За выслугу лет? А еще говорят — Сталин. Да Сталин-то...

Она долго не спала, и ее гости тоже. Заслышав снаружи шум, Марат трижды вскакивал и смотрел в окно, не угоняют ли машину. Потом опять ложился. Лежал, смотрел на статую, она — на него. Он закрывал глаза, и тогда ему казалось, что изваяние сдвинулось с места и приближается к нему. Он был далек от мистицизма, знал, что такого не может быть, но не вы-

держивал и открывал глаза. Статуя стояла на прежнем месте, но у Марата было ощущение (которому он не верил), что она только-только туда вернулась. Он опять закрывал глаза и временами даже совсем засыпал, но, как только это с ним случалось, статуя опять немедленно приближалась, наклонялась и вглядывалась в него. Во сне он критически оценивал свое состояние, он спрашивал себя: сплю я или не сплю, и отвечал сам себе: нет, не сплю, потому что вижу и ощущаю все, что вокруг меня происходит, вот я лежу, и рядом со мной лежит Зоя, вот мой нос, вот я его дергаю, нет, я не сплю. За окном профырчала машина, свет фар ворвался в комнату, заскользил по стене, тень люстры поехала по потолку, и Сталин быстро метнулся в свой угол, но, как только свет истощился, статуя бесшумно подкралась к диван-кровати. Марат хотел спросить Сталина, что ему нужно, открыл рот, но не смог ничего сказать и проснулся от страха. Проснувшись, заметил, что и Зоя не спит.

— Ты что? — спросил он.

— Я его боюсь, — прошептала Зоя.

— Глупости! — буркнул он раздраженно, стараясь успокоить не столько ее, сколько себя самого. — Это просто неодушевленный предмет, чугунное литье, монументальная пропаганда, и ничего больше.

Он решил отвлечь ее и сам отвлечься обычным от всего отвлекающим способом, тем более на новом месте, а новое место всегда его возбуждало именно тем, что было новое. И процесс отвлечения зашел уже далеко, когда Зоя возразила шепотом:

— Нет! Нет! — и вытолкнула его из себя.

— В чем дело? — спросил он недовольно.

— Я не могу при нем, — сказала она.

Утром, когда гости еще спали, Аглая сбегала к своему знакомому на автобазу. У того лишних щеток не оказалось, но он исключительно из уважения к Аглае дал ей снятые с казенного автомобиля.

Завтракали молча и торопливо. Марат не выспался и был раздражен. Поглядывал в комнату и удивлялся. Ночью Сталин

казался ему грозным и таинственным, а теперь ни грозности, а так — железный старичок, похожий на портрет дворника работы Пиросмани, стоит с поднятой нелепо рукой. Может быть, он такой и был: маленький, рябой и ничтожный, а люди сами наделили его нечеловеческими качествами, своим трусливым воображением превратили его во всесильного упыря и сами дрожали при виде его от страха?

Марат и Зоя хотели как можно скорее уехать, и Аглая желала того же. Они уже вышли в коридор и готовы были проститься, когда Аглая сказала: «Минутку», метнулась к себе в кабинет, вернулась и вручила сыну конверт с адресом: «Москва, Кремль, Л.И.Брежневу».

— У меня к тебе просьба, — сказала она понизив голос. — Отнеси это в ЦК. На Старой площади есть какой-то подъезд, четвертый или шестой. Там принимают письма.

— Ой, мама! — поморщился Марат. — Да когда я там буду! Оно быстрее по почте дойдет.

— Ты что! Ты разве не понимаешь? — спросила она шепотом и оглянулась на дверь.

Он тоже оглянулся и посмотрел на нее.

— Чего не понимаю?

— За мной следят, — продолжила она нервно. — За каждым шагом. С врагами народа чикаются, а за мной, коммунисткой, партизанкой, устроили плотную слежку. Письма перехватывают. А я обязана. И они там, наверху, должны знать мнение рядовых коммунистов.

— Ты насчет этого истукана? — спросил Марат и мотнул головой в сторону гостиной.

Если б Марат знал, что он наделал своими словами! Сердце Аглаи заколотилось неистово.

— Что? — спросила она потрясенно. — Ты сказал: истукан? Ты товарища Сталина назвал истуканом?

— Мамочка! — испугался Марат.

— Аглая Степановна, — вмешалась Зоя. — Он же не про Сталина. Он про скульптуру. Она ведь, правда, какая-то странная...

— Молчать! — рявкнула Аглая, как рякала, допрашивая немецкого полица или проворовавшегося председателя.

— Мамочка, ну ты что? — попытался успокоить ее Марат. Он даже протянул к ней руки, чтобы обнять ее. — Я же не про самого Сталина, а про эту дурацкую скульптуру. Это же не человек, а идол...

— Ах идол! — вспыхнула Аглая. — Ты смеешь!.. Убери руки!.. Ты смеешь так про самого дорогого мне человека...

— Мамочка! — очередной раз воззвал к ней Марат.

— Я тебе не мамочка! — закричала она. — И ты мне не сын! Убирайтесь оба к чертовой матери и чтобы я вас больше не видела!

— Мам... — забормотал Марат. — Ну, я прямо не знаю, ну ты как-то...

— Вон! — сказала Аглая и толкнула его в грудь.

Зоя выскочила на площадку. Марат повернулся за ней.

— Вон! — повторила Аглая и толкнула его в спину. После чего захлопнула дверь, повернула в скважине ключ и вошла в гостиную, готовая разрыдаться. Но случайно глянула на статую и остолбенела. Сталин смотрел на нее так выразительно, что она без труда прочла в его глазах полное одобрение ее мужественному поступку.

6

Мы никак не можем упустить из виду одно важное событие, случившееся в Долгове в конце лета 1969 года. Георгий Жуков и его жена Елизавета, решив отметить пятилетие сына Вани, купили у проводника с проходящего поезда канистру польского спирта, назвали гостей. Спирт оказался метиловым, сами Жуковы оба померли, один из гостей последовал их примеру, и еще трое ослепли.

Дворничиха Валентина неделю выла по единственному сыну, руки на себя наложить хотела, но потом поняла, что не имеет права, должна жить ради внука Ваньки.

А в остальном год был хороший.

В «Долговской правде» появилась статья: «Верность». Написана она была давно. Еще в начале шестьдесят пятого года к Аглае приходил корреспондент. Задал ей кучу вопросов. И вскоре написал статью, но тогда света она не увидела. Аглая слышала, что в газете материал время от времени вынимали из редакционного портфеля, готовили к печати, но каждый раз в последний момент решали, что пока не время. И вот, видимо, время все-таки наступило. Статья получилась большая, на два подвала. В ней рассказывалась вся героическая биография Аглаи Ревкиной, кое-где, правду сказать, приукрашенная. Говорилось о твердости ее убеждений. Об испытаниях и гонениях, через которые она пронесла верность своим идеалам, партии, революции и государству. И подробнейшим образом был описан главный подвиг ее жизни: сохранение ценного памятника, шедевра монументальной пропаганды. Была выражена надежда, что не долог день, когда шедевр займет место на ожидающем его пьедестале.

Вряд ли следует считать случайным совпадением тот факт, что на другой день после выхода статьи к Аглае прискакал (на своих двоих) нарочный с короткой запиской: «Уважаемая Аглая Степановна! Прошу срочно зайти в райком. Поросянинов».

Ей очень хотелось через нарочного отправить отправителя куда подальше, но любопытство пересилило.

Собираясь в райком, думала, не надеть ли гимнастерку с орденами, но решила, что сейчас это будет как-то уж слишком. Нарядилась в темно-синий костюм, под ним белая кофточка, на пиджаке орденские планки и университетский значок, выданный за учебу на каких-то партийных курсах.

Бывший ее кабинет выглядел не так скромно, как когда-то при ней: стол и шкаф новые, из карельской березы, тяжелая бронзовая люстра с какими-то купидонами, мягкий кожаный диван, два кожаных кресла, низкий столик с журналами «Огонек» и «Работница», а над головой Поросянинова портреты: Ленин и Брежнев.

— Здравствуй, Аглая Степановна! — радостно приветствовал ее Поросянинов. Он вылез из-за стола, пошел к ней навстречу и даже раскинул руки для предполагаемого объятия, но забыл, с кем имеет дело. Она пробормотала невнятное «здрст» и от объятия отстранилась. Он был сообразительный, не настаивал, показал ей на одно из кресел, а сам опустился в другое. Помолчал, словно не придумал, с чего приступить к разговору, усмехнулся и сказал, глядя глаза в глаза:

— Ну вот. Начнем с того, что старое поминать не будем. Ты пострадала за свою принципиальность, это понято и принято во внимание. Есть мнение, что некоторые перегибы пора исправлять, поэтому сообщаю: решение об исключении тебя из рядов отменено. Стаж остается непрерывный, на учет пока можешь стать по месту жительства, а потом разберемся. По этому пункту вопросы есть?

— Есть, — сказала Аглая. — Я требую извинений.

— Чего? — удивился Поросянинов.

— Ну должны же вы передо мной извиниться.

— Да. — Поросянинов вздохнул, посмотрел на нее и сказал с чувством: — Аглая Степановна! Дорогой мой партийный товарищ! Ты ведь знаешь хорошо, что партия наша ошибки признает и исправляет, но не извиняется.

— Ладно, — согласилась Аглая. — Тогда второй вопрос. Сталина когда реабилитируете?

Поросянинов смутился. Подумал.

— Во-первых, — сказал он, — поскольку ты, в отличие от Сталина, полностью реабилитирована, ты имеешь право говорить не «вы», а «мы». Так какой у тебя вопрос?

— Когда мы Сталина реабилитируем? — заменила она местоимение.

— А у меня к тебе есть встречный вопрос: а на хрена он тебе нужен? — спросил Поросянинов и уставился на Аглаю прямо и не мигая.

— Что? — опешила Аглая.

Опять возникла та же ситуация, что с Маратом. Но Маратом был ее сыном, а этот...

— Ничего, проехали, — сказал Поросьянинов и перешел на официальный тон: — У нас, Аглая Степановна, в партии есть такое мнение, и Сталин сам его разделял, что не отдельные герои делают историю, а народ под руководством коммунистической партии. На данном этапе во главе с первым ленинцем товарищем Брежневым. Эту станцию, — он не дал ей опомниться, — мы тоже проехали и сделаем пересадку на другой поезд. Нами, партийным руководством района, возбуждено ходатайство о переводе тебя на персональную пенсию республиканского значения. И еще: вот путевка в Сочи, билет любой, железнодорожный или авиа, будет оплачен. Посиди там, подлечись, попарься в сауне, попринимай всякие процедуры, массаж, грязевые ванны, душ Шарко. Очень полезно, сам пробовал. Наберешься сил, возвращайся и приходи. Захочешь, найдем достойную общественную работу. Не захочешь, отдыхай, читай книги, изучай классиков марксизма-ленинизма.

7

Диваныч вызвался ее проводить и дотащил ее чемодан до станции пешком.

Возле вокзала стояли две милицейских машины с мигалками, серая «Волга» и военный грузовик с солдатами под брезентом.

На перроне первого пути было шумно. Толпа незнакомых Аглае людей отмечала свадьбу. Невеста в белом платье и белой фате, жених в черном костюме с белой розой в петлице. Дружки, подружки, родители, родственники жениха и невесты, много всякого народа. Баянист с золотыми зубами растягивал меха, немолодые мужчина и женщина плясали, при этом женщина выкрикивала частушки довольно скабрзного содержания. На первый взгляд — свадьба как свадьба. Хотя было в ней что-то необычное. Какие-то люди держались слишком напряженно и зыркали глазами по сторонам. Это потом Аглая так припомнила. А тогда что-то почувствовала, но была

озабочена своими проблемами. Боялась, не для того ли сманили ее путевкой, чтобы в ее отсутствие вытащить стацию.

— Да нет, — успокаивал Диваныч. — Не похоже. Сейчас, наоборот, ожидается все-таки полная реабилитация.

— Ладно, — сказала она, — но если что, сразу же бежишь на почту и отбиваешь мне телеграмму. Не прямо, а напишешь: «Дедушка не здоров». Понял?

— А если дедушка здоров? — пошутил Диваныч.

— Если все в порядке, ничего не пиши.

Вагон № 4, на который у Аглаи был билет, остановился прямо перед ней. Из вагона сначала выпрыгнула проводница с кудрями, вылезавшими из-под красной фуражки, а за проводницей на площадке появились Шубкин и Антонина. «Опять мотался в Москву!» — подумала зло Аглая. Он, увидев ее, удивился — чего это она здесь? — но улыбнулся и сказал: «Добрый день!» Она ему не ответила, но поздоровалась с Антониной. Он спрыгнул на перрон с большим раздутым портфелем и затем помог спуститься своей спутнице. Аглая уже взялась за поручень, но Диваныч дернул ее за руку: «В чем дело?» — хотела она спросить, но, повинуясь знакам Диваныча, глянула в сторону, куда удалялся Шубкин, и стала свидетелем незаурядного события. Шубкин уже приближался к входу в вокзал, когда участники свадебной гулянки, все, включая невесту, окружили его и Антонину. Тут откуда-то прямо на перрон выскочила серая «Волга», Аглая услышала сначала крик Антонины: «Марк Семенович!», потом голос самого Марка Семеновича: «В чем дело, товарищи? В чем дело? Я протестую!» Дальше было слышно, как захлопали дверцы, и в следующую секунду «Волга», завизжав шинами, вырвалась из толпы, пронеслась по перрону, за ней, простирая руки, бежала Тонька. Не доезжая пакгауза, машина завернула за угол вокзала и скрылась. А Тонька остановилась и застыла с нелепо вытянутыми вперед руками, словно ожидала, что кто-то ей в эти руки что-то положит. Толпа на перроне немедленно рассосалась, и только теперь Аглая поняла, что это была не свадьба, а специальная операция.

— Да! — сказал Диваныч с непонятым чувством. — Ловко сработано! Теперь уж ему, как грится, век свободы не видать...

8

Не знаю, как другие, а я с возрастом все неохотнее переношу наши русские снега, метели, морозы и даже «мороз и солнце — день чудесный» уже, пожалуй, не для меня. Мне всё милее зимы южные, с мягким неярким солнцем, теплыми дождями, нехолодными вечерами и незамерзшими блеклыми цветами на клумбах.

В санатории имени какого-то партсъезда КПСС поправляла свое здоровье советская номенклатура среднего ранга: заместители заведующих отделами ЦК, заместители министров, начальники главков. По неписаной иерархии (а может быть, где-то и писанной) к этому рангу причислялись отставные генералы, отдельные передовики производства и кто-нибудь из приближенных к начальству чинов творческой интеллигенции — писатели, художники, артисты. Последних здесь представлял Народный артист СССР Николай Крючков, который ходил быстрым шагом, всем приветливо улыбался, а по утрам с большим полотенцем бегал к морю купаться в уже позимнему студеной воде.

Аглае море было ни к чему, тем более что плавать не умела, плескаться просто так не любила и летом, зато ценила парную, русскую, мокрую, с веником. Куда, впрочем, никогда не ходила. Стеснялась народа. Будучи известным в Долгове человеком, думала, что в бане ее будут разглядывать, а потом рассказывать, что видели голую Ревкину. А она в свое время держалась так, что даже представить ее голой не у каждого бы хватило воображения. Здесь была не парная, а сауна. Не совсем то, но лучше, чем ничего. Зато здешних женщин она не стеснялась, они были своего круга, правда, скучные. Говорили только о внуках, диете, косметике и способах омоложения. Их уже тогда волновали входившие в моду на Западе силиконовые груди и лицевые подтяжки.

Времени — помимо трехразового питания, массажа, грязевой ванны, сауны и других телесных удовольствий и процедур — оставалось много, но «Основы ленинизма» Аглая забыла дома, к спорту приучена не была и чем занять себя, просто не знала. Газеты давно читать перестала, телевизор смотреть ленилась. Да и что там смотреть, кроме Брежнева? Чуть ли не каждый вечер его чем-нибудь награждали или он награждал кого-то. Его показывали так много и усердно, что в народе программу телевещания прозвали «всё о нем и немного о погоде».

В вестибюле все стены были расписаны картинами счастливой советской жизни и дружбы народов. Слева от входа в главный корпус стояла большая кадучка с пальмой, под ее раскидистыми ветвями отдыхающие во фланелевых пижамах, синих тренировочных костюмах и тапочках «забывали козла». В сонном покое санатория костяшки домино стучали, как выстрелы. В простонародных коллективах игра в домино обычно сопровождается громкими разговорами на самые разные темы, анекдотами, шутками, подковырками. Но номенклатура, собравшись вместе, ведет себя осторожнее, соображая, что прежде чем подшутить над кем-то, надо вникнуть в тонкости субординации. И анекдот какой попалось здесь не расскажешь. Поэтому играли молча, сосредоточенно, с таким видом, будто делали что-то исключительно важное. Впрочем, и здесь кто-нибудь, забывшись, вдруг провозглашал громко и аппетитно: «Рыба!» Или: «Дуплюсь на два конца!», или «Дуплюсь на два конца с прицепом!» Но тут же замолкал и взглядывал на других игроков в опасении, не слишком ли разговорился в столь важной компании. И на всякий случай скромно втягивал голову в плечи.

От нечего делать Аглая тоже попробовала поиграть, полагая, что дело простое, но увидела, что и здесь нужно примечать, у кого какие костяшки, угадывать намерения и намеки партнера, понимать общий характер игры, и по этой части тут собрались такие асы, что не ей с ними тягаться. Стала много гулять. Меняя дорожки, ходила то по нижней набережной, то

по верхнему парку между морвокзалом и гостиницей «Жемчужина», ходила одна, думала о том, что жизнь складывается странным образом и вовсе не так, как предполагалось вначале. Когда-то ее муж Андрей, тогда еще молодой коммунист, рассказывал, что по мере продвижения к коммунизму люди будут крепнуть идейно, будут больше думать об общественном и меньше о себе. А что есть на самом деле? Люди погрязли в быту, думают только о своем желудке, о том, как лучше устроить свою жизнь. Дух стяжательства овладел многими, партия не только не борется с таким направлением умов, а сама стяжает побольше других.

В столовой она сидела в самом дальнем углу и сперва в одиночестве. Но как-то пришла к завтраку, а там сидит и уплетает манную кашу пожилой мужчина в темно-синем свитере с надписью на груди «Adidas».

— Здравствуйте, — сказала она.

— Здравия желаю! — Мужчина поднял коротко стриженую седую голову, и Аглая, увидев перед собой смуглое скуластое лицо с мохнатыми бровями, задохнулась от потрясения:

— Это вы?

Тот немного удивился вопросу, оглядел сам себя — плечи и грудь — и признался:

— Да вроде бы я.

— Генерал-майор Бурдалаков?

— Генерал-лейтенант, — поправил собеседник, довольный, что оказался узнанным. Хотя в том, что его узнали, для Федора Федоровича Бурдалакова ничего удивительного не было: Благодаря телевидению, кадрам кинохроники и фотографиям в газетах его, генерала, Героя Советского Союза, общественного деятеля, одного из зачинателей важного общественного движения, практически знали все.

9

Движение «За себя и за того парня» зародилось в ту пору, когда народ от общего строительства коммунизма приустал и

надеялся на материальное поощрение. А ему вместо денег и лучшей жизни изобретали новые светлые идеалы и подкидывали патриотические идеи. Вооруженный идейно, народ по призыву партии и комсомола или по приговору суда рубил тайгу, рыл каналы, поднимал целинные земли, прокладывал Байкало-Амурскую магистраль. Живя при этом в палатках или бараках и питаясь немислимой дрянью. И чтобы охотнее было народу задаром тратить силы, калории и здоровье, партия награждала его разными орденами, медалями, значками, грамотами, выпелами, переходящими знаменами и создавала эти псевдодвижения, делая вид, что народ сам их придумал. Таких движений было много. Их участникам предлагалось пересест с лошади на трактор, работать по-ударному, равняться на передовиков, освоить вторую профессию, выполнять пятилетку в четыре года, водить тяжеловесные поезда, собирать хлопок обеими руками, обслуживать одному человеку двенадцать станков, изготавливать лишнюю продукцию из сэкономленных материалов, перегонять Америку, трудиться без отстающих и работать за того парня. То есть за парня, который не вернулся с Великой Отечественной войны.

Если рассудить здраво, призыв работать за того парня был не очень корректный. Что значит работать за того парня и зачем за него работать, если он не ест, не пьет и иных трат на себя не требует? По правде говоря, это движение было бестактным упреком тому парню, что он, лежа там, где его бросили и забыли, не участвует в строительстве коммунизма. Тем не менее движение «За себя и за того парня» существовало, и одним из зачинателей его считался именно Федор Федорович Бурдалаков, имевший большой личный опыт получения чего-нибудь за «того парня».

10

Для Бурдалакова «тот парень» был парень конкретный, и звали его Сергей Жуков, или просто Серега. В сорок третьем году Федя и Серега вместе ходили в разведку за линию фрон-

та, действовали смело, добывали ценнейшие сведения, приводили «языков», за что оба еще тогда, в нещедрое на награды время, получили по ордену. Они всегда ходили вдвоем и возвращались вдвоем. Но однажды Федя Бурдалаков вернулся один. Выполнив очередное задание, он и Серега пробирались домой по вражеским тылам, наткнулись в лесу на засаду, и в коротком бою Серега был ранен в живот. Некоторое время Федя его честно тащил на себе, из последних сил выбиваясь, но это было бессмысленно и слишком опасно. Серега истекал кровью, стонал, кричал, был бы неизбежно услышан противником, протаскать его через линию фронта в этом месте не было ни малейшего шанса, да если и протаскать, то лишь для того, чтобы продлить страдания. Серега сам взмолился, прося избавить его от бесполезных мучений. И сам перед смертью снял и отдал товарищу свои совсем еще новые яловые сапоги.

Не будем возводить напраслину на Федю. Отправив на тот свет много врагов, он никак не был готов добывать друзей, даже и в такой кошмарной, почти без выбора ситуации. Но что ему было делать? Оставить Серегу, а самому уйти? Остаться с ним и попасть в лапы немцам? Не донести до части важные данные, от которых зависело столь многое? Не тому, кто в подобных ситуациях никогда не бывал, судить побывавшего. Возможно, какой-нибудь претендент на звание гуманиста на месте Феде не сделал бы ничего, и это было бы очень плохо для Сереги, для гуманиста и для всего остального. Федя Бурдалаков не думал, гуманист он или кто-то еще. Выпив полфляги водки, он совершил акт последнего милосердия, или, по-теперешнему говоря, эвтаназии. А совершив, долго плакал.

Свои стоптанные и с надорванной подметкой сапоги Федя бросил в лесу и, вернувшись в родную часть, сообщил, что Серега геройски погиб в неравном бою, а подробности опустил. Да и кому они были нужны, эти подробности? Народу гибла такая тьма, что отдельная смерть интереса не вызывала. Получил Федя за Серегу, как и полагалось, трехдневный паек, включая три раза по сто боевых граммов водки. А потом в интервью, данном корреспонденту армейской газеты, обещал

бить врага за двоих: за себя и за своего друга Серегу. Вот, собственно говоря, когда у него впервые идея насчет «того парня» возникла.

А что касается Сереге, то и посмертная его судьба тоже печально сложилась. Бурдалаков доложил о гибели ротному командиру. Тот собирался передать это сведение дальше, но сам в это время был захвачен в качестве «языка» и утащен на ту сторону фронта вражескими разведчиками. Таким образом ротный пропал без вести и Серегу перетащил с собой в пропавшие без вести. Что и стало причиной различных неприятностей для жены его Валентины, дворничихи из города Долгова.

Воевал Федор Бурдалаков, ничего не скажешь, храбро. Не отсиживался в удаленных от линии фронта штабах, не руководил тыловыми органами снабжения. В самых горячих переделках бил врага за себя и за Серегу, проявил много отваги, за что продвигался в чинах, и орденами был не обижен. Орденов в конце войны давали чем дальше, тем больше. Кончил войну Героем Советского Союза, полковником, а две генеральских звезды получил — первую, служа в Главном политическом управлении Советской Армии и вторую — при выходе в отставку. Но где бы ни служил, чем бы ни занимался, никогда не забывал Бурдалаков «про того парня», про Серегу, гармониста, балагура и храбреца. Везде, где мог, о нем рассказывал, выступал от его имени и получал уже в мирное время много всяких знаков внимания, знаков отличия и денежных знаков. За себя получал и за Серегу, а Серегина семья пребывала в презрении, забвении и нищете. Чего Бурдалаков, вероятно, просто не знал.

Выйдя на пенсию в относительно раннем возрасте, Федор Федорович был еще в силах передвигать тяжелые вещи, что-нибудь копать, бурить, сверлить или в крайнем случае протирать штаны в какой-нибудь конторе, но он теперь уже без конца и лишних перерывов выступал на собраниях, на митингах, сидел с важным видом в президиумах, то есть занимался деятельностью, которая называлась патриотической. И сам называл себя, естественно, патриотом.

Внештатный лектор Министерства обороны, генерал Бурдалаков много внимания уделял военно-патриотическому воспитанию молодежи. Разъезжал по всем городам Советского Союза. В воинских частях и трудовых коллективах рассказывал о Сереге, о собственном фронтовом прошлом. О взятии разных городов, штурме высот и форсировании рек. Но с тех пор, когда он совершал свои, еще раз подчеркнем, не мнимые, а реальные подвиги, времени прошло много, кое-что подзабылось, затуманилось и замшело, стало путаться с где-то вычитанным, вымышленным и домысленным. Постепенно его воспоминания становились похожи на выдумки журналистов мирного времени. Имевших о войне представление по кинофильмам в постановке режиссеров, знавших войну по журналистским репортажам.

Много путешествовал Федор Федорович по местам своей и чужой фронтовой славы и уже не за боевые заслуги, а, как говорилось, за бытовые услуги получал награды, привилегии, ездил в хорошие санатории, лечился в генеральской поликлинике, улучшал свои квартирные условия, менял старую дачу на новую и в конце концов превратился в настоящего паразита, из тех, кто десятки лет только то и делали, что вспоминали прошлые подвиги, призывали, поучали, давали указания художникам, писателям и ученым, как рисовать, писать книги и в какую сторону двигать науку. И естественно, все писатели, художники и ученые, которые не внимали генеральским указаниям, считались антипатриотами и нахлебниками на шею трудового народа.

Пусть не подумает читатель, что автор с неуважением относится к людям, которые отдали свою жизнь за родину или готовы были отдать. Автор чтит всех, кто храбро сражался с врагом, а также тех, кто сражался нехрабро (им-то было страшнее, чем храбрым), автор и к Федору Бурдалакову отнесся бы с полным почтением, если бы он не брался учить людей тому, чему сам не был учен. Но он учил кого угодно чему угодно, а если какие-то группы или отдельные личности из художников, писателей, генетиков, кибернетиков к его

наставлениям относились без должного уважения, генерал Бурдалаков лично садился за пишущую машинку и строчил, как из пулемета: «Мы, воины, ветераны Великой Отечественной войны, от имени павших требуем сурово наказать...» И советское правительство не всегда могло отказать столь заслуженным людям.

С некоторых пор генерал Бурдалаков для наглядности возил с собой в специально сшитом парусиновом чехле красное знамя. Не простое, а пробитое пулями и осколками и местами продырявленное кухонным ножом знамя с изображенным на нем значком «Гвардия» и надписью «Даешь Берлин!». С этим знаменем Федор Федорович якобы брал в 1945 году вражескую столицу, причем, если его послушать и забыть другие известные факты истории, можно было предположить, что он брал вражескую столицу, как медведя (про медведя он тоже рассказывал), в одиночку. Все-таки насчет Берлина не знаем, но советских городов Федор Федорович покорил с этим знаменем немало. В дни всяческих годовщин: Советской Армии, Военно-Морского Флота, Победы, начала Великой Отечественной войны, разгрома немцев под Москвой, в дни отдельных битв, освобождения областей, форсирования рек, штурма крепостей, захвата плацдармов и взятия столиц — Федор Федорович был непременным участником этих торжеств, прибывая на них со своим знаменем. И еще раз напомним: никогда не забывал Серегу, всегда выступал от его имени и вообще от имени павших, их именем клялся и их именем проклинал. Не имея ни понятия, ни чувства, что, благополучно дожив до старости, получив за войну все почести, должности, ордена и пайки, стыдно выступать от имени тех, кто бесследно и в молодом возрасте погиб, по словам поэта, «не долюбив, не докурив последней папиросы».

11

Кроме всего, Федор Федорович оказался человеком общительным и приверженным здоровому образу жизни. Легко

подружившись с Аглаей, он стал звать ее Глашей, дал почитать иностранную книгу «Бегом от инфаркта» и подбил по утрам бегать трусцой вдоль моря. У нее не было для этого подходящей одежды, но генерал позвонил секретарю горкома, тот позвонил председателю горисполкома, тот позвонил директору горторга, тот позвонил директору спортивного магазина, и через два дня Аглая вышла на первую пробежку в синем трикотажном тренировочном костюме с надписью «Динамо» на груди и в тогда еще только входивших в моду кроссовках. Сам же Бурдалаков был в спортивных трусах, в свитере фирмы «Адидас» и в кроссовках «Адидас».

Федор Федорович, большой, хорошо сложенный, слегка поседевший, но с лицом еще нестарым и загорелым, уже поджидал Аглаю, терпеливо разминаясь в беге на месте.

В первый день она сначала шла пешком, а он бежал рядом с той же скоростью, но высоко поднимая колени, работая руками, словно кривошипам, и отдуваясь жизнерадостно, как паровоз.

Генерал ей нравился. У него была мощная спина борцовского типа, слегка сутулая, с подвижными лопатками и крепкие ноги с мускулистыми, загорелыми, покрытыми редким волосом икрами, блестящими, словно натерты воском. Каждый день по асфальтированной крутой, вьющейся серпантинном дорожке они спускались на набережную, по дороге встречая артиста Крючкова, тот с полотенцем на шее, так же пыхтя и отдуваясь, бежал вверх.

В первый день Аглая пробежала метров не больше полусотни, а неделю спустя легко одолевала дистанцию между гостиницей и морвокзалом, туда и обратно, и могла бы бежать еще, но Федор Федорович, с возрастом ставший весьма осмотрительным, не советовал слишком усердствовать.

— Вот, — говорил он ей, когда бежал рядом, — если б вы еще бросили курить или хотя бы сократили. А то у вас же легкие, если на них посмотреть изнутри, — дымоход. Всё в саже. Если бы вы в себя заглянули, сами бы в ужас пришли. Я ведь тоже курил, как не знаю кто, а потом начались проблемы с но-

гами и врач предупредил: будете курить, останетесь без ног. Я сказал ему «спасибо», вышел из поликлиники, папиросы — в урну, и с тех пор шесть лет ни одной.

Бегали они плечо к плечу, как в упряжке. Иногда за ними увязывался местный бездельник молодой грузин Нукзар. Он бежал рядом в футбольных бутсах и бормотал одно и то же:

— Отец, продай ботинки! Сто рублей дам!

— Отстань, кацо, — отмахивался от него Федор Федорович, — не приставай, ты же видишь, я с дамой.

— Продай, батя, — не отставал Нукзар и поднимал цену: сто двадцать рублей, сто тридцать, сто пятьдесят.

Этот диалог на бегу происходил каждый день, настойчивость молодого человека была бессмысленна и потому непонятна. Федор Федорович объяснял ее скукой здешнего зимнего существования.

— Летом он торгует шашлыком, а зимой делать нечего, просто так бегать неинтересно, вот и пристаёт.

Обычно генерал и Аглая бежали рядом, но иногда, предупредив ее: «Извините, я порезвлюсь», он делал резкий рывок, убегал от нее метров на триста, а потом уже не спеша бежал ей навстречу.

После пробежки, разгоряченная, потная, она медленно поднималась в гору, иногда при этом оглядывалась — смотрела, как Бурдалаков плавает в холодном море.

Она в море купаться не решалась, но увлекалась контрастным душем с водой сначала горячей, потом холодной, и опять горячей-холодной, и так несколько раз.

К завтраку спускались вместе, садились за стол, на котором уже стояли накрытые салфетками граненые стаканы со сметаной, на тарелках творог со сметаной, посыпанный сахарным песком, и тут же официантка Нинуля подвозила на каталке другую еду, которую певуче рекламировала, щедро употребляя уменьшительные и ласкательные суффиксы.

— Доброе утречко, — пела она, — что будем кушать? Кашка манная, кашка овсяная, яишенка, сырнички, котлетки, картошечка.

Федор Федорович к первой еде относился серьезно и на завтрак съедал и сметану, и творог со сметаной, и порцию манной каши, и яичницу из трех яиц, и кусочек сыра. У Аглаи с утра аппетита не было, съест сырник, отхлебнет чаю и — за папиросу.

— Опять за свою отраву, — регистрировал генерал.

Она смущалась, оправдывалась, сама удивляясь, что оправдывается:

— Я ведь не натошак.

— Обманываете, — хитро шурился генерал, — себя обманываете и меня пытаетесь. Я ведь сам был такой. Бывало, прогнусь, и руки тянутся к папиросе. И сам дрожу весь, так прямо хочется затянуться. Чтобы не натошак, откушу кусок хлеба, морковки, котлеты, что-нибудь проглотил, задымил тут же и доволен. А на самом-то деле, Глаша, курильщикам надо завтракать особенно плотно. Тем более что есть известная китайская мудрость: завтрак съешь сам...

— Знаю, — перебивала Аглая, — обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.

— Вот именно, — охотно кивал Бурдалаков. — У меня друг есть Васька Серов, тоже генерал, но юморной, как ребенок, и простой до невозможности. Уж седой совсем, седьмой десяток распечатал, а все у него шутки да прибаутки. «Я, — говорит, — Федя, живу точно по китайским правилам: завтрак съедаю сам, обед готов разделить с тобой, а ужин отдаю Нинке». И сам смеется.

Конечно, не всегда Бурдалаков поучал Аглаю или воспитывал, часто он просто излагал какие-то истории из своего фронтového прошлого, и опять-таки эти его истории были в жанре социалистического реализма и похожи на рассказы из журнала «Огонек» или «Советский воин».

Живее были его описания разных выдающихся людей нашего времени, а выдающихся встретил он в жизни немало. Членов ЦК КПСС, министров, генералов, и всех их он помнил, и каждого называл по имени-отчеству. Леонид Ильич, Алексей Николаевич, Николай Викторович, Михаил Андрее-

вич, Анастас Иванович... Любил рассказывать о высоких приемах, особенно в Кремле, кто там был, какие были столы и люстры, на какой посуде что подавалось и что наливалось в бокалы.

После завтрака расходились на процедуры. Бурдалаков ходил на массаж, загорал в кварцевом солярии, принимал душ Шарко (все, что давали ему задаром, старался не упустить), а у Аглаи в расписании были электрофорез и грязь — последнее время болели колени и руки.

Но и для прогулок время оставалось. Гуляли вместе перед обедом и после дневного сна по дорожкам санатория. Дорожки располагались кольцами на ровной поверхности и были прозваны безымянными острьяками «Малый инфарктный круг» и «Большой инфарктный круг». Интересно, что в течение дня выглядел Федор Федорович по-разному: чем позже, тем старше. После обеда в штатском плаще и в вязаной шапке ходил он, заложив руки за спину и слегка наклонившись, как ходят люди, больные почками. Аглая шла рядом, руки ей как-то мешали, и любое положение их — за спиной, на груди, просто опущенные — казалось неестественным.

12

Прогулки часто приводили их к тому месту, где начинался крутой спуск к морю, там стояла скамейка из деревянных планок на чугунной основе с выгнутой спинкой и обычно пустая. А бывало, и не пустая. Сидела там какая-нибудь парочка, уединившаяся для тактильного общения. Генерал и Аглая подходили, садились, разговаривали вполголоса. А молодые обычно испытывали смущение и недовольство, отлипали друг от друга, сидели с напряженными лицами, иногда бросали взгляды на вновь пришедших и, убедившись, что те расположились надолго, вставали и молча шли искать иное уединение.

Бурдалакову такая ситуация очень нравилась, он любил спугивать парочки и делал это не только с людьми. В моло-

дости он ходил по деревне с палкой и разъединял склепившихся собак.

— Я вот смотрю, — говорил он Аглае, — едет на курорт молодая красивая женщина. Муж ее провожает, встречает. Что же, он не понимает, что она обязательно заведет себе здесь любовника?

— Но не все же, — возразила Аглая.

— Все, — не согласился Федор Федорович. — Только если уж очень страшная. А если ничего себе и есть, как говорится, на что посмотреть и за что подержаться, то уверяю вас. Я на курортах много времени провел, но таких женщин, чтобы, имея возможность, ни-ни и ни с кем, ни разу не видел. Между прочим, у немцев есть обычай, что один день в году мужа и жены могут изменить друг другу, даже переночевать порознь, но потом об этом целый год не вспоминают. Как будто ничего не было. Так у нас приблизительно с курортами. Съездила, и что было, то было, а потом всё, до следующего лета.

— Это у кого как, — сказала Аглая. — Я видела недавно кино «Дама с Каштанкой»...

— С Каштанкой или с собакой? — спросил Бурдалаков.

— Подождите. — Она подумала и вздохнула. — Вот дура-то! «Дама с собачкой», маленькая там такая собачка. Так они как начали на курорте, так и не могли остановиться. Несмотря, что у нее и муж, и собака...

— Так она и с собакой? — в ужасе спросил генерал.

— Да я уж не помню, я эти фильмы, так, знаете, смотрю вполглаза, а сама о чем-то другом думаю.

— Не понимаю все-таки, — сказал генерал, — о чем думают наши контролирующие органы? Ведь такую, извините за выражение, дрянь порою показывают. А в книгах что пишут! И все проходит. А еще говорят — цензура. Да какая цензура, когда у нас десять тысяч писателей. Представляете? Десять тысяч! У меня в дивизии солдат было в два раза меньше. Я как-то с Леонидом Ильичом поднимал этот вопрос. Леонид Ильич, говорю, ну зачем же нам столько писа-

телей? Отберите человек пять, ну десять, талантливых, партийных, сознательных. Дайте им темы, и пусть работают.

— А вы что, с Брежневым лично знакомы? — спросила Аглая.

— С Леонидом-то Ильичом? — переспросил Бурдалаков. — А как же! В этих местах и познакомился. Вот если туда направо поплыть на пароходе, там будет сначала Туапсе, потом Новороссийск, а еще до Новороссийска есть такой мыс и называется Мысхако. Не мыс Хако, а все вместе Мысхако. Мы там в сорок третьем десантом высадились под командованием майора Цезаря Куникова. Храбрый человек был, хотя и еврейской нации.

— И Брежнев там был?

— Ну, скажем так, не был, а бывал. Когда главные силы подошли. Он был начальник политотдела армии. Кстати сказать, медаль мне вручил «За отвагу». И что любопытно, до сих пор помнит. Мы когда встречаемся где-нибудь на слете ветеранов, я его спрашиваю: Леонид Ильич, а помните, вы мне медаль вручали? А он смеется, ну, говорит, Федя, ты и даешь, как же я могу тебя не помнить? Хороший, я вам скажу между нами, мужик. Ну, выпить любит, к вашему полу неравнодушен, но зато, если какая просьба, всегда выслушает внимательно, потом пальцами вот так щелкнет и порученцу говорит: запиши и проверь, чтоб было исполнено.

Ко времени встречи с Аглаей Федор Федорович был начинающим вдовцом, его жена умерла полгода назад от рака легких. «Тоже, — заметил Федор Федорович Аглае, — курила, как вы».

Потеряв жену, он жил за городом. У него была хорошая генеральская квартира в Москве на Беговой улице, но там — старшая дочь, ей уже сорок лет, старая дева, характер тяжелый. Младшая Асенька, красавица, властная, таких мужчины любят, вышла замуж за дипломата, теперь с двумя детьми в Индии. Младший сын Сергей, названный так в честь фронтового друга, пошел по стопам деда, военный, летчик, замполит эскадрильи.

— А за городом у вас дача? — поинтересовалась Аглая.

— Ну да. Большая. Полгектара земли и восемь комнат на двух этажах. Представляете? Иногда так бывает обидно, прямо до слез.

— А что такое? — забеспокоилась Аглая.

— У других людей на восемь человек одна комната, а у меня на одного восемь. И вот иной раз сижу в одной комнате один, а семь других пустые. Перейду в другую комнату, так теперь эта без меня остается.

Несмотря на здоровый образ жизни, Федор Федорович часто жаловался на головные боли и бессонницу.

— С вечера, — рассказывал он, — какая-то птица кричала, потом ветер шумел, а потом не знаю что, но не сплю и все. Значит, там, наверху, происходят явления. Был молодой, явлений не чувствовал. На фронте в буквальном смысле пушкой было не разбудить, а тут где-то в стратосфере столкновение воздушных масс или луна не так повисла, а я — человек, царь природы, из-за такой ерунды не могу заснуть. Включу свет, раскрою книжку, в сон клонит. Книжку положу, свет выключу — никакого сна. Я, знаете, всю войну прошел без единой царапины, но все ж таки нервное напряжение-то было большое, вот теперь сказывается. Это как мина замедленного действия.

После ужина в общем холле смотрели программу «Время», хоккей, фигурное катание или шли в кинозал, если показывали что-нибудь старое, родное и черно-белое про пятiletки, войну, уборку урожая, партбилет и шпионов.

13

К радости своей, Аглая обнаружила в Федоре Федоровиче почти полного единомышленника. Он разделял ее точку зрения на Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, электрификацию, индустриализацию, коллективизацию, разгром оппозиции, Великую Отечественную войну, на Сталина, на роль Сталина в достижениях и победах. К Хрущеву тоже от-

носился плохо, но к Брежневу положительно, чего не могла с уверенностью сказать о себе Аглая.

Как и Аглая, Федор Федорович не любил ревизионистов, то есть людей, которые плохо относились к прошлому, критиковали партию и советскую власть, а в литературе и живописи реализму предпочитали формальные выкрутасы.

— Был недавно на выставке, — рассказывал он. — Говорят, вот молодые талантливые художники. Модернисты называются. Абстракционисты. Ну, посмотрел я. Мазня мазней и ничего больше. Смотришь и не поймешь, что это. Дом, лес, река или собака, ничего не понятно. Туда линии, сюда крючки. Как говорится, черт-те чего и сбоку бантик. Я к одному такому подошел и вежливо спрашиваю: «Как называется ваша картина?» А он говорит: «Безмолвие». Я ему говорю: «Безмозглие», вот вам как надо ее назвать. Ну что вы, говорю, рисуете, на что краски переводите? Это ведь осел хвостом нарисует лучше. А он, представляете, какой хам, я, говорит, на столь низком уровне с вами даже и разговаривать не желаю. Ах ты, говорю, гад! Я не для того на фронте кровь проливал, чтоб ты, паразит, на шее народа сидел и мазней такой занимался. Пришел домой, написал в газету. Собрал еще ребят-ветеранов, все подписали, газета напечатала. И этому в Союзе художников выговор влепили за формализм, и я считаю, правильно сделали.

— Неправильно! — резко возразила Аглая.

— Почему ж это неправильно? — удивился Бурдалаков. — Вы не представляете, какая это мазня!

— Вот я и говорю, — сказала она, тоже волнуясь и сжав кулаки. — За это не выговор, за это расстреливать надо!

— Что? — Бурдалаков поперхнулся, как будто ему живая муха в дыхательное горло попала. — Ох, вы... О! — сказал он. — Вы горячая женщина!

— А что вы думаете, — продолжала Аглая. — Ведь это же не безобидная мазня. Это не просто так. Они молодежь нашу растлевают. Мы двадцать миллионов советских людей на войне потеряли. И что? Ради чего? — В эту минуту ей искренне

казалось, что в гибели двадцати миллионов советских людей виноваты именно художники-абстракционисты. — Нет, — сказала она, не видя причины для снисхождения, — только расстрел.

— Да, — согласился Бурдалаков, — пожалуй, вы правы. У нас на фронте таких...

Он хотел сказать, что у них на фронте таких художников и вправду расстреливали, но, подумав, не вспомнил, чтоб на фронте были такие художники. Был карикатурист, он в боевом листке Гитлера рисовал, а абстракционистов не было ни одного.

— Да, вот! — Генерал как-то сник и зевнул в ладонь. — Что же касается памяти товарища Сталина, то в отношении его, я думаю, справедливость будет вскорости восстановлена. Может быть, даже через несколько дней. Мне один очень ответственный товарищ говорил... — Тут Федор Федорович оглянулся, с подозрением взгляделся в кусты за спиной и понизил голос до шепота: — Мне говорили, будет специальное постановление. Михаил Андреич Суслов над этим специально работает...

Перед сном они опять заходили в столовую, где уже стояли накрытые бумажными салфетками стаканы с кефиром. Аглая выпивала свою порцию на месте, а Федор Федорович свой стакан уносил к себе в номер. Их комнаты были расположены по соседству, вторая от лестницы была его комната, а следующая ее. Обычно у дверей его комнаты они прощались, чтобы снова сойтись утром для совместной пробежки.

14

Иногда знаменитого генерала, прослышав о его пребывании в Сочи, приглашали куда-то в соседние санатории и близлежащие города выступить перед отдыхающими, молодежью, солдатами, моряками и ветеранами. Тогда он надевал генеральский парадный мундир с золотыми погонами, парчовым поясом, орденами и геройской звездой и казался важным и не-

доступным. Но когда он брал еще неизменное свое знамя в чехле, образ его сразу тускнел, он становился похож на Чарли Чаплина с тросточкой. Он уезжал, бывало, на весь день, а то и на два. Оставаясь без его компании, Аглая скучала. По утрам бегала в одиночку, но путь свой сокращала: до морвокзала, назад и — домой.

Однажды генерала возили на вертолете в город Самтредиа и привезли обратно со многими сумками подарков от «трудящихся солнечной Грузии», то есть от местных партийных боссов. Среди подарков была четырехлитровая пластмассовая канистра молодого вина «Изабелла».

Аглая была приглашена на дегустацию.

Она согласилась и вошла к Бурдалакову в комнату со сдержанным любопытством. До сих пор они оба вели себя как два пенсионера, без намеков на иное общение. Но теперь их отношения, казалось и ей, и ему, дошли до какой-то границы, требующей уточнения. Все-таки и он вдовец и она вдова, оба пожилые, но не настолько, чтобы всё было исключено. Короче, она вошла к нему без расчета на что-то конкретное, но с предчувствием, что должно произойти объяснение.

Комната у него была точно такая же, как у нее, квадратная, с двумя окнами, деревянной кроватью, диваном, журнальным столиком и двумя картинами на стенах. На одной стене — шишкинские медведи, а на другой картина местного художника «Штормовое предупреждение» — скалы, маяк и волны.

— Вот, — сказал Бурдалаков, — тоже ведь художник, но смотришь и понимаешь: это камни, это волны, а это маяк. Он, может, неталантливый, но всё жизненно, не то что, как говорится, бой в Крыму, Крым в дыму, и ничего не видно.

На столике, помимо прошлогоднего «Огонька» с недорешенным кроссвордом, стояла вышеупомянутая канистра, два тонких чайных стакана, ваза с фруктами (яблоки, мандарины и фейхоа), круглая лепешка, большая тарелка с сыром сулугуни и еще каким-то странным продуктом, вроде резиновой колбасы с орехами. Федор Федорович сказал, что это делается не из

резины, а из высушенного сливового сока с орехами и называется чурчелла.

— Чурчелла? — переспросила Аглая. — Это как зовут Ким Ир Сена?

— Нет, — сказал серьезно Федор Федорович. — Товарища Ким Ир Сена корейцы зовут великий чучхе, а это чурчелла. Не чуч, а чурч. Промежду прочим, чурч, это по-английски значит церковь. Ваше здоровье, Глашенька.

Проявляя большую осведомленность в искусстве потребления вин, он посмотрел свой стакан сначала на свет, потом покачал немного, повращал, так что вино закрутилось внутри воронкой, пригубил и поднял глаза к Аглае:

— Ну как? Нравится? Мне, промежду прочим, один доктор медицинских наук объяснял, что алкоголь, — он сделал ударение на «а», — в умеренных количествах вещь чрезвычайно полезительная. Это вам не то что курить. От курения один вред. А от этого... Шекспир постоянно пил шампанское, а немецкий писатель Гёте каждый день потреблял бутылку красного. И товарищ Сталин тоже уважал красное вино «Хванчкара». Хотя и водочки не гнушался. Я с ним сам чокался водкой.

— Вы? — удивилась Аглая. — Со Сталиным? Лично?

— Разумеется, лично, — улыбнулся Федор Федорович. — Разве можно чокаяться и не лично? Если вы старую хронику с парадом Победы видели, то и меня там могли заметить. Я там еще молодой и с усами. Знамя фашистское в общую кучу бросаю. Да вы кушайте, кушайте, сыр этот, сулугуни, тоже очень вкусный, исключительно легко усваивается и содержит кальций, для женского организма крайне необходимый. Да... — Федор Федорович отхлебнул вина, голову откинул, взгляд его затуманился. — Потом, после парада, в Кремле был правительственный прием. Ужин, я вам скажу, был исключительно необыкновенный. Теперь-то я, можно сказать, избалованный, а тогда, понимаете, первый раз в жизни кушал рябчика и попробовал жульен из шампиньонов. После ужина вышли из-за стола размяться. И вот мы, группа

старших офицеров, стоим так это у окна, курим, разговариваем, когда мой друг, Васька Серов, толкает меня локтем в бок. Я оборачиваюсь: ты чего толкаешься? Смотрю, батюшки! — передо мной сам товарищ Сталин в таком это, знаете, темно-сером мундире. А на груди одна Золотая звезда и все, и ничего больше. Вот так, как вы от меня, стоит, даже ближе. В руке стакан с водкой. А рядом с ним Молотов Вячеслав Михайлович, Маленков Георгий Максимилианович и маршал Конев Иван Степанович. И представляете, товарищ Сталин водку из правой руки в левую переложил, правую протягивает мне и говорит: «Здравствуйте, я Сталин». Так прямо и сказал «я Сталин». Как будто я могу не знать, кто он. А я опешил и стою с открытым ртом. Он говорит: а вас как зовут? А я, знаете, хочу ему ответить, а язык точно, как говорят, прилип к горлу. А товарищ Сталин стоит, смотрит и ждет. И тут, хорошо, меня Конев выручил. Это, говорит, товарищ Сталин, полковник Бурдалаков.

А он переспрашивает:

— Бурдалаков? Федор Бурдалаков? Командир сто четырнадцатой гвардейской мотострелковой? Бывший разведчик?

Тут я совсем онемел. Вы представляете, генералиссимус, Верховный Главнокомандующий, сколько у него дивизий, людей и разведчиков, и неужели он каждого по имени и фамилии? А он говорит: «А вы, товарищ Бурдалаков, что же, непьющий?» Я, можете себе представить, перепугался и не знаю, что сказать. Скажу, что пьющий, подумает пьяница. Непьющий — тоже как-то нехорошо. Стою и молчу. А товарищ Сталин опять к Коневу:

— Он у вас, видать, и немой, и непьющий.

И тут Иван Степанович опять помог. «Как же, товарищ Сталин, — говорит, — фронтовик-разведчик может быть непьющим?» — «Вот я и подумал, — говорит Сталин, — что непьющих разведчиков не бывает. Пьющий человек может не быть разведчиком. Немой человек может быть разведчиком, ему лишь бы видеть и слышать, но не может быть непьющим. Непьющий человек не может быть разведчиком никогда».

Вот он такие слова мне сказал, и я на всю жизнь их запомнил. — Федор Федорович, держа перед собой кусок чурчеллы, задумался, помолчал и опять оживился. — И вы представляете, после этого он мне говорит. «Если вы, товарищ Бурдалаков, — говорит, — не против, то давайте с вами выпьем». Можете вообразить? Не против ли я! А еще, говорят, мания величия. Да какая может быть мания, если он полковника спрашивает, не против ли он с ним выпить. Да я бы, если б он сказал: выпей, Бурдалаков, ведро водки, да хоть керосина, я выпил бы. Я даже и не помню, как у меня стакан с водкой оказался в руках. «Ну, — говорит он, — за что пьем?» Я набрался храбрости и говорю, глядя ему прямо в глаза: «За товарища Сталина». А он опять улыбнулся и говорит: «Ну что ж, за товарища Сталина так за товарища Сталина, товарищ Сталин тоже не самый последний товарищ». Протянул стакан, мы чокнулись, он свою водку немного пригубил и на меня смотрит. А я, знаете ли, еще до войны в деревне научился водку пить не глотая, а прямо, вот смотрите, она самотеком идет в пищевод.

Федор Федорович долил себе вина, встал, запрокинул голову, широко открыл рот, раскрутил стакан, как крутил перед пробой вина, и стал его надо ртом наклонять. Вино крученой струей вливалось в генерала, словно через воронку, и журчало горным ручьем. Кадык при этом не двигался.

— Да! — оценила Аглая. — Это у вас получается!

— Вот и товарищ Сталин удивился. Посмотрел, как я это делаю, ну и ну, говорит, да вы прямо не Бурдалаков, а Вурдалаков. Кстати, говорит, эта ваша фамилия, откуда у вас такая?

Ну что я ему скажу? Не могу знать, говорю, товарищ Сталин. Конечно, не можете, говорит. Наверное, все-таки ваши предки какими-нибудь вурдалаками были. Но это, говорит, конечно, я в виде шутки вам говорю. Засмеялся и пошел дальше. И стал говорить что-то Коневу, но уже не про меня, а про другое. И возможно, он про меня даже тут же забыл, но для меня-то это воспоминание до скончания дней.

Уж на что я много видел больших, так сказать, людей, но Сталин — это же Сталин!

Генерал и его гостя помолчали взволнованные — он вновь пережитым, она — впервые услышанным.

— А вот сейчас говорят, — сказала она, желая услышать опровержение, — что он будто бы был рябой.

— Чепуха! — немедленно опроверг генерал. — Откуда рябой? Почему рябой? Я бы каждому, кто такое говорит, просто не знаю, что б сделал. У него было хорошее, мужественное русское лицо.

— Но он был все-таки грузинской национальности, — сочла нужным уточнить Аглая.

— Ну да, — сказал генерал, — это конечно. Но лицо было русское.

Выпили еще немного, и Федор Федорович стал показывать Аглае альбомы с фотографиями, частично выцветшими. Снимки были в основном обыкновенные, семейные. С женой после свадьбы. На велосипедной прогулке. На пляже. Первый сын. Сын и дочь. Трое детей. Дети маленькие. Дети большие. Патристическая деятельность Федора Федоровича была отражена в отдельном альбоме. На первой странице фотография последнего времени во весь рост в полной военной форме, в фуражке, с лампасами и орденами. Дальше в форме и в штатском, участие во всевозможных церемониях. Выступление перед выпускниками артиллерийского училища. Встреча ветеранов на Мамаевом кургане. Вручение Федору Федоровичу ордена, грамоты, опять ордена. С маршалом Чуйковым, с маршалом Баграмяном. Встреча ветеранов 9 Мая у Большого театра. Еще раз у Большого театра. И вдруг — он с Брежневым. После рассказа о Сталине Брежнев волнения не вызвал, но все же было интересно.

— А что это вы ему вручаете? — спросила Аглая.

— Удостоверение почетного председателя нашего клуба ветеранов. А это, видите, я со знаменем этим. Не видели его развернутое? Сейчас покажу.

Он вынул знамя из чехла, развернул и прошел с ним перед Аглаей строевым шагом взад и вперед, показывая, как он при-

близительно входил с ним в Берлин. Аглая попыталась, но не могла представить себе, как можно было таким образом войти в город во время тяжелого боя.

— Но ведь вы уже были командиром дивизии, — напомнила Аглая. — Вы же не могли прямо сами со знаменем...

— Да что вы говорите! — жарко возразил Федор Федорович. — Вы даже не можете себе вообразить, какой я был человек. Молодой... Ну как молодой? Когда война кончилась, мне было тридцать шесть лет, а уже дивизией командовал, меня солдаты бате́й звали. Но горячий я был, ой-ей-ей. Все норовил вперед выскочить. И со знаменем... А как же... А однажды в бою знаменосца ранило, и он стал падать. Я думаю, если знамя выронит, то на личный состав это как же морально подействует? И тогда я, понимаете, — он опять загорелся, задержался, — выскочил вперед, выхватил знамя и... — и стал рассказывать сцену, очень похожую на ту, что Аглая совсем недавно видела в каком-то кинофильме.

Аглая посмотрела на часы. Было около двенадцати. Она поднялась:

— Пожалуй, мне пора.

— Подождите, — остановил ее Бурдалаков.

Она посмотрела на него вопросительно.

— Забыл вам показать, — сказал Бурдалаков и из ящика письменного стола достал продолговатый предмет, который оказался кинжалом в серебряных ножнах. — Вот. Это мне в Самтредиа мой фронтовой друг генерал Шалико Курашвили подарил. Изготовлен в начале девятнадцатого века и был преподнесен генералу Александру Петровичу Ермолову. Помните, был такой завоеватель Кавказа?

Кинжал был прямой с желобком посредине и золотой рукоятью, концом которой была голова тигра с рубиновыми глазами, а по лезвию его шла черненная надпись, которую Аглая, прищурившись, осилила без очков.

— «Друга спасет врага паразит», — прочла она громко и посмотрела на генерала. — Что это значит?

— Сам думаю, — развел руками Федор Федорович, — и не могу понять. И Шалико не знает. Загадка какая-то, да и все. Так мы, значит, завтра утром, как всегда, у входа.

— Хорошо, — сказала Аглая с легким разочарованием. Федор Федорович проводил Аглаю до ее двери.

15

Завтра опять бегали, ели, гуляли, вечером он привел ее к себе допивать «Изабеллу» и показал альбом с газетными материалами, где были несколько интервью с ним, три больших статьи и огромное количество маленьких вырезок. Одна из статей называлась: «Мирные будни героя войны», другая: «На подступах», третья: «Никто не забыт, ничто не забыто» — воспоминания генерала о погибших товарищах, в том числе и о Серее Жукове. Но в основном это были заметки о разных парадах, собраниях, митингах, приемах и других торжественных церемониях, участником которых был генерал Бурдалаков, где его фамилия стояла в ряду с другими, иногда важными и громкими.

...Сидели, пили вино, вспоминали войну, говорили о болезнях, о нарушении природного равновесия, о молодежи, которая ведет себя распушенно: по улицам ходят в обнимку, в шортах и сарафанах, на пляже купаются в одежде настолько условной, что уже можно и вообще догола раздеться.

— А за границей, — сказал Федор Федорович, — вообще есть такие пляжи, где мужчины и женщины, совсем друг друга не стесняясь, купаются, в чем мамаша родила.

Говоря об этом, он морщился и плевался.

И вот наконец наступил момент, к которому неизбежно подвели Аглаю и генерала их отношения. Генерал как бы невзначай положил ей руку на колено, а сам повернул голову в другую сторону. Она вздрогнула, замерла и повернула голову в противоположную сторону.

— А погоды, — сказал генерал, — тоже теперь стали чем далее, тем более аномальные.

-- Да, — согласилась она односложно.

— Ни в коем случае не нужно кушать грибы, — сказал он и вдруг без всякого перехода кинулся на нее с такой яростью, с какой, может быть, брал Берлин. Завалил ее на спину, нырнул под юбку, ухватился за резинку. Она, не ожидавшая такой стремительной атаки, стала инстинктивно сопротивляться. Уперлась обеими ладонями в его колючее темя, надавила на него, и в это самое время, так бывает не только в кино, но и в жизни, раздался громкий стук в дверь. Он испугался и немедленно отпрянул в панике. Посмотрел на Аглаю, на стол, где стояло и лежало то, что было не допито и не доедено. В этой ситуации не было ничего противоестественного и противозаконного, тем более что они оба были как будто свободные люди. Но они не были свободные люди, они были советские люди, воспитанные как дети, в сознании, что каждое их желание может быть немедленно открыто, обсуждено, осуждено и наказано. В данном случае их могут лишить путевки, выгнать из санатория, пропечатать в журнале «Крокодил», устроить персональное дело, исключить из партии, и это была бы для него катастрофа, а для нее... Для нее, впрочем, ничего бы не было, но и она испугалась.

Поэтому, когда в дверь застучали, генерал стал быстро прибирать на столе, а она отскочила к противоположной стене и, торопливо поправив юбку, уставилась в окно, будто специально только за тем сюда и пришла, чтобы любоваться вечерним видом из чужого окна. Наконец Федор Федорович подошел к двери, приоткрыл ее и увидел дежурную Полину, модную дамочку с большой грудью, обтянутой кофточкой из материала «джерси». Она стояла с листком бумаги.

— Вам записка, — сказала она и заглянула в комнату.

— Спасибо, — сказал генерал, пытаясь загородить ей вид своим телом, расставив при этом руки, словно хотел взлететь.

— А у вас прибрать не нужно? — спросила Полина, стремясь увидеть что-нибудь хотя бы из-под его подмышки.

— А чего вы ждете? — спросил он.

— Ответ писать будете или нет?

— Еще не знаю. — Федор Федорович вдруг вспомнил, что он не мальчик, а генерал, к тому же вдовец, имеет право, ничего предосудительного не совершил и никому нет дела до того, чем он занимается. — Прочту записку, — сказал он резко, — и, если надо, вас позову. А если не надо... — Он задумался и, не придумав лучшего продолжения, заключил: — А если не надо, я вас не позову.

Он захлопнул дверь перед носом дежурной и, ворча что-то себе под нос, пошел назад к журнальному столику, где лежали его очки. Взял очки, прочел записку и позвал:

— Аглая Степановна!

Она обернулась и в еще не остывшем смущении подошла. Он молча протянул ей записку.

— Можно ваши очки? — спросила она, немного стесняясь того, что тоже нуждается в усилителе зрения, и прочла:

«Федька, я в Новороссийске, приезжай срочно. Л.Брежнев».

— И вы поедете? — спросила она.

Он посмотрел на нее удивленно, и она сама поняла, что сморозила глупость.

Не прошло и четверти часа, как генерал Бурдалаков в полной парадной форме с орденами, золотыми погонами, парчовым поясом, в надетой поверх всего длинной шинели и в высокой папахе, с портфелем в одной руке и на всякий случай со знаменем в другой спустился вниз к поджидавшей его правительственной «Чайке».

16

Поводом для столь срочного вызова генерала Бурдалакова было то, что свой шестьдесят третий день рождения Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, находясь в Новороссийске, решил отметить среди боевых товарищей. Леонид Ильич родился 19 декабря, не дотянув до сталинского дня рождения двух дней.

Получив столь неожиданное приглашение, Бурдалаков засуетился, что бы ему подарить высокому имениннику, вспомнил о кинжале, взял его и заколебался: дарить или не дарить? Надпись на лезвии его сильно смущала. Но поскольку ничего более подходящего у генерала с собой не было (а неподходящее такому человеку разве подаришь?), он все-таки положил кинжал в портфель и — поехал.

Был уже поздний вечер, когда машина с генералом, миновав открывшиеся перед ней зеленые ворота с красными звездами, въехала на территорию правительственной дачи недалеко от Новороссийска. За воротами машину тут же остановили. Дежурный офицер в плащ-палатке, скрывавшей погоны, приблизился к генералу и попросил предъявить документы. Над территорией дачи светила полная луна, такая яркая — хоть книгу читай. К тому же и прожектор у ворот. Но офицер включил еще и карманный фонарь, сверил фотографию с лицом и спросил:

— Давно снимались?

— А что, постарел? — спросил Бурдалаков кокетливо.

— Удостоверение надо обновить, — сказал офицер и задал следующий вопрос: — Оружие есть?

— Да вы что? — заверил Бурдалаков. — Откуда ж, какое же?

— А что в портфеле?

— А-а, в портфеле! — засуетился Бурдалаков, открывая замки. — Ничего в портфеле. Что может быть в портфеле? Смена белья, носки... Ах да! — Он вспомнил как раз в тот момент, когда открылся портфель. — Да вот это еще. Да вот есть, вот это... Вот.

— Дайте сюда! — Рука офицера шукой нырнула в портфель и выхватила кинжал. Офицер сунул непогашенный фонарик в карман и вынул кинжал из ножен. Посмотрел внимательно на Бурдалакова. — А говорите, нет оружия.

— Да это не оружие, — возразил Бурдалаков. — Какое же это оружие?

— А что же это?

— Это? — переспросил Бурдалаков. Так он когда-то в детстве переспрашивал задававшего ему вопросы учителя. Учитель тыкал на географической карте в полуостров Камчатка и спрашивал: «Что это?» А юный Бурдалаков переспрашивал: «Это?», надеясь, что подсказка упадет с неба. И сейчас так же переспросил.

— Разве это не оружие? — спросил офицер.

— Да нет же, — еще больше засуетился генерал, — да какое же это оружие, это подарок Леониду Ильичу на день рождения.

Подошел другой офицер, видимо более высокого, но тоже скрытого под плащ-палаткой звания. Спросил, в чем дело. Первый офицер объяснил. Второй офицер взял в руки кинжал, стал разглядывать и спросил с любопытством:

— А что значит «Друга спасет врага паразит»?

— Да вот сам не знаю, — сказал генерал, заискивая. — Может, условная фраза. Или грузинская народная мудрость. Кинжал-то старинный.

— Да видно, что не сегодня сделанный, — сказал военный и почему-то вздохнул. И, подумав еще немного, сказал: — Вот что, товарищ генерал, вы нам эту штуку оставьте, а мы разберемся и вернем вам в целостности и сохранности.

— Но не позже чем завтра утром, — предупредил Бурдалаков.

— Не позже, — согласился военный. — Может быть, даже сегодня вечером.

И козырнул, пропуская машину дальше.

Главная дача — особняк из белого камня с четырьмя колоннами — стояла над обрывом к морю, а несколько коттеджей поскромнее были разбросаны там и сям по участку. Пока Бурдалаков выбирался из машины, к нему подбежала горничная, или, как здесь говорили, нянечка, лет пятидесяти, в очках, с высокой прической, похожая на классную даму из фильмов о дореволюционной жизни.

— Меня звать тетя Паша, — сказала она, хотя больше годилась генералу в племянницы. Выхватила из его рук портфель и повела в комнату на втором этаже.

Комната была неплохая, с большой деревянной кроватью, с телевизором «Рекорд» и с умывальником.

— Завтракать будете завтра в главном корпусе, а ужин уже кончился, но я вам вот, — показала на тумбочку, — принесла гуляш, сырники и кефир. Чай в коридоре, в титане.

— А удобства во дворе? — спросил Бурдалаков, не скрывая своего разочарования.

— Зачем же? — успокоила тетя Паша. — На первом этаже. Как по лесенке спуститесь, вторая дверь налево. А следующая дверь — душевая.

И с данной ей трешкой удалась.

Притомившись с дороги, генерал ужинать не стал, а разобрал постель, снял мундир, надел пижаму. Хотел спуститься по малой нужде, передумал. Умывальник был высоко, пришлось подниматься на цыпочки. Может быть, потому, что над крышей как раз пролетал вертолет, генерал не слышал, как скрипнула дверь, а когда услышал покашливание и оглянулся, пришел в такое смущение, что готов был провалиться под пол. Перед ним в штатском костюме, но с множеством орденов стоял, улыбаясь и заложив руки за спину, Леонид Ильич Брежнев.

— Ой! — растерялся Бурдалаков, торопливо пряча орудие преступления. — Я извиняюсь... я это...

— Не тушуйся, — сказал Ильич, — дело житейское. Как говорится, только покойник не счт в рукомойник. — Он убрал руки из-за спины, и в одной из них Бурдалаков увидел свой кинжал. Брежнев положил кинжал на стол и заключил Бурдалакова в объятия, долго хлопал по спине и бормотал, как он рад его видеть.

— Рад, рад, честное слово, искренне рад!

— Я тоже рад, — сказал Бурдалаков.

— Ну ты рад, это понятно, это тебе по чину положено, — пошутил Брежнев, — а моя радость стоит дороже. И

почему я тебе еще рад, потому что фронтовое братство ценю. У нас же когда высокую должность занимаешь, то все тебя как будто исключительно любят, и никогда не знаешь, кто это по правде, а кто с целью подхалимажа. А наша с тобой дружба, она, как говорится, в огне проверена. А ты, я смотрю, не толстеешь. Диету держишь или же как?

— Бегаю, Леонид Ильич. И вам советую. Каждое утро сорок минут трусцой до второго пота, и никакого, извиняюсь, животика даже не будет.

— Животика! — повторил Брежнев. — Это не животик, а животина. Трудовая, как говорится, мозоль. Только бегать-то мне когда же? И к тому же, если я побегу, за мной еще взвод охраны увяжется. А я к тебе с этим. Мне начальник охраны принес. Он с прошлогоднего покушения бдительный. На всякий случай, говорит, у генерала изъясил. Ну, я ему шею намылил. Я ему говорю: это привез мой друг, а не Шарлотта Корде. Я же догадываюсь, для чего ты это привез.

— Правильно догадываетесь, — сказал Бурдалаков. — Только я хотел сюрпризом...

— Что ж делать, — пожал плечами Брежнев. — Придется обойтись без сюрприза. Я уж разглядел. Ценная вещь.

Бурдалаков не стал отрицать, что вещь действительно ценная, и рассказал, кому принадлежала раньше.

— Ермолову? — уважительно переспросил Брежнев. — Вот оно что! — Жадный до всего, что блестит, и не утоливший этого своего чувства, он нежно погладил кинжал по плоскости лезвия. — Как говорят у нас на Украине: визьмешь в руки, маешь вещь. А тигра смотри какая! Страшная! Ррррр! — зарычал он на тигра и радостно засмеялся собственной шутке.

Растроганный подарком, Леонид Ильич обнял генерала, похлопал по спине, пообещал, что кинжал найдет место на стене его дачи среди самых ценных экспонатов его оружейной коллекции. При этом он тоже обратил внимание на странную надпись:

— «Друга спасет врага паразит». Это что? Это как? Это в каком же смысле понимать? Как может спасти друга вражеский паразит?

— Да вот я сам голову ломаю, Леонид Ильич, и никак не могу сообразить.

— А может быть, в том смысле, что, если врага кусает, допустим, клоп, враг не может выспаться и потом плохо сражается. Или вошь, она может заразить врага сыпным тифом... Нет, — прервал сам себя Генеральный секретарь ЦК КПСС, — нет, я думаю, здесь имеется в виду что-то другое. Вот что, это кинжал грузинский, так? Возьмем его, пойдем ко мне, там найдем грузинского министра внутренних дел, спросим у него, он должен знать. Да можно в пижаме. Шинель накинь, и пойдем.

Луна висела над головой, как осветительная ракета, бледный свет изливался из неоновых фонарей, все видимое пространство казалось совершенно безлюдным, но впечатление было обманчиво — чуть ли не за каждым кустом таились агенты секретной службы.

— Опять полная луна, — сказал Брежнев недовольно. — Раньше любил полнолуние, а теперь нет. С тех пор как американцы там высадились, просто смотреть на нее не могу. Кажется, даже вижу — они там, как тараканы, ползают.

— А меня она по-другому тревожит, — сказал Бурдалаков. — Вспоминаю войну. Надо в разведку, а тут луна. Иной раз такое зло берет, что хочется в нее из зенитки пальнуть.

Грузинского министра искать не пришлось, он в фойе главного корпуса играл в шахматы со своим референтом, длинноносым и усатым.

— А, Эдуард! — обрадовался Брежнев. — Ты нам как раз и нужен.

Брежнев показал министру кинжал, показал надпись и спросил, что бы она могла значить. Министр повертел в руках кинжал и передал референту. Тот посмотрел, ногтем провел по острию, заметил, что сталь дамасская, обратил внимание на фамилию мастера.

— О-о! — сказал он. — Это настоящий Меладзе.

— Кто? — переспросил Брежнев.

— Отар Меладзе, известный оружейный мастер. Это, как у нас говорили, оружейный Страдивари.

Услышав такое, генерал Бурдалаков подумал, что он с подарком, может быть, погорячился. Но успокоился, прикинув, что за такой подарок можно получить третью звезду на погоны.

— Ха-ха, — засмеялся Брежнев, — я себя уже чувствую Ойстрахом.

— Зачем Ойстрахом? — сказал министр Эдуард. — Вы наш Паганини.

— Ну уж скажешь, — стыдливо потупился вождь, но видно было, что сравнение ему понравилось. — А надпись эта что значит? — спросил он референта.

— Ну, я думаю... — сказал референт и правда задумался. — Здесь, я думаю, не хватает одной запятой. Надо читать так: друга спасет — запятая — врага паразит.

— Ага! — обрадовался Брежнев. — Значит, друга спасет, а врага пара... Все равно ничего не понимаю.

— Ну как же, — терпеливо объяснял референт. — Друга спасет, ну выручит в тяжелом положении, а врага — паразит, нанесет ему панимаете, паражение. Помните, как у Пастернака: «Но параженье от пабеды ты сам не должен отличать».

— Ага! — сказал Брежнев. — Всё оказывается очень просто.

17

Леонид Ильич Брежнев, ныне полузабытый политический деятель, любил жизнь во всех ее сладостных проявлениях, отличался слабостью к женщинам, вкусной еде, дорогим автомобилям, ко всякого рода материальным знакам внимания: к орденам, оружию, золоту, драгоценным камням, ко всему, что блестит, звенит и побрякивает, и очень любил славословия. А день рождения — это такой повод для слов и подарков, что лучшего не бывает.

Шестьдесят три года хотя и не круглая дата, но и ее именинник и его гости отметили хорошо. Много было выпито разных не слабых напитков, много закушено, много произнесено задушевных и пышных тостов, восхвалявших неисчислимые достоинства юбиляра. До кровати Бурдалаков добрался к пяти утра, днем приходил в себя, вечером выступил перед личным составом крейсера «Пермь» (знамя все-таки пригодились) и только после обеда двадцать первого декабря, уже в день рождения другого великого человека, отправился назад в Сочи.

К чести генерала надо признать, что, хотя время, проведенное им в Новороссийске, и прошло в сплошном угаре, он об Аглае несколько раз вспоминал и думал... нет, не о том, чтобы связать с ней свою жизнь навсегда, но какое-то возможное развитие отношений не исключал. Понравилась она ему своей прямоотой. Не кокетничала, не строила глазки, суждения обо всем имела прямые и ясные, а при этом была женственна и еще достаточно привлекательна. Поэтому перед возвращением в Сочи генерал использовал привычный способ добывания дефицита: позвонил секретарю новороссийского горкома, тот позвонил председателю горисполкома, тот еще кому-то, и в конце цепи оказался главный в Новороссийске универмаг, где Федор Федорович приобрел женские часы «Заря» и духи «Огни Москвы», их любила его покойная генеральша.

Приехал он на место незадолго до ужина, поставил в угол знамя, снял шинель и, звеня орденами, пошел с подарками к соседке. Деликатно постучался в дверь. Никто не ответил. Он еще раз постучал. Дверь отворилась, и Бурдалаков увидел перед собой Вячеслава Михайловича Молотова, многолетнего сталинского сподвижника. И хотя Молотов давно уже был низвергнут с вершин власти и в привилегиях приравнен к номенклатуре второго ряда, Бурдалаков, не забывши, что это был в государстве второй после Сталина человек, так растерялся, что открыл рот, но никаких звуков произнести не мог, кроме «а», «о» и «у». Молотов сквозь чуть затемненные стекла пенсне смотрел на Бурдалакова, на его погоны и ордена тер-

пеливо и настороженно, ожидая, может быть, какой-нибудь провокации или даже ареста.

— Ы!, — сказал Бурдалаков.

— Ы? — переспросил Молотов.

— Не, — возразил Бурдалаков.

— Не понимаю, что вам угодно, — начал сердиться бывший вождь.

— А Аглая Степановна где же? — наконец выдавил из себя Бурдалаков.

— Не знаю никакую Аглаю Степановну, — сказал Молотов и закрыл перед носом Бурдалакова дверь.

Бурдалаков спустился вниз, встретил сестру-хозяйку Калерию Фроловну, и та ему сказала, что Аглая Степановна Ревкина покинула санаторий сегодня утром, за неделю до истечения срока, указанного в путевке. Как, что, почему, Калерия Фроловна не знала, а Федор Федорович приблизительно догадывался.

18

А всё получилось вот как.

Внезапный отъезд Федора Федоровича был Аглае очень неприятен. Не потому, что она рассчитывала на серьезное (хотя последняя встреча и могла зародить в ней кое-какие надежды), но потому, что произошло это неожиданно, второпях, накануне даты, которую ей хотелось бы отметить вместе с генералом.

А тут новая неприятность.

Утром 20 декабря пришло письмо от Диваныча, написанное кудрявым почерком с причудливыми завитушками и необычным стилем:

«Здравствуйте, Аглая Степановна! Добрый день или вечер!

Пишет вам ваш знакомый тов. Кашляев Д.И. полк-ник в отставке. И шлет вам свои поздравления в связи с девяностолетием со дня рождения Великого полководца нашей страны и

других народов Генералиссимуса тов. Сталина И.В. А также разрешите пожелать вам долгих лет здоровья и хор. жизни. Про нас писать нечего, погода стоит студеная, имеются перебои с поставками дров и угля населению. Кв-ра ваша находится в полном порядке, насколько можно судить по наружному виду дверей и окон и по показаниям соседей. Дедушка здоров. Вот и все. Желая вам, что вы наслаждаетесь полноцен. отдыхом и равномер. питанием, что бывает полезно в отношении здоровья и самочувствия.

Засим до свидания. Ваш знак. тов. Кашляев Д.И., полкник в отставке.

P.S. А также позвольте вам сообщить, что не далее как вчера ваш сосед гр. Шубкин М.С. был освоб. из-под стражи ввиду отсутствия сост. преступления и оголтелой кампании антисов. кругов в нек-рых зап. странах».

Письмо Диваныча, вернее, не само письмо, а этот постскрипtum очень Аглае не понравился и породил некоторые, как выяснилось, небезосновательные предчувствия.

19

В тот вечер она легла спать пораньше. Погода за окном была ясная, светила полная луна. Аглая долго смотрела на луну и пыталась найти на ней то, что когда-то в далекой прошлой жизни ей показывал Андрей Ревкин, тогда еще не муж, а боевой товарищ. Тогда они в составе группы комсомольцев, проводивших коллективизацию вместе с отрядом НКВД, в сумерках подошли к непокорной деревне Грязное и до утра залегли в стогах сена. Она оказалась с Андреем в одном стогу. Ночь была тихая, мирная, лунная. Был виден весь пойменный луг с темными стогами на нем и отдельными деревьями, которые как будто брели куда-то все вместе и каждое в одиночку и уходили в белый туман, поднимавшийся от реки. На фоне тумана совершенно черными казались расставленные криво избы деревни, там было сонно и тихо, только время от времени во сне мычали коровы и ни с того ни с сего, а может быть, что-

то предчувствуя, взбредивали и выли собаки. Сначала завывала одна, за ней другая, они начинали голосить хором, словно одна стремилась перевыть другую, и у людей, даже у залегших в стогах, тревожно было на душе. Но к середине ночи собаки успокоились, и наступила полная тишина. Только шуршало сено и стрекотали кузнечики. Светлячки летали перед глазами, как маленькие самолетики. Андрей потянулся к Аглае и стал тискать ее грудь, тогда еще молодую, упругую и никем не троганную. Сначала он тискал сквозь гимнастерку, а потом, расстегнув несколько пуговиц, и живьем. Она потянулась к нему, но прежде, чем отдаться, спросила как старшего и подкованного теоретически товарища, возможно ли двум молодым большевикам, выполняющим важное задание партии, думать о таком второстепенном деле, с которым он к ней приступил. Он ей сказал, что возможно, и сослался на Маркса, говорившего, что ему не чуждо ничто человеческое. И товарищ Ленин в письме Инессе Арманд писал, что, будучи материалистами и реалистами, большевики не могут отрицать объективных законов природы и между товарищами по партии, принадлежащими к разным полам, может возникать определенное влечение. Подавлять его бесполезно, избежать его невозможно, поэтому товарищам одного пола следует идти навстречу товарищам другого пола и удовлетворять обоюдные желания, чтобы потом не отвлекаться от выполнения действительно важных заданий.

Ревкин ее убедил, и Аглая отдалась ему, предупредив перед этим, что она, во-первых, девушка, а во-вторых, детей сейчас никаких не хочет. Она пустила его в себя не без страха, зная понаслышке, что первый раз это бывает больно. Чтобы не попортить одежду, она сняла с себя все, что было ниже гимнастерки. Но пока он возился с собственной одеждой, возникшая было страсть прошла и осталось любопытство, любопытство и страх, который оказался напрасным. К ее удивлению, ей не стало ни больно, ни приятно, ни неприятно. В какой-то момент ей даже показалось, что он промахнулся, и, только протянув руку, она убедилась, что это не так. Завершив дело, он, бере-

гая ее от возможной беременности, вылил ей на живот целую лужу. Она окунула палец и попробовала на язык. Он спросил: вкусно? Она сказала: похоже на сырое яйцо. Он, помявшись, спросил: а почему ты говорила, что ты девушка? Она сказала: я говорила, что девушка, потому что я была девушка. Я вообще никогда не вру и тебе врать не собираюсь. А почему же не было крови? — спросил он. Сама удивляюсь, ответила она. Потом ей врач объяснила, что у нее такая анатомия: половой жизнью ничто не нарушилось и оставалось ненарушенным до самых родов. Таким образом Аглая до родов могла считать себя по-прежнему совершенно невинной, а в некотором смысле невинной оставалась и после.

После этого она и Андрей лежали на спине, смотрели на луну, Андрей спрашивал: видишь, там брат режет брата? Она спросила: а что, там тоже классовая борьба? Он засмеялся и сказал: там классовой борьбы не может быть, потому что нет никаких классов. Она и на этот раз не поняла и решила, что там построено бесклассовое общество. Он опять засмеялся и уточнил, что там и общества нет, потому что вообще нет ничего живого. А какой же брат режет какого брата? Он терпеливо ей объяснял: братьев там тоже нет, но если взглядеться в эти пятна, то они похожи на людей, из которых один режет другого. Видишь? Видишь? — спрашивал он. Нет, отвечала она. Пятна вижу, а людей не вижу. Он тогда ей сказал, что у нее не хватает воображения. Она о себе это уже слышала. Ей еще в школе учитель сказал как-то в досаде, что у нее нет фантазии, чувства юмора и чувства прекрасного. У ее сестры Натальи (на год моложе Аглаи, она училась с ней в одном классе) учитель находил и фантазию, и чувства, то, и другое, и третье (а потом и четвертое, переспавши с ней в кабинете директора), а у нее — ничего. Впрочем, это все мало ее беспокоило, потому что помимо других чувств у нее не было чувства отсутствия чего бы то ни было. Она не всегда понимала шутки и не знала, для чего существуют стихи, балет или опера. Ведь в жизни люди не говорят стихами, не танцуют, когда в них попадает стрела и не поют на смертном одре.

Существование этих искусств Аглая допускала только в порядке исключения, когда они воспевают героев революции или войны, поддерживают боевой дух советских воинов или способствуют выполнению трудящимися производственных планов.

...Аглая лежала у себя в номере. Луна светила в окно, и на ней видны были те самые пятна, но они опять были просто пятна и не были похожи на братьев. Она вспомнила утверждение Андрея, что, если долго смотреть на луну, станешь лунатиком и будешь ночью в голом виде ходить по крышам. Она испугалась, она не хотела голой ходить по крышам, в ее возрасте это было бы опасно и неприлично. Аглая отвернулась к стене и закрыла глаза, а когда открыла, увидела, что то, чего она не хотела, уже случилось: она на крыше и голая. Удивилась, что так легко и неожиданно стала лунатиком. Она несколько не испугалась, ей было странно и интересно, что она голая идет по крыше и даже не идет, а как бы парит над ней, только время от времени слегка касаясь поверхности носками. Она надеялась, что крыша скоро кончится и ее никто не увидит, но крыша оказалась ужасно длинная. Сначала она была острая, потом стала плоская и бесконечная во все стороны. Аглая бежала, бежала, а навстречу стали попадаться какие-то люди с котомками и чемоданами, они шли не останавливаясь, бесконечной толпой, но при этом на нее все же поглядывали, а она просто не знала, что делать, одежды нет, и спрятаться не за что, на крыше никаких труб и никаких выпуклостей. Но вот она увидела что-то вдали, подумала, что это труба, но это не труба, а пьедестал, на пьедестале написано «И.В.Сталин», но на нем стоит живой Л.И.Брежнев в мундире Генералиссимуса и со знаменем «Даешь Берлин». Она спросила почтительно: «А вы разве тоже брали Берлин?» Он сказал: «А как же? Вдвоем с Федей Бурдалаковым брал». — «А я и не знала, — сказала Аглая, — а где же был Сталин?» — «А он стоял здесь». — «А где он сейчас?» — «Там». Она побежала туда, куда показал ей Брежнев. И увидела Сталина, вернее, его спину. Он шел, о чем-то задумавшись, не спеша и делал ногами такие движе-

ния, как будто гнал перед собою мяч. Она знала, что впереди его ожидает опасность, хотела предупредить, предотвратить... сделала сильный рывок и вдруг поскользнулась и полетела на землю, сама тому удивляясь, ведь лунатики, как она слышала, никогда не падают с крыш. Она сначала удивилась, потом испугалась и, проснувшись, долго не могла понять, где она и что с ней.

На дворе еще стояла ночь, луна продолжала светить, хотя за это время сильно сдвинулась к горизонту. Аглая зажгла прикроватную лампочку, нашарила на тумбочке свои часики, посмотрела. Было без двадцати шесть утра.

Спать больше не хотелось, сон хорошо помнился, и она стала думать, к чему бы такое видение. И вспомнила, что сегодня 21 декабря, день Его рождения, девяносто лет. Девяносто лет, стала она думать, возраст большой, но для некоторых людей достижимый. Ее тетка Елена Григорьевна жила девяносто шесть лет, пустая, глупая, никому ни для чего не нужная. Почему же такому человеку не дожить лет хотя бы до сотни? Сколько он мог бы еще сделать, сколько успеть.

Она быстро оделась и спустилась вниз, туда, где около стола с телефоном на узкой лежанке спала дежурная Екатерина Григорьевна в спущенных к щиколоткам толстых вязанных чулках и в войлочных тапочках. Заслышав шорох на лестнице, дежурная немедленно пробудилась, скинула на пол ноги и сперва посмотрела на стоявшие у входа большие часы, а потом вопросительно на Аглаю.

— Доброе утро, — сказала Аглая.

— Доброе, — ответила та, по входящему в моду обычаю опустив сущестительное.

— Не скажете ли, когда к нам приносят газеты? — спросила Аглая.

Екатерина Григорьевна еще раз посмотрела на часы и сказала, подавляя зевоту:

— Часов в девять приносят, а что?

— А раньше, — спросила Аглая, — где-нибудь они бывают?

— На мор... — сказала дежурная, широко открыв рот и прикрывая его ладонью, — вок... — потрясла головой, — за... ле.

Аглае повезло. На морвокзале киоск уже работал, и газеты только что подвезли из местной типографии, где «Правда» печаталась с матриц, доставляемых самолетом. Аглая купила один экземпляр, который не только пах краской, но был еще теплым, словно вышел из пекарни, а не из печатной машины. Аглая увидела на первой странице подвальную статью с крупным заголовком «К 90-летию со дня рождения И.В.Сталина», и что-то сразу ей не понравилось. Может быть, то, что без портрета. Может быть, то, что «...со дня рождения И.В.Сталина», а не «товарища И.В.Сталина». Ей не терпелось прочесть статью тут же, но спохватилась, что забыла очки, а без них зрение постигало только крупные буквы. Побежала в гостиницу.

Дежурная уже прибрала свое ложе и сидела под лампой у телефона.

— Купили газетку? — спросила она вежливо.

— Купила, — буркнула Аглая и поднялась к себе, сгорая от нетерпения.

То, что она прочла, потрясло ее, может быть, даже больше, чем речь Лысого на двадцатом съезде. От Лысого ничего хорошего ожидать нельзя было, а эти... Они начинали так обещающе... Статья ничем не отличалась от тех, которые печатались во времена Лысого. И вашим, и нашим. Некоторые заслуги признавались, но с первых строк с явным преуменьшением и оговорками. ...С юных лет включился в революционное движение. Принимал активное участие в создании газет «Звезда» и «Правда», в руководстве деятельностью большевиков, вместе с другими возглавлял борьбу против троцкистов, правых оппортунистов...

Вместе с другими, а не вдвоем с Лениным, не один из самых главных. И уже во второй колонке бесстыдное признание: «В оценке деятельности Сталина КПСС руководствуется постановлением ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его последствий».

Дальше сплошное разочарование: «Вместе с тем Сталин допускал теоретические и политические ошибки, которые приобрели тяжелый характер в последний период его жизни... В дальнейшем стал постепенно отступать от ленинских принципов... Факты неоправданного ограничения демократии и грубого нарушения социалистической законности, необоснованные репрессии... допустил определенный просчет в оценке сроков возможного нападения... На своем XX съезде партия разоблачила и осудила культ личности. Прodelала громадную работу по восстановлению... »

Приступ безумия охватил Аглаю. Она мяла газету, рвала ее на куски, плевала на них, оплеванное бросала под ноги и топтала. И вдруг замерла, пораженная страшной мыслью: ее отправили сюда, выманили из родного дома специально, чтобы убрать Его и выкинуть на свалку, как они сделали это со всеми другими его памятниками во всех других городах Советского Союза. Они специально подсунули ей этого генерала, который развлекал ее и отвлекал от главной задачи.

— Какая я дура! — сказала она сама себе, и повторяя без конца «дура, дура», кинулась к телефону и попросила дежурную вызвать срочно такси.

Время было раннее, работы мало, машина пришла скоро. Аглая спустилась с большим чемоданом, дала дежурной пять рублей, попрощалась и уехала на вокзал.

20

Ей повезло купить купейный билет. Поезд в это время года был почти пуст, и от Сочи до Воронежа она ехала одна. У нее было нижнее место, но она сама залезла наверх, надеясь, что здесь ей никто не помешает. Весь день лежала, думала и не могла понять теперешних руководителей. Даже Лысого она понимала лучше. Тот хотел сделать карьеру на разоблачении вождя, может быть, даже мстил Сталину за прежние унижения, добивался дешевой популярности у народа, стремился понравиться Западу, а эти-то к чему вели де-

ло? Для чего свергали Хрущева, издавали идеологические постановления, соединяли обкомы, закрывали журналы, давали диссидентов..

В Воронеже в купе вошел и проехал два перегона пожилой человек в форме железнодорожника. Его сменили два майора танковых войск и женщина, жена одного из них, который звал ее Пончик. Офицеры тут же достали бутылку водки, а Пончик — завернутую в газету жирную жареную курицу. Муж Пончика сходил к проводнику, принес четыре чайных стакана, а другой майор поднял голову к Аглае:

— Прошу прощения, дама, не желаете ли еоставить компанию?

— Спасибо, — отказалась Аглая, но потом пожалела, слыша звон стаканов и хруст разламываемой курицы. По разговору военных она поняла, что они служат в Чехословакии, и, свесив голову с полки, поинтересовалась, а как там ведет себя контрреволюция.

— В каком смысле? — спросил муж Пончика.

— Я имею в виду, сильны ли у чехов антисоветские настроения?

— Сильны, — сказал майор.

— Примерно такие же, как у нас, — добавил его товарищ.

— Скажите, — спросила она, волнуясь, — а к товарищу Сталину в армейской среде в целом какое отношение?

Внизу помолчали, а потом муж Пончика сказал:

— Знаете, дама, у нас так принято — мы когда выпиваем, о политике не говорим.

— А когда трезвые, тем более, — уточнил другой майор.

— Но вообще, — сказал муж Пончика, — мы, советские офицеры, внутреннюю и внешнюю политику партии целиком и полностью одобряем.

Офицеры явно опасались говорить, что они думают, и это навело Аглаю на печальные раздумья о том, до чего довели людей нынешние руководители. Даже боевые офицеры боятся выражать свое мнение. При этом ей казалось, что раньше боевые офицеры свое мнение выражать не боялись.

Ночью ей приснился сон, что какие-то люди вытаскивают из квартиры статую Сталина в гробу, и руководят выносом Поросянинов с Микояном. Видение было таким страшным и неприятным, что она, как и последнюю ночь в гостинице, стояла и вскрикивала.

— Что с вами? — спросила ее Пончик встревоженно. — У вас что-нибудь болит?

— Нет, нет, — пробормотала она и тут же опять закричала: приснилось, что Он лежит на городской свалке, живой.

Прибыв в Долгов, она на станции схватила какой-то самосвал и за рубль доехала до дома. Она бежала по лестнице, чуть не сбив с ног Шубкина, который спускался навстречу, насвистывая свою любимую «Бригантину».

Рука дрожала, ключ не попадал в замочную скважину. Наконец она справилась с замком, толкнула дверь, бросила чемодан у порога, кинулась в гостиную...

...Он стоял на своем месте, опустив плечи, печальный, покрытый пылью, окончательно признавший свое поражение.

— Товарищ Сталин! — сказала Аглая и упала перед ним на колени.

Обхватила руками его железные ноги, прижалась щекой и зарыдала в голос.

часть четвертая

СОМНАМБУЛИЗМ



РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС - В ЖИЗНЬ



КРЕПНИ СОЮЗ
СЕРПА
И
МОЛОТА!

Вот выписка из краткой медицинской энциклопедии:

«Сомнамбулизм (от латинского *somnus* — «сон» и *ambulus* — «хожу»), лунатизм, снохождение — особый вид нарушения сна, во время которого страдающие этим расстройством, полностью не просыпаясь, автоматически совершают ряд последовательных, чаще всего обыденных действий, перекладывают попавшие под руку вещи, передвигают предметы, производят уборку комнаты, одеваются, блуждают и т.д. Воспоминания о совершенных действиях при пробуждении отсутствуют. Это расстройство возникает при ряде заболеваний — психопатии, эпилепсии, травме головного мозга и сильном нервном потрясении. Рассказы об исключительных поступках лунатиков (хождение по карнизам многоэтажных домов и пр.) относятся к небылицам».

Сомнамбулизм. В похожее состояние впала Аглая Степановна Ревкина лет примерно на двадцать. После санатория в ней произошло нечто такое, в результате чего она перестала интересоваться событиями, людьми, собой и своим постояльцем. Бегать бросила, пить начала. Полностью не засыпала и полностью не просыпалась, механические действия совершала. Вставала, курила, умывалась (не всегда), пила чай, убирала комнату (редко), шла в магазин, покупала чекушку и что-нибудь закусить, возвращалась, выпивала (немного), ела (мало). За постояльцем ухаживать вообще перестала, жила, не обращая на него внимания, как со стариком, с которым прожита жизнь, говорить больше не о чем, все переговорено. На праздник на нашей улице надежду похоронила. «Основы ленинизма» учить перестала, других книг не читала, телевизор включала время от времени, но каждый раз убеждалась, что

там ничего интересного: только партийные съезды, хоккейные матчи, фигурное катание, Седьмое ноября, Первое мая и дни рождения Брежнева.

Советская жизнь вообще не отличалась разнообразием. Каждый человек, путешествуя по стране, видел на всех перегонах вдоль железнодорожного полотна одни и те же выложенные красными камешками слова: «Слава КПСС». Или: «Миру — мир». В городах главные здания были украшены портретами членов Политбюро ЦК КПСС и транспарантами с одними и теми же словами: «Народ и партия едины». Во всех без исключения кинотеатрах страны над экраном на красном полотнище белыми буквами были написаны ленинские слова: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Все почтовые отделения Советского Союза были украшены цитатой из Владимира Ильича: «Социализм без почты и телеграфа — пустейшая фраза», ни одна электростанция или подстанция не обходилась без изречения того же автора: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны».

Жизнь советских людей вообще была скучной, а в те годы и вовсе застыла на месте. Так было для многих людей, а для Аглаи тем более. Протекавшее перед глазами запоминалось отдельными пятнами вне какой бы то ни было связи и хронологии. Короткое лето, длинная осень, суровая зима, а зимой всякие недомогания на почве авитаминоза, старости и алкоголизма.

В универмаге в очереди за стиральным порошком задавили старушку. Потом или раньше было солнечное затмение. От Марата из Лондона пришло однажды письмо. Когда и о чем, она вспомнить не могла. Два воспоминания были связаны с Шубкиным. Шубкин крестился, и Шубкин уехал в Израиль. Если описать период с начала семидесятых и почти до середины девяностых годов, основываясь только на том, что было замечено и запомнено Аглаей, то на пересказ всего за это время случившегося одной страницы хватило бы за глаза. Но есть у нас показания других людей, присутствовавших в данном

времени неподалеку от Аглаи, да и сам рассказчик тоже был кое-чему свидетелем.

2

Крестил Шубкина на дому бывший Аглаин сосед, сын отца Егория и сам священник, отец Дионисий, в детстве известный как Дениска. Потом, к другому имени не привыкши, стали звать его поп Дениска, а потом поп Редиска: этому прозвищу способствовал цвет, со временем приобретенный, поповского носа. Поп Редиска тоже считался в Долгове диссидентом, после того как совершил мелкое хулиганство. Местные партийные власти упразднили единственную в городе церковь Козьмы и Дамиана, чему Редиска противодействовал в непристойной форме, а именно: в состоянии алкогольного помутнения, имея на себе рясу, он среди бела дня мочился с колокольни на уполномоченного по делам религий товарища Шикоданова. За что светскими властями был посажен на десять суток, а властями церковными — расстрижен. Церковные чины обвиняли его еще и в том, что в литургии, молебнах и проповедях он мало считался с канонами и вел службу по собственному разумению, допуская чересчур много отсебятины.

Законности расстрижения поп не признал и продолжал окормлять свою паству неофициально и с нарушением всех канонов — у себя на дому или по вызову: крестил, венчал, причащал, отпевал, святил воду, куличи и имущество.

На крещении Шубкина я присутствовал случайно. Это, наверное, было уже где-то в середине 70-х. Я должен был вернуть ему какую-то книгу, кажется Джиласа, данную мне для прочтения, как всегда, на одну ночь. Утром я запихнул книгу за пазуху и отправился к Шубкину. Правду сказать, немного при этом трусил. Я знал, что за домом Шубкина ведется пристальное и не очень даже скрытое наблюдение, что каждого проходящего туда и оттуда берут на заметку. А могут и остановить. А если остановят и найдут книгу? Ну что я скажу? Что

случайно нашел где-нибудь на улице? Что мне кто-то ее подбросил? Пожалуй, скажу, что сам собирался как раз вам в КГБ отнести. Короче говоря, страшно было, но все же пошел. Поднявшись на второй этаж, постучался условно: тук-тук, потом тук-тук-тук, и еще раз тук. Дверь открыла Антонина в цветастом переднике и с большой кружкой в левой руке. Увидев меня, она приложила палец к губам и прошептала:

— Марк Семенович крестятся.

— Тогда я в другой раз, — сказал я.

— Голубчик, вы там что шепчетесь! — услышал я бодрый голос Шубкина. — Идите сюда! Не бойтесь.

Я вошел в комнату.

Тут нельзя обойтись без описания этого жилища, хотя бы краткого. Комната эта за время обитания в ней Шубкина превратилась Бог знает во что. Все четыре стены от пола до потолка были заняты грубо сколоченными стеллажами, а стеллажи были забиты книгами. На вертикально стоящих лежали еще положенные плашмя. Здесь же были свалены еще какие-то бумаги, рукописи, письма, пожелтевшие газеты. Но на полках все не умещалось, поэтому еще горы, кипы, завалы книг, старых газет и прочих бумаг громоздились на полу под стеллажами. Книгами и бумагами наполовину было закрыто единственное в комнате окно. Надо упомянуть еще фотографии. Очень много фотокарточек самого Шубкина, Антонины, знакомых и друзей. Друзей и знакомых у Шубкина было столько, что всех их я знать, конечно, не мог, но среди них были и Адмирал, и Распадов, и Света Журкина, да и я сам тоже в нескольких вариантах. Но самой интересной частью этой постоянной фотовыставки были кумиры, состав которых за время моего знакомства с Шубкиным радикально переменялся. Раньше тоже менялся, но постепенно. Я помню среди шубкинских портретов были Ленин, Маркс, Дзержинский, Пушкин, Лев Толстой, Горький, Маяковский. Потом Горького заменил Хемингуэй, а Маяковского — Пастернак. Одно время выставку украшали дедушка Хо, Фидель Кастро и Че Гевара. Теперь все перечисленные исчезли, на полках их сменили дешевые

иконы и портреты Сахарова, Солженицына, отца Павла Флоренского и отца Иоанна Кронштадтского.

Войдя в комнату Шубкина, я застал самого Шубкина в весьма странном виде. Из одежды на нем были только кальсоны с подвернутыми штанинами и подпоясанные солдатским ремнем с латунной бляхой. Он стоял босыми ногами в большом эмалированном тазу с водой, а рядом с ним хлопотал поп Редиска, тогда еще довольно молодой, но уже неопрятный, невымытый, с всклокоченной бородой с навсегда засохшим в ней тараканом. Насчет таракана это, может быть, обман памяти, трудно себе представить, чтобы этот таракан, если даже его не вычесать, сам бы по себе никогда не слетел. Но вот мне так помнится, что он в бороде отца Редиски всегда присутствовал.

Описывая попа Редиску, я заранее предвижу обвинения в недоброжелательстве и даже кощунстве. Я знаю, про меня скажут, что у меня нет ничего святого, что я насмехаюсь над верой, церковью и всех священнослужителей изображаю в образе попа Редиски. Скажу сразу, что это не так. Над верой и церковью я не смеюсь, к священнослужителям отношусь в целом с почтением, а в образе попа Редиски изображаю только попа Редиску. Его лично, одного и единственного в своем роде. Мне приходилось встречать многих других священников, и все они отличались исключительной опрятностью. Каждый день умывались, чистили зубы, расчесывали бороду, а одежду меняли, стирали и отдавали в химчистку. Но поп Редиска был именно такой, и что я могу с этим поделать?

Так вот, я вошел, когда церемония была в самом начале. Шубкин стоял в тазу с водой лицом к двери. Редиска был рядом. Я поздоровался с обоими и, немного смущенный, задержался в дверях, чувствуя, что, может быть, вторгся в чужую тайну.

— Проходите, голубчик, — сказал Шубкин бодрым и громким голосом. — Не стесняйтесь. И я не стесняюсь. Я стыжусь того, что со мной было, а сейчас я верю, что я на правильном пути. Правда, батюшка?

— А Бог его знает, — рассеянно сказал батюшка. И, осмотрев меня с сомнением, спросил: — Крестным отцом хотите быть?

— Хочу, — сказал я.

— Тогда становитесь по правую руку крещаемого.

— Только я некрещеный, — предупредил я.

— Некрещеный? — переспросил поп. — А куда ж вы лезете в крестные?

— Я не лезу. Вы спросили, хочу ли я, и я ответил — хочу. А если нельзя, то...

— Ну конечно, нельзя. Я вообще обновленец, за каноны слепо не держусь, но чтобы брать в крестные некрещеного, это, знаете... Может, давайте так сделаем: сначала вас окрестим, а потом вы уже... Хотя, — перебил он сам себя, — ладно. У вас компас есть?

— Компас? — удивился я. — У меня? С собой? Зачем? Я же в городе, а не в лесу и не в море.

— Да, да, я понимаю, — вздохнул священник. — Но дело в том, что нам надо крещаемого поставить лицом к востоку, а мы не можем определить.

— Погодите, батюшка, — сказал крещаемый, — что это вы говорите? Как это мы не можем определить? У меня по ночам Большая Медведица видна вон в том углу окна. Полярная звезда там, значит, восток здесь...

С этими словами он повернулся лицом к правому углу, как раз туда, откуда смотрело на него красными корешками многотомное собрание сочинений Ленина.

— Хорошо, — сказал батюшка. — Теперь руки опустите вниз, голову наклоните, вид должен быть смиренный.

Он подошел к Шубкину, снял с него ремень и швырнул далеко в угол. Затем, сложив губы трубочкой, начал дуть ему в лицо. Не знаю, как Шубкин удержался на ногах, я стоял за ним, и то от запаха сивухи мне стало не по себе.

— Господу помолимся! — провозгласил священник и сначала перекрестился сам, а потом трижды перекрестил крещаемого и тонким голосом запел: — Во имя Твое, Боже

истины, и едиnorodного Твоего Сына и Святого Твоего Духа я возлагаю руку на раба твоего Марка, который к Твоему святому имени обратился и под сенью крыл Твоих укрывается. Антонина, — прервал сам себя батюшка, — а ты что стоишь?

— А что делать? — спросила она.

— Лей воду на голову.

— Щас, — сказала она и кинулась к дверям.

— Ты куда?! — закричал батюшка.

— За водой.

— Глупая женщина! — рассердился поп. — Из таза надо брать воду. От ног брать, на голову лить. Что откуда исходит, то туда и уходит. Мы исходим из праха и в прах уходим. Вода исходит из воды и уходит в воду. В этом есть тайный смысл нашего бытия. Бери, бери воду. Лей тонкой струей.

И опять запел:

— Удали от Марка прежние заблуждения, исполни его надеждой, верой и любовью, и пусть он уразумеет, что ты — единственный Бог истинный и с Тобою Сын Твой едиnorodный Господь наш Иисус Христос и Святой Твой Дух.

Шубкин стоял в тазу тихий, покорный, с мокрой головой и бородой, в мокрых кальсонах и мелко дрожал от холода. Антонина набрала новую кружку.

— Хватит пока, — сказал Редиска Антонине и, повернувшись к Шубкину, заговорил вдруг чуть ли не басом: — Крещаемый раб Божий Марк, признаешь ли ты, что прошлые твои веры были суть заблудительного свойства?

— Признаю, батюшка, — тихо повинулся крещаемый.

— Отрекаешься от заблуждений?

— Отрекаюсь.

— Тогда, — сказал батюшка и вдруг протянул правую руку в сторону полок с ленинскими томами, и голос его зазвенел: — Вот оно, дьявольское учение, коему ты поклонялся. Проклинаешь ли ты его?

— Проклинаю! — решительно ответил крещаемый.

— Подуй на него и трижды плюнь на него.

Шубкин проворно выпрыгнул из таза и, оставляя мокрые следы, подбежал к собранию сочинений и стал плевать на книги в красном переплете, вытаскивать их и швырять на пол, рыча, как собака. Батюшка подбежал к Шубкину и тоже стал швырять на пол книги, приговаривая:

— А ты, о сатана, о дьявол, враг Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога нашего, заклинаю тебя, духа наглого, скверного, нечистого, вселукавого, омерзительного и чуждого, силою Иисуса Христа заклинаю: изыди из человека сего, сейчас, немедленно и навсегда, и не входи в него более.

В это время откуда-то из-за книг вылетел и упал на пол лицом вверх портрет Ленина в деревянной рамке и под стеклом, очевидно ранее Шубкиным спрятанный. Стекло, как ни странно, не разбилось. Владимир Ильич с красным бантом в петлице шурился из-под приложенной к козырьку кепки ладони, с доброй улыбкой смотрел на Шубкина и на всех нас, совершающих столь странные действия. Поп Редиска, увидев это лицо, сначала оторопел, растерялся, но тут же, придя в себя, простер к портрету руку с вытянутым указательным пальцем и закричал истерически:

— Вот он, Антихрист, отвратительный, премерзкий и превонючий! — Он ступил на портрет, стал топтать его с остервенением, плюясь и приговаривая: — Сгинь, порождение тьмы и коварный ловец заблудших душ! — Батюшка был в кирзовых сапогах и, очевидно, с подковками. Стекло хрустело и лопалось под подошвами. — А ты что стоишь? — рывкнул он Шубкину. — Плюй на него, топчи его!

— Я, батюшка, боюсь. Я же босой.

— Не страшись! — закричал батюшка. — Раз ты уверовал, помни: ни один волос не упадет с твоей головы без воли Господа. Плюй на него, топчи его — и не будет нанесено тебе никакого вреда. Ну?

Шубкин, еще не укрепившись в вере своей, ступил босыми ногами на портрет с опаской и, подгибая пальцы, начал ходить по стеклу осторожно, но, видя, что оно в самом деле не режет его ступни, что безопасность его обеспечена Высшею

силой, вошел в раж и стал, подпрыгивая, топтать дорогой совсем недавно образ и плевать с еще большей яростью, чем Редиска. А тот бегал вокруг крещаемого и кричал поверженному дьяволу:

— Удались отсюда, ничтожный и косоглазый, пойми тщету своей силы, даже и над свиньями не имеющей власти. Вспомни о Том, Кто послал тебя вселиться в свиное стадо и вместе с ним сбросил в пропасть. Заклинаю тебя спасительным страданием Иисуса Христа, Господа нашего, и страшным пришествием, ибо придет Он без промедленья судить всю землю, а тебя с твоим сопутствующим войском в геенне огненной казнит, во тьму наружную извергнет, ибо держава Христа, Бога нашего с Отцом и Святым Духом ныне, присно и веки веков. Аминь.

С этими словами батюшка вздохнул, на секунду затих. Шубкин стоял рядом, усталый от проделанной работы, но невредимый. Лик Ленина под осколками стекла исказился и теперь в самом деле был похож на чертовскую образину.

— Станьте опять в воду! — устало сказал священник.

Шубкин повиновался.

— Выйдите!

Шубкин вышел.

— Станьте еще. Повторяйте за мной: «Верую в единственного Бога, Всемогущего Отца, Творца неба и земли, и всего, что видимо и невидимо, и в Иисуса Христа, едиnorodного Сына Божия, истинным Богом рожденного, Отцу единосущного и Им создано все. Это Он ради рода людского, нас спасая, сошел с небес, в человеке — от Святого Духа и Девы Марии воплотился и за нас был распят. Он страдал, погребен и воскрес, а ныне, взойдя на небеса, он у Отца по правую руку восседает и явится вновь с победой судить и живых, и умерших, и царство Его навеки. И в Святого Духа, Животворящего Господа от Отца исходящего — с Отцом и Сыном мы и ему поклоняемся, и Его, вещавшего устами пророков славим». Говорите за мной: верую в соборную апостольскую Церковь, святую и единственную, признаю одно лишь крещение, ради прощения

грехов, воскресения умерших с надеждою ожидаю и жизни в веке грядущем. Аминь.

Долго еще продолжался обряд и завершился тем, что священник надел на новокрещеного крест, обрядил его в сухую одежду, а Антонина вытерла пол, выжала, положила мокрые кальсоны на батарею и вынесла воду. После этого сели за стол отметить событие. Выпили водки, закусили жареной картошкой с котлетами. Еще выпили.

За столом батюшка меня спросил, не желаю ли и я все-таки креститься.

Я ответил уклончиво, мол, ладно, когда-нибудь.

— Смотрите, голубчик, — сказал новокрещеный, — не успеете, плохо будет. Будут вас черти жарить на сковороде. Правда, батюшка?

— Правда, — подтвердил батюшка.

— А я так не думаю, — сказал я. — Я, конечно, погряз в грехе, но это же чертям должно нравиться. Жарить они будут тех, кого ненавидят. Праведников.

3

Из того времени Аглая почти ничего не помнила. Крещение Шубкина прошло мимо ее внимания, а вот от отъезда его у нее в памяти что-то осталось. Он постучался к ней с бутылкой какого-то иностранного напитка. Она удивилась:

— Вы ко мне?

— Да вот, — сказал Шубкин, — хочу проститься. Уезжаю.

Она подумала и, посторонившись, сказала на «ты», как раньше:

— Зайди!

Провела его на кухню, усадила напротив себя. Он поставил бутылку на стол и сказал: это кальвадос, яблочная водка.

На закуску у нее была только картошка в мундирах.

— И куда? — спросила она. — В Америку?

— В Израиль.

— Да? — удивилась она. — А как же ты там будешь жить? Ведь там же арабы. Страшно должно быть.

— Вот уж чего от вас не ожидал, так это разговора о страхе, — сказал Шубкин. — Вы же партизанка и героиня.

— А! — махнула рукой Аглая. — Была героиня. По дурости. Но я-то ведь за родину воевала. За родину и за Сталина...

— Ну так и я за то же, — пошутил Шубкин. — За историческую родину и за Менахема Бегина.

— А-а! — сказала Аглая. — Если так, то конечно. А я смотрю, среди вашей нации тоже смелые люди бывают.

— Да попадаются, — согласился Шубкин.

— Да-да, — покивала она. — А то все говорят: евреи, евреи. А почему такое мнение? Может, вам другое название надо придумать?

— Ну ладно, — поднялся Шубкин. — Пойду уж.

— Ладно. — Провожая Шубкина до двери, вдруг удивилась: — Мне самой чудно, но я к тебе привыкла. Би-би-си твое с тобой вместе слушала.

— Минутку, — сказал он.

Вышел и вернулся с приемником «Спидола» и с какой-то книгой. Протянул ей приемник:

— Вот. Возьмите.

— Да ты что! — Она испугалась. — Дорогая вещь.

— Ничего. Приемник, между прочим, переделан. Помимо основных коротких волн, есть дополнительные. Шестнадцать и девятнадцать метров. Можете слушать Би-би-си, «Свободу», «Голос Америки», «Немецкую волну». А это мой роман «Лесоповал».

Она в тот же вечер принялась читать, но дальше большевика, хрипевшего что-то про Ленина, не потянула.

Вечером у Шубкина была прощальная вечеринка. Пришли члены клуба «Бригантина», драмкружка имени Мейерхольда, а с ними и поп Редиска. Выпили, отслужили молебен, спели песню «Бригантина поднимает паруса».

А утром, когда Шубкин и Антонина погружались с вещами в вызванное такси, Аглая в шлепанцах сбежала к ним по-

прощаться. Шубкину крепко пожала руку, а Антонину неожиданно для себя обняла и чмокнула в щеку.

Видевшая это Шурочка-дурочка думала, что это ей помешалось.

4

Все, кто слушал в тот год «враждебные голоса», знали, что отъезд Шубкина был результатом ультиматума, предъявленного ему нашими органами. Западные радиостанции расценили это событие как очередной успех КГБ в борьбе с инакомыслием. Передавали подробности: кто Шубкина провожал в аэропорту Шереметьево-2 и кто встречал в аэропорту Вены. Но советские средства массовой информации как в рот воды набрали. Это была новая тактика — замалчивать диссидентов, не поднимать вокруг них шумиху, не делать им лишней рекламы. Разумеется, в нашей районной печати о Шубкине тоже не появилось ни слова. И вдруг месяца через два или три, когда многие в самом деле стали Марка Семеновича забывать, «Долговская правда» разразилась разнузданным фельетоном «Старье берем». Где была в искаженном виде изложена вся его биография. Что будто бы, происходя из зажиточной еврейской семьи (на самом деле отец Шубкина был бедным портным), он с детства проникся идеями сионизма. Вступил в партию для того, чтобы подрывать ее изнутри. Совершил ряд преступлений против советской власти, но в конце концов был ею великодушно прощен. Ему была дана возможность пересмотреть свои взгляды и исправиться, но, обуреваемый нездоровым честолюбием, Шубкин стал искать дешевой славы за пределами выросившей его страны. Написал и опубликовал клеветническое и бездарное произведение «Лесоповал» и постарался продать его подороже. Поставлял западным спецслужбам клеветнические материалы о Советском Союзе. За что его хозяева платили ему не столько деньгами, сколько бывшим в употреблении тряпьем. Тем, которое американцы выкидывают в мусор. И вот финал, подготовленный всей логикой предыдущей

жизни. Смена идеалов закончилась изменой родине. И он сам выкинут на помойку как сильно поношенный товар, называемый на Западе *second hand*, как старье, уже ни в каком смысле не пригодное ни к чему. В конце концов в появлении такого фельетона ничего необычного не было. Поклепы на диссидентов время от времени печатались во многих наших газетах, и «Долговская правда» не была исключением. Удивляло не появление фельетона, а имя автора — Влад Распадов. Тот самый Распадов, которого Марк Семенович Шубкин считал своим лучшим учеником. И который, между прочим, до самого отъезда поддерживал с учителем отношения и участвовал в его проводах. Шубкина на вокзал провожал весь литературный кружок «Бриган-тина», и Распадов был вместе с другими.

Понятно, что фельетон вызвал среди членов «Бригантины» и в более широком кругу заметный резонанс. Многие перестали с автором здороваться, а Света Журкина, за которой Влад ухаживал, швырнула ему в морду его сборник стихов «Касание». Некоторые все-таки рвать с ним отношения не торопились, предполагая, что статья вызвана нажимом, оказанным на него органами. Говорили, что его вызывали Куда Надо и угрожали сроком за распространение антисоветской литературы, в частности романа «Лесоповал». Потом распространился еще более пикантный слух: что Распадов на самом деле «голубой» и был не только учеником, но и любовником Шубкина. Сам же Шубкин, согласно этой версии, был бисексуален. Тогда одной из причин поступка Распадова могла быть та, что он ревновал Марка Семеновича к Антонине. Если все это правда, то Распадова можно было бы оправдать хотя бы частично. Можно себе представить, в каком сложном положении он очутился, какие неприятности ему угрожали, если бы он отказался выступить против Шубкина. А самому Шубкину ничего уже не грозило. Он давно жил в стране, власти которой «Долговскую правду» не читали, да и до него самого вряд ли она доходила.

Конечно, мы жили тогда в сложные времена. Когда люди кипели гражданскими страстями и никто никому, кроме себя,

не спускал ни малейшей слабости. Но все-таки, встретив Распадова на улице, я не стал перебегать на другую сторону и не отказался пожать протянутую мне руку. Я его ни о чем не спрашивал, но он сам заговорил, и довольно агрессивно и дурно, о Шубкине. Что он якобы с самого начала действовал хитро и расчетливо. Написал свой «Лесоповал», создал за границей шумиху и убрался к себе на историческую родину, а нас, оставшихся здесь, по существу, предал. То есть свой конфликт с Шубкиным он перевел в другое русло. Я это понял, когда он мне прочел свое стихотворение «Вы и мы», которого я запомнил только конец:

*Вам все равно, где свой поставить дом
И с чьей руки вкушать какую пищу.
У вас есть запасной аэродром,
У нас в запасе — отчее кладбище.*

Прочтя свой опус, он поинтересовался моим мнением.

— Ну что ж, — сказал я ему, — стишок профессиональный. Размер соблюден, рифмы на месте.

Он сказал:

— Ты же понимаешь, я спрашиваю тебя не об этом, а о содержании.

— Ну а содержание здесь просто подлое, — сказал я. — Ты к Шубкину можешь относиться как угодно, я и сам его небольшой поклонник, но ему не все равно, вкушать какую пищу, и его отчее кладбище там же, где и твое.

— Как?! — закричал Распадов. — В России похоронены мои родители, деды и прадеды.

— А где его деды-прадеды похоронены? — спросил я.

— Его? — Распадов задумался. — А почему ж тогда они (не сказал — кто они) уезжают?

— Да вот таких стихов начитаются и уезжают. Кстати, насчет пищи, — сказал я Владу, — я не знаю, кто с чьей руки что вкушает, но с чьей руки ты свою мякину жуешь, теперь, кажется, можно не сомневаться.

Этой фразы он мне простить не мог никогда.

В старость человек вступает неподготовленным. Пока тянутся детство, юность, молодость, зрелость, человек живет на земле с поколением собственным, с теми, кто постарше и кто помоложе, как будто в одной компании. В школе, на работе, на улице, на собрании, в магазине, в бане, в кино он встречается в общем-то одних и тех же людей, кого-то знает хорошо, кого-то шапочно, кого-то где-то когда-то видел. При этом одни старше его, другие моложе, третьи такие же, как и он. Человека можно вообразить идущим в середине большой колонны: и впереди еще много народу, и сзади кто-то вливается. Человек идет, идет и вдруг замечает, что приблизился к краю и впереди уже никого. Не стало людей, которые были старше на двадцать лет, на десять, на пять, да и ровесники сильно повымерли. И уже куда ни сунься, везде он самый старший. Он оглядывается назад, там много людей, помоложе, но они-то росли, когда оглянувшийся был уже не у дел, с ними он не общался и не знаком. И получается так, что старый человек, еще оставаясь среди людей, оказывается одиноким. Вокруг шумит чужая жизнь. Чужие нравы, страсти, интересы, и даже язык не совсем понятен. И возникает у старого человека ощущение, что попал он на чужбину, оставаясь там, откуда в жизни не уезжал.

Аглая от рожденья жила в Долгове. Город особенно не менялся, но постепенно и неизбежно становился чужим. Люди, кого могла вспомнить, исчезли. Шилейко умер от инсульта. Нечаев погиб в автокатастрофе. Муравьева умерла в сумасшедшем доме. Ботвиньев подавился костью. Бывшего прокурора Строгого убили уголовники в лагере. Нечитайло умер от рака легких.

Из старых знакомых встретила она однажды дождливой осенью на улице и не сразу узнала Поросьянинова. Он был с длинными волосами, с пушистой седой бородой и одет для этих мест необычно — на теле черная ряса, на ногах белые кроссовки, на голове рыжая ушанка, над головой оранжевый

зонт. Зонт он держал в правой руке, а левой, пересекая лужи, подбирал полы рясы.

— Ты что же, в попы записался? — спросила она, удивляясь столь неожиданной метаморфозе.

— Служу в храме диаконом, — сообщил Петр Климович.

— И давно?

— Да вот уж скоро три года. А ты в церковь не ходишь?

— Куда мне, — сказала она. — Я ж атеистка. Неверующая.

— Верующая, — возразил Поросьянинов. — Верить, что Бога нет.

— А ты веришь, что он есть? — спросила она насмешливо.

— Я, — ответил он, не замечая насмешки, — верю, что без веры во что-нибудь жить невозможно. А ты ведь небось крещеная?

— А как же, — сказала она. — Мой отец до революции старостой в церкви был.

— Так приходи в храм. Покайся Богу в своих грехах, и он примет тебя обратно.

— Оставь меня! У меня свой Бог, — сказала она и пошла прочь.

— У тебя не Бог, а дьявол! — крикнул он ей вслед.

Аглая перебирала в уме разные имена, и получалось — кого ни вспомнит, того уж нет на свете или выпал из поля зрения.

Старухи — баба Надя и Гречка — померли, но две другие соседки превратились в старух, заняли свое место на лавочке перед домом и ничем очевидным от тех предыдущих не отличались. Впрочем, шума новых поколений в доме не было слышно, поскольку строение это постепенно пустело.

За время своего существования оно сильно обветшало и, признанное непригодным для жилья, больше не заселялось. Кто из него уходил — уходил. На оставшихся махнули рукой, пусть доживают. Но новоселья люди здесь уже не справляли. В конце концов из прежних жильцов остались здесь Аглая, две упомянутые старухи, Шурочка-дурочка со своими бессмерт-

ными кошками и Валентина Жукова с внуком Ванькой. Валентина к тому времени для многих уже была баба Валя, а внук сократил это имя и называл ее Баваля.

6

Ваньку Жукова все звали Ванька Жуков. Это было его реальное имя и одновременно вроде как прозвище. Если бы не известный рассказ Чехова, Ваньку звали бы просто Ванька. Или просто Иван. Или просто Жуков. Или просто Жук. Но поскольку у Чехова был рассказ про Ваньку Жукова, и очень известный рассказ, и поскольку Ванька Жуков жил в обществе, где люди еще читали и помнили книги, а Чехова к тому же учили в школе, Ваньку Жукова многие так и звали — Ванька Жуков. И никак иначе.

Баваля в Ваньке души не чаяла. Сыну своему никогда не уделяла столько внимания. Потому что при маленьком сыне сама была молодая и глупая. И самой хотелось как-то развлечься. Сходить в кино. Или на концерт художественной самодеятельности. Или поболтать с соседкой. Или провести время с мужчиной. Может, поэтому Георгий и вырос такой непутевый. А над Ванькой она тряслась и удивлялась.

— Не представляю, — говорила Баваля Аглае, — в кого он такой пошел. Сама была непутевая, сын шепутной, жена сына алкоголичка, а этот... Тринадцать лет, а еще не пьет и не курит и в школе — круглый отличник.

Уже тогда Ванька больше всего увлекался точными науками: математикой, физикой, химией, занимался в авиамodelьном кружке и в кружке «Юный химик». Своими руками строил модели самолетов, кораблей, паровозов, сделал радиоприемник и магнитофон. Зачитывался статьями о возможностях растопления Арктики и Антарктики и поворота крупных рек в противоположную сторону посредством направленных взрывов.

Ему, конечно, в школе на уроках истории и обществоведения вбивали в голову что-то про социализм, коммунизм,

КПСС и борьбу за мир, заставляли изучать жизнеописание Брежнева, но это все от него отскакивало.

С хулиганами Ванька не водился, но они к нему с некоторых пор стали присматриваться. Он был маленький и слабый, как раз такой, кого легко и безопасно обидеть. Однажды хулиганы встретили его на пустыре, когда он возвращался из школы. Их было человек десять—двенадцать, а главарем у них был переросток по имени Игорь Крыша. Причем «Крыша» — тоже не прозвище, а реальная фамилия. Которая, как ни странно, была ему очень к лицу. Он и в самом деле с короткой стрижкой, покатым теменем и узким лбом был каким-то образом похож на односкатную крышу. От своих сверстников и товарищей по шайке Крыша отличался тем, что ходил в хорошем костюме, в галстуке и издали был похож на интеллигентного молодого человека. Крыша и его шайка в городе были довольно известны, они считались настоящими бандитами, поэтому Ванька их не боялся. Полагая, что он человек слишком маленький и для бандитов большого интереса представлять не может. Но он оказался не совсем прав. Большого интереса для бандитов он и не представлял, но они и малым интересом не пренебрегли.

Однажды они встретили его на пустыре по пути из школы и начали толкаться, но Крыша их немедленно остановил и обратился к Ваньке с вопросом.

— Куда путь держишь, сынок? — спросил он, будучи старше Ваньки лет не больше чем на шесть.

— Домой иду, — сказал Ванька, не подозревая худого.

— А откуда?

— Из школы.

— Угу, — сказал Крыша раздумчиво, — сейчас ты идешь из школы домой, а завтра пойдешь из дома в школу. Правильно?

— Правильно, — согласился Ванька.

— А ты в Америке никогда не был? — спросил Крыша.

Ванька признался, что никогда не был.

— Так вот там, в Америке, — объяснил ему Крыша, — все дороги платные. И у нас тоже надо ввести такой же порядок. У тебя деньги есть?

Ванька сказал: нет. Крыша объявил, что сейчас будет проведен таможенный досмотр. Ваньку зажали, вывернули у него карманы, нашли трешку и еще около рубля мелочью.

— Нехорошо, — сказал Крыша, пересчитав деньги. — Это уже обман и попытка переноса валюты без уплаты таможенного сбора. Подлежит конфискации. — И положил деньги себе в карман. — А теперь, — продолжил он, — проверим, что находится здесь. — И показал на портфель. — Прошу открыть.

Ванька подчинился. В портфеле Крышу ничто не заинтересовало, кроме шариковой ручки фирмы «Паркер» в перламутровом футляре. Эту ручку Баваля купила на толкучке и подарила Ваньке на тринадцатый день рождения. Крыша попробовал ручку на собственном запястье, как она пишет. И объявил, что она конфискуется как незаконно ввезенный в страну товар иностранного происхождения. После этого Крыша со своей шпаной стал встречать Ваньку регулярно, отбирая у него то рубль, данный Бавалей на тетради, то шарф, связанный ею же к Новому году, то шапку, мерлушковую, оставшуюся от отца. Ванька пытался менять дорогу, но предводимые Крышей разбойники выслеживали его, перехватывали и однажды сильно побили. Баваля заметила у Ваньки синяк и спросила, что это значит. Ванька сказал, что в школе бежал по коридору, споткнулся и ударился обо что-то железное. Баваля поинтересовалась, а куда делись его ручка, шарф, шапка и что-то еще. Ванька отвечал ей невразумительно, но правды, конечно, не сказал. Однако она особо и не допытывалась. Она была дворничиха и знала, что происходит в округе. И Крышу знала. Однажды возле гастронома Баваля увидела Крышу и на нем — Ванькины шапку и шарф. Крыша стоял, окруженный своими недоростками и переростками — отморозками, как называли и тех, и других. Все их боялись и обходили стороной.

Баваля резко шагнула в эту толпу. Двоих, загораживавших ей дорогу, грубо отшвырнула в сторону. Схватила Крышу за шарф.

— Откуда у тебя это?

— Ты что, бабушка, чокнулась? — удивился Крыша, а шайка стала сжимать вокруг бабки кольцо.

— Бабушка, убери руки, — попросил Крыша. — Я старых людей уважаю, но все-таки...

Договорить ему не удалось. Баваля отпустила шарф, схватила Крышу за оба уха, резко потянула и подставила под его лицо свое колено.

— Пацаны! — залившись кровью, заревел Крыша.

Пацаны тут же придвинулись, и первым был, конечно, ближайший друг Крыши Толик по кличке Топор. Он уже протянул руку и растопырил пальцы, чтобы вцепиться бабке в лицо, но получил такой удар под дых, что, скрюченный, упал и ловил ртом воздух, как рыба. Второй дружок главаря Валя Долин по прозвищу Валидол приблизился к бабке с другой стороны. Она вовремя обернулась к нему, и он отступил, подавая хороший пример остальным. Остальные, увеличив дистанцию между бабкой и собой, стояли полукругом и не знали, что делать. А бабка схватила Крышу сзади левой рукой за шею, сдавила ее своими могучими кривыми пальцами, а правую руку сжала в кулак и поднесла к его носу. Произнеся при этом тираду с таким словарным составом, которым даже Крыша владел не полностью. Если перевести бабкину речь на литературный язык и вычленив из нее главное, можно сказать, в ней содержалось предостережение, что личность Ивана Жукова неприкосновенна и каждого, кто попытается этим пренебречь, ждет неотвратимое и суровое возмездие. После чего Ванька ходил в школу в своей шапке, в своем шарфе, со своей ручкой, не платя таможенных пошлин, аннексий, контрибуций и репараций. Крыша, если им приходилось случайно встречаться, первым приветствовал Ваньку взмахом руки и почтительными словами:

— Привет, Ванек!

А когда Ванька подружился со своим одноклассником Санькой Жердыком, то гарантии личной неприкосновенности распространились и на того. Хотя до дружбы с Ванькой Жердыка били все, кому не лень, били часто и сильно.

7

Саньку Жердыка мы тоже включаем в повествование ввиду того, что и ему определена в нашей истории немаловажная роль. Санька Жердык и Ванька Жуков сошлись быстро и легко, потому что дети вообще сходятся легко, особенно если учатся в одном классе и тем более если сидят за одной партой. Но по натуре они были люди с самого начала очень разные. Жердык был, в отличие от Ваньки, по характеру гуманитарий. В нем жили как будто два человека. Первый искал себя в искусстве. Пел в хоре и надеялся стать оперным певцом. Знал многие арии, но лучше других удавалась ему одна: песенка Герцога из оперы «Риголетто», в народе известная больше как «Сердце красавицы». Может быть, это был у него особый вид помешательства, но именно эту песенку он пел начиная со школьных времен всегда и везде. На концертах художественной самодеятельности, на вечеринках и просто так — для себя. Еще он мечтал стать поэтом и уже в школе писал довольно сносные стихи с уклоном в романтику. В стихах он мечтал о любви, верил в родство душ, призывал людей держать сердца открытыми, не запирается на ночь, не строить заборов, не хранить деньги в кубышке и вообще не хранить, не заботиться о материальном, не мириться со злом, не беречь свою жизнь, а цветы и любовь раздавать даром направо и налево. А в жизни Жердык никакой романтики не признавал вообще и в людях подозревал самое худшее. Может быть, истоки такой противоречивости характера таились в его биографии. Когда-то у него, как и у всех, были отец и мать. И конечно, он как большинство нормальных детей думал про своих родителей самое хорошее. Потом они разошлись. Но отец не просто ушел от матери, как часто бывает, а сбежал на Север, менял адреса,

скрывался от алиментов, то есть уклонялся от помощи своему сыну. Они с матерью вдвоем существовали на ее мизерную зарплату бухгалтера в какой-то конторе. Санька когда-то очень любил отца, верил ему больше, чем кому бы то ни было, и осознание того, что отец его предал, было первой причиной большого разочарования во взрослых людях. Второй удар нанесла ему мать. Нет, она его не предала. Но, оказавшись без мужа, стала водить к себе домой любовников. Жили они в одной комнате коммунальной квартиры, и Санька уже лет в девять точно знал, для чего взрослые люди ложатся в постель и что они там друг с другом вытворяют. Он для себя сделал вывод, что все взрослые люди мерзавцы, ханжи, лицемеры и развратники. Их интересует только «это» и ничего, кроме «этого». Днем они работают, общаются, говорят о чем-то умном, а на самом деле думают только «об этом» и ждут с нетерпением часа, когда наступит вечер и дети уснут. Это открытие Саньку сперва потрясло настолько, что он даже думал о самоубийстве, но успокоился на том, что стал ко взрослым людям относиться с презрением и насмешкой. Когда его в школе учительница вызывала к доске или директриса в учительскую и прорабатывали, он на проработчиц смотрел усмехаясь и думал: знаю, как вы устроены, к чему вы на самом деле стремитесь и что вы делаете по ночам.

В серьезных разговорах о жизни Санька убеждал Ваньку, что человек — существо низкое, корыстное, себялюбивое и лицемерное. Им движут только личные интересы, в крайнем случае интересы семьи, а всякие слова о добре, любви к ближнему, к родине, к истине или справедливости — это всё на публику.

Ванька и Санька вместе окончили школу. Ванька с золотой медалью, а Жердык с тройками в аттестате. Ванька сразу без экзаменов поступил в Московский химико-технологический институт, а у Жердыка начало оказалось не столь благополучным. Пробовал поступить в Московскую консерваторию. На приемном экзамене спел арию «Сердце красавицы». Ария экзаменаторам понравилась. Они попросили исполнить

что-то еще. Но что-то еще получилось у него не так хорошо, и его не взяли. Не прошел творческий конкурс и в Литературный институт. Поступил на факультет журналистики. Хотя учились Ванька и Жердык в разных вузах и жили в разных концах Москвы, дружба их на этом не прекратилась.

8

В Москве Ванька поселился недалеко от института. Комнату в шесть с половиной квадратных метров он снимал у Варвары Ильиничны, худой и пропахшей табачным дымом старухи. Она курила дикие сигареты «Дымок» по три пачки в день, по нескольку раз на дню пила крепкий чай с карамельками и с утра до поздней ночи печатала что-то на старой пишущей машинке «Эрика».

Как выяснилось, печатала она самиздат, о котором Ванька слышал когда-то краем уха, но не знал, что это такое. Теперь узнал, что самиздат — это тексты, чаще всего бледные, напечатанные на папиросной бумаге и распространяемые из рук в руки.

Время от времени у старухи собирались скромно одетые интеллигентные люди и вели разговоры о правах человека, статьях Уголовного кодекса, тюрьмах, ссылках, пересылках, продуктовых передачах и передачах Би-би-си. О своих знакомых, которые или отбывают лагерный срок, или освободились, или, освободившись, уехали за границу. Через некоторое время Ванька понял, что гости Варвары Ильиничны, как и она сама, есть те самые диссиденты, о которых он читал что-то в газетах, и всегда только плохое, но не мог себе представить, что когда-нибудь увидит их воочию.

Раньше он думал, что диссиденты — это таинственные конспираторы, ходят всегда в темных очках и вооруженные, скрываются в настоящем подполье, то есть в подземных помещениях или катакомбах, и печатают на чем-нибудь вроде гектографа листовки с призывами свергнуть советскую власть. Теперь же он увидел, что они ни от кого не скрываются, зани-

маются своими делами открыто и дают властям возможность ловить себя и сажать без излишних затруднений и риска.

Иногда диссиденты устраивали по вечерам складчину, приносили кто бутылку водки, кто кусок колбасы, кто торт, и стол их был таким же неизысканным, как они сами. Спорили о судьбах России, обсуждали какие-то открытые письма, читали стихи, чаще всего плохие, высокопарные, гражданской направленности. Появлялись здесь иностранные корреспонденты, они приносили вино, виски, джин с тоником (тогда Ванька и узнал вкус этих заморских напитков), брали интервью для своих агентств и газет. Диссиденты на задаваемые вопросы отвечали прямо, не лукавя, рассказывали о положении в стране, о репрессиях против инакомыслящих, о подавлении национального самосознания, о притеснениях рабочих, о колхозах, где крестьян держат насильно и заставляют работать бесплатно, о произволе, который творят власть и милиция, то есть обо всем плохом, что было в стране, и ни о чем хорошем, потому что ничего хорошего в стране, по их мнению, не было. При этом они пили, ели, курили, шутили. Те, которые помоложе, ухаживали друг за другом и обнимались в коридоре, вроде бы жили нормальной жизнью. Но время от времени опять кого-то из них арестовывали, судили, отправляли в лагерь или в психушки, оставшиеся на свободе протестовали у зданий судов, ездили навещать ссыльных, собирали деньги, вещи и продукты на помощь семьям сидевших.

Варвара Ильинична с первого знакомства от Ваньки особенно не таилась и почти сразу стала давать ему перепечатанные ею же работы Сахарова, Солженицына, Джиласа, Авторханова и регулярно выходящую «Хронику текущих событий».

Начитавшись всех этих вещей, Ванька впервые задумался о политике, о том, что такое советская власть, как много народу она загубила и ради чего. Будучи человеком технического склада ума, Ванька решил помочь развитию самиздата конкретно. Подумав и потрудившись физически, он изобрел и изготовил, как потом значилось в материалах следствия, орудие преступления — копировальную машину. Эта машина была не

хуже ей подобных прославленной фирмы «Ксерокс». А может, и лучше. Легкая конструкция из нержавеющей стали, она, мигающая разноцветными огоньками, тихо шумела и печатала самиздат на обыкновенной бумаге в каком угодно количестве. Текст уменьшала, увеличивала и в необходимых случаях делала его резче. И теперь уже не к Варваре Ильиничне, а к Ваньке Жукову шли самиздатчики со своими и чужими текстами.

Встречаясь с Жердыком, Ванька рассказывал другу о диссидентах и своих встречах с ними. Снабжал самиздатом. Санька читал самиздат охотно, слушал Ванькины рассказы с интересом, но восхищения диссидентами не разделял, считая, что большинство из них делают себе рекламу, имя и карьеру. Впрочем, приходя к Ваньке, каждый раз спрашивал, нет ли у него еще «чего-нибудь антисоветского».

А у того, конечно, было. Потому что его машина работала всюю и производила самиздат уже не по пять экземпляров, а по сотне и больше.

Надо ли говорить, что Ванькина деятельность не могла остаться незамеченной. В конце концов его арестовали за, как было сказано, изготовление и распространение антисоветской литературы в особо опасных количествах. Правда, при советской власти любое количество, даже количество величиной в единицу, было опасным. А у Ваньки — чуть ли не целая типография.

Ваньку арестовали. Два месяца провел он Лефортовской тюрьме, где следователи обещали ему семь лет строгого режима по 70-й статье Уголовного кодекса. Но в органы поступило письмо от группы преподавателей и студентов. Авторы просили смягчить готовящееся наказание, учитывая, что Иван Жуков происходит из простой рабочей семьи, воспитывался без отца и без матери, золотой медалист, обладает серьезными познаниями в точных науках, имеет выдающиеся способности к изобретательству и может еще очень пригодиться нашему обществу. Известный академик-электронщик от своего имени тоже написал ходатайство, указав в нем, что копировальная машина Жукова является весьма совершенной и по своим па-

раметрам превосходит западные промышленные образцы. Учитывая все эти обстоятельства, Ваньке сначала статью 70-ю переквалифицировали в более мягкую 190-ю, а потом пошли еще дальше, решив ограничиться исключением из комсомола, отчислением из института и лишением московской прописки.

9

Но лучше б его посадили.

Как только Ванька вернулся в Долгов, его тут же забрили в солдаты и отправили туда, где обратный адрес был «полевая почта» и на письмах стоял штамп «Просмотрено военной цензурой». Первое письмо Бавале Ванька начал словами «Привет из Афганистана». Слово «привет» и слово «из» были оставлены, а третье слово было тщательно чем-то вытравлено. Но поскольку военные цензоры были советские цензоры, то есть на своем поприще особо не перетруждались, то в середине письма Ванькин рассказ о том, что он помогает афганским дехканам строить дороги и убирать урожай, остался цензурой просмотренным в том смысле, что незамеченным. На самом деле Ванька занимался, конечно, совсем другими делами. Армейские власти, учтя его особое образование и наклонности, направили его в специальное подразделение, которое было чем-то вроде небольшого завода по производству различного рода взрывных устройств для диверсионных надобностей.

Этих подробностей Баваля не знала, но слухи о цинковых гробах из Афганистана до нее доходили, и она жила в ожидании и страхе. Завидя почтальона, хваталась за сердце. И не зря. Уже вроде и война кончилась, и последний генерал перешел по мосту с афганской территории на советскую, когда доставлено было извещение, что Иван Жуков погиб смертью храбрых при выполнении интернационального долга. Баваля рыдала дважды. Первый раз, когда пришло извещение, и второй, когда привезли цинковый гроб.

Впрочем, порывав, она потребовала открыть гроб. Сердце чует, говорила она, что там Ваньки нет. На нее махали рукой,

но терпеливо объясняли, что гроб открывать нельзя во избежание большой психической травмы. Труп, мол, находится в таком состоянии, что один взгляд на него может кончиться разрывом сердца или психиатрической «неотложкой». Баваля настаивала, ее просьбам не вняли. Покойника, не открывая, похоронили на Аллее Героев с воинскими почестями, музыкой, под автоматный треск прощального салюта.

Между прочим, на похороны приезжал из Москвы Санька Жердык. Он уже окончил факультет журналистики, но карьере делал по другой линии — заведовал отделом в каком-то райкоме комсомола. Он произнес над гробом большую речь и так трогательно рассказывал, какой чистый честный и талантливый человек был его друг Ванька Жуков, что все рыдали.

Над могилой воткнули временную фанерку, сообщавшую, что здесь лежит Иван Жуков, 1964 года рождения, героически погибший при выполнении боевого задания.

Но те, кто не разрешал Бавале открыть гроб, не знали, с кем имели дело. Ночью она сама раскопала могилу, раскурочила гроб и увидела уже сильно разложившийся труп пожилого азиата в чалме и с длинной до пояса бородой. Баваля под мышкой принесла гроб к райкому КПСС и там поставила его на крыльцо. В городе было много шума по этому поводу. Некоторые считали поступок бабки кощунственным и требовали ее примерно наказать. Другие, наоборот, называли ее героиней, правозащитником и даже сравнивали с Марией Магдалиной и Марфой Посадницей. В некоторых людей случившееся вселило надежду, что, может быть, и вместо их детей похоронен кто-нибудь другой по ошибке, и по округе прошла эпидемия ночного гробокопательства.

Как раз в это время из Ташкента пришло письмо от самого Ваньки Жукова, правда писанное не его рукой, что он жив, но подорвался на им же самим изготовленной мине, в результате чего лишился обеих ног, одной руки, одного глаза, на одно ухо оглох полностью, а другим, возможно, будет слышать со слуховым аппаратом.

Баваля прыгала от радости. Ей говорили: «Ты что, дура? Он же остался полным калекой!» — но бабка слушать не хотела: лучше калекой, чем мертвяком. Но когда Ванька приехал (больше года провалявшись в госпитале) и она увидела его на самодельной тележке, без ног, без руки и без глаза, с лицом, сплошь синим от ввевшегося под кожу пороха, и со стальными, вкривь и вкось вставленными зубами, Баваля даже плакать не смогла, а просто на несколько дней потеряла сознание. Зато потом, придя в себя, посмотрела на внука ясными глазами и сказала ему:

— Ничего, Ванька, мы им отомстим.

Если бы кто-нибудь принял тогда бабкины слова всерьез...

10

Продолжая пребывать в состоянии сомнамбулизма, Аглая утратила контроль над течением времени, не знала, что было вчера, а что пять лет назад и что происходит вокруг сегодня. Замечала лишь частные проявления глобальных изменений: водку продавали с одиннадцати часов, потом с двух, потом с пяти, потом круглосуточно.

Время от времени, включив телевизор, видела: кого-то большого хоронят на Красной площади. Одного хоронят, другой говорит речь. Закрывает глаза, открывает: уже этого, который только что говорил, хоронят, а того, который говорит, держат под руки. Закрывает, открывает — услышала слова: перестройка, ускорение, гласность. На экране митинги, знамена, плакаты, народ призывает: «Борис, борись!» Борис швырнул партбилет на стол, залез на танк, из танка пальнули по Белому дому, наступили рыночные отношения. Пришла почтальонша, принесла пенсию триста тысяч рублей. Аглая подумала: ничего себе! С крупными купюрами на улицу идти побоялась, набрала три рубля шестьдесят две копейки мелочью, побежала в магазин за бутылкой, а ей говорят: вы, мамаша, с луны свалились? А что? А то! Водка стоит не три шестьдесят две, а двадцать пять тысяч. Она вернулась в реальность и испугалась. Она же каждый

день водку покупала и привыкла к движению цен, а тут будто несколько лет из памяти выпали. Побежала домой, взяла сколько нужно, по дороге завернула в райком, узнать, когда кончится этот бардак. Но там, где искала райком, нашла казино «Колесо фортуны» с эротическим шоу «Ночной полет». Она остановила проезжавшего на велосипеде мальчишку и спросила, не знает ли он, куда переехал райком КПСС. Он спросил РАО чего, и, второй раз не поняв ее вопроса, уехал. Она встретила во дворе Бавалю, и та ей объяснила, что за последние годы произошла полная реставрация капитализма, КПСС распущена, Ленина скоро вынесут из Мавзолея, царскую семью захоронят с почестями в Санкт-Петербурге. В Ленинграде, поправила Аглая. Оказывается, никакого Ленинграда больше нет, а есть Санкт-Петербург.

Аглая вышла на улицу, обменяла ваучер на бутылку и опять впала в спячку.

11

В середине девяностых годов в Долгове было зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «Фейерверк» по производству бенгальских огней, петард, хлопушек, шутих и других подобных изделий.

ТОО разместилось в полуподвальной квартире дома № 1-а по Комсомольскому тупику, и штат его состоял из двух человек: Иван Жуков, президент, и Валентина Жукова, вице-президент и исполнительный директор.

Обязанности между членами товарищества распределялись естественным образом: президент занимался творческой частью работы, а вице-президент — всем остальным. Баваля доставала необходимые материалы, помогала внуку собирать все эти штуки, которые они производили, и об обязанностях няньки не забывала, а они были обширными. В хорошую погоду она его выносила на улицу «проветрить» и укутанного в плед сажала на лавку между старухами. Дома она его купала, а раньше и на горшок высаживала. Со временем он научился

сам пользоваться уборной, умывальником и всем остальным, и это было очень важно — теперь Баваля могла оставлять его одного. А оставлять порой приходилось надолго: за некоторыми компонентами производимой ТОО продукции бабка «каталась», как она говорила, даже в Москву. Очень оказалась она умелым снабженцем и довольно скоро создала целую сеть поставщиков исходного сырья. Что-то доставала у взрывников в местном каменном карьере, что-то у знакомого сержанта внутренних войск, который заведовал складом боеприпасов, а что-то по специальному Ванькиному заказу даже в аптеке.

Начиная дело, наши предприниматели на большой успех не рассчитывали, думали, что спрос на их товар будет ограничиваться периодом празднования нового Нового и старого Нового года. Так оно поначалу и было. Но вскоре появились более крупные и всесезонные заказчики. Городские власти, а потом и разные организации, побольше и поменьше, стали интересоваться спецэффектами при проведении праздничных мероприятий. Некоторые «новые русские» желали отмечать свои юбилеи и семейные события разноцветными огнями и оглушительным треском. Так что дела ТОО «Фейерверк» с самого начала шли неплохо.

Улучшились и жилищные условия членов товарищества.

Еще недавно Баваля и Ванька жили в одной полуподвальной комнате, но соседка померла, и Жуковым разрешили занять всю квартиру. Наконец-то разрешили. До того все бабкины попытки улучшить жилищные условия оканчивались ничем, что только способствовало возрастанию в ней жажды мести. Сначала ее записали в очередь, которая слишком долго двигалась. Потом сказали, что вообще лимит на казенные квартиры кончился вместе с советской властью. Теперь, дескать, у нас капитализм, все можно купить за деньги, даже квартиру. Начальника, который это сказал, бабка пробовала пристыдить. Напомнила ему, что Ванька инвалид войны первой группы, жертва Афганской войны и живет на пенсию. На что начальник сказал: «А я вашего внука в Афганистан не посылал». Баваля потом говорила, что, будь у нее в тот момент

граната, она бы, не задумываясь, взорвала ее прямо в том кабинете. А вернувшись домой, повторила угрозу, однажды уже произнесенную: «Ничего, Ванька, мы им еще отомстим». И то же самое сказала еще раз, отвергнув предложенную однокомнатную квартиру на четвертом этаже без лифта и без балкона. Но теперь, слава Богу, жить было можно. Теперь квартира хоть и полуподвальная, но отдельная. Правда, все-таки тесновато. Поскольку все здесь вместе: и жилье, и мастерская, и склад материалов, и склад готовой продукции. Тесновато, но жить можно. Тем более с телефоном, который Ваньке все же дали как инвалиду. Что делало его жизнь богаче и разнообразней. Особенно после того, как он обзавелся компьютером и подключился к Интернету.

12

Все делала Баваля для Ваньки. Ухаживала за ним, купала, обстирывала, выносила «проветривать» и даже девок ему платных водила, чтоб он хоть эту радость жизни не упустил. Ванька сначала стеснялся Бавалиного посредничества, а потом ничего, привык и сказал ей как-то после ужина:

— Мне повезло, Баваля, что ты у меня есть. С тобой я себя почти человеком чувствую.

Она кивнула, вздохнула:

— А все ж таки тебе надо как-то без меня приспособляться. Я ведь скоро помру. Как будешь жить без меня?

— А никак не буду, — сказал Ванька беспечно. — Ты помрешь, и я уйду за тобой. Мне одному на этом свете делать нечего.

— Бог с тобой! — махнула рукой Баваля. — Ты молодой, ты свое еще отжить должен.

— Зачем? — спросил Ванька.

— Затем, — сказала она сердито. — Раз жизнь тебе дана, ты, какой ни на есть, должен донести ее до конца.

— Кому я должен? — вздохнул он.

— Ему! — Она показала на потолок.

— Ему? — переспросил Ванька и тоже рассердился. — А скажи мне, за что он мне устроил такую жизнь? Зачем он меня сделал беспомощным калекой? В чем я перед ним провинился? В том, что я самиздат печатал?

— Не гневи Бога, — испугалась Бавалей. — Это тебе сделали плохие люди, и мы кое-кому еще отомстим. А Бог тут ни при чем. Бог милосерден.

— Нет, бабка, в это я не верю. Он жестокий. Я помню, когда духи покروшили нас в Кандагарском ущелье и вокруг лежали раненые с оторванными руками и ногами, со вспоротыми животами, с выбитыми глазами, вокруг стоял крик, который был страшнее, чем когда нас крыли ракетами. Я тогда подумал: вот летит Земля в космосе и вопиет нашими голосами так, что если Бог есть, и похож на человека, и может слышать, но не может прекратить наши страдания, то пусть бы он лучше всю Землю уничтожил вместе с нами со всеми.

Бавалин ответ был прерван негромким стуком в дверь. Ни бабка, ни внук не успели откликнуться, как дверь растворилась, и в проеме ее возник человек среднего роста и возраста, в черном пальто, с крутой шеей, по виду бандит или депутат Государственной Думы.

Осведомившись, здесь ли находится ТОО «Фейерверк», пришедший выразил желание поговорить с кем-нибудь из руководства.

— А мы оба из самого высшего руководства, — сказал Ванька, с трудом выходя из состояния, в котором он пребывал во время разговора с Бавалей. — Я президент, а Валентина Петровна — вице-президент и исполнительный директор.

Пришедший осмотрел с сомнением Ваньку, бабку и обстановку.

— И вы, значит, прямо здесь изготавливаете всякие фейерверки?

— Бенгальские огни, ракеты, шутихи, хлопушки, — сказала Бавалей. — А чего нужно?

— Да вот что-то вроде хлопушки и нужно, — сказал гость.

— Сколько? — спросила баба Валя.

— Одну, — сказал пришедший.

— Штучные заказы не берем, — подал голос Ванька.

— Одну, но большую.

— В каком смысле? — спросил опять Ванька.

— В смысле, что большую, — улыбнулся пришедший. —

Например, такую, чтобы могла разнести бронированный «Мерседес». Причем желательно вдребезги.

— Террористический акт? — насторожился Ванька.

— А броня толстая? — поинтересовалась Бавалья.

— Мы такими вещами не занимаемся, — предупредил Ванька.

— Миллиметра четыре, — сказал гость. — Или пять.

— По тыще за миллиметр, — оценила Бавалья. — Всего пять тысяч.

— Рублей? — спросил гость.

— Граблей, — отозвалась бабка. — Ваксов.

— Не ваксов, а баксов, — поправил Ванька.

— Ну, ребята, — попытался торговаться заказчик. — Пять штук баксов — это слишком. Мне ж всего надо, если в тротиловом эквиваленте, грамм двести, ну триста...

— Не устраивает, не надо, — пожалла плечами Бавалья. — Пойди к кому другому. В каменном карьере работает взрывник Васька. Он тебе кастрюлю динамита за тыщу рублей продаст. Только это будет такой динамит, что или в нужный момент не сработает, или взорвется в руках. А у нас гарантия. У нас фирма. У него, — показала на Ваньку, — не голова, а Совет Федерации.

Посетитель долго вздыхал, торговался, и в конце концов сошлись на четырех тысячах, из них половину — сразу авансом.

Когда гость ушел, Ванька спросил:

— Бавалья, ты террористкой решила заделаться?

— Не террористкой, а мстительницей, — сказала Бавалья. — Я тебе говорила — мы им отомстим.

— Да кому им-то? — спросил Ванька. — Ты знаешь, кто он, этот, который в «Мерседесе»? Может, хороший человек.

— Хорошие люди, Ванька, ездят в автобусе, мы их трогать не будем.

Так Жуковы, бабка с внуком, ступили на путь террора, и вскоре слава ТОО «Фейерверк» широко разошлась. О нем знали очень многие люди, то есть даже все, кто подобной продукцией интересовался, кроме, может быть, прокуратуры, милиции и органов безопасности.

13

У каждого немертвого человека есть та особенность, что он своим существованием мешает кому-нибудь из тоже живущих. Даже какой-нибудь бомж, собирая по помойкам бутылки, мешает такому же собирателю, как и он. Мертвый человек никому не мешает. Если, правда, он не лежит в Мавзолее.

Конечно, и Аглая всегда кому-то мешала. В прошлом порой мешала настолько, что от нее пытались избавиться радикально. В тридцатом году один раскулачиваемый пытался зарубить ее тяткой, отчего остался след на виске и на плече. Когда партизанила, немцы давали за ее голову денег больше, чем за корову. И когда была секретарем райкома, кто-то ей однажды запустил в окно булыжник. Но теперь-то, будучи давным-давно не у дел, кому и в чем она могла быть помехой? А вот оказалась.

Как-то в «Долговском вестнике» появилась маленькая заметка местного гидролога, о том, что под городом, оказывается, есть подземный источник... нет, не нефти, а всего лишь минеральной воды. Очень хорошей воды. Насыщенной всякими солями и другими полезными составными. Пригодной для питья и принятия ванн, способствующих омоложению организма. На эту заметку обратил внимание некто Валентин Юрьевич Долин, бизнесмен из «новых русских», но не из тех, которые носят большие цепи на шеях и ездят на шестисотых «Мерседесах». Нет, цепь он носил довольно тонкую, на «Мерседесе» ездил трехсотом (правда, шестисотый уже заказал) и вообще был человек образованный, еще в советское время

окончил философский факультет МГУ и чуть не защитил диссертацию на тему «Вопросы усиления дисциплины на производстве и взаимовыручки в трудовом коллективе в период развитого социализма в свете указаний Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Константина Устиновича Черненко». Пока он готовился к защите, указания товарища Черненко перестали быть ценными в области философии, началась другая жизнь, и наш диссертант, оставив науку, перешел к занятию, которое называлось бизнес-консалтинг. То есть за большие деньги он предоставлял «крышу» иностранцам, желавшим нажиться на российском базаре, и консультировал их, как в непонятных им местных условиях уходить от налогов, давать взятки, отмывать деньги и вывозить за границу. За короткое время он сколотил себе приличное состояние — имел два казино, три ресторана, один кинотеатр, фирму по торговле недвижимостью «Новосёл» и туристическое агентство «Мир на ладони».

Меня всегда восхищают деловые люди и криминалы. Как они умеют реагировать на всякие открытия и события и поворачивать их в свою пользу! Даже солнечное затмение. Услышав, что оно может вскорости состояться, мы, простые люди, как говорится, ушами хлопаем и без вещественной пользы для себя рассуждаем, что, да, мол, бывают же столь интересные астрономические явления, надо будет обязательно посмотреть. А деловой человек сразу соображает, что людям захочется на затмение посмотреть и не захочется при этом ослепнуть. Значит, им понадобятся очки, и даже в большом количестве. Деловой человек принимается за очки, а криминал уже мотает на ус, что во время затмения будет темно и народ, пялясь в небо, неизбежно утратит бдительность и забудет следить за своими карманами. Или, скажем, выскочит на улицу наблюдать это затмение, не закрыв квартиру.

Будучи деловым во всех отношениях человеком, Валя Долин, известный в криминальных кругах под кличкой Валидол, прочтя заметку в «Долговском вестнике», сразу скумекал, что столь полезной для народного здоровья влаги незачем без тол-

ку залегать под землей. Он сразу представил себе комплекс действий, которые следует предпринять: построить стеклозавод, наделать бутылок, пробурить скважину, качать воду, разливать по бутылкам и продавать по сходной цене. А если воды окажется много, можно построить водолечебницу. А если будет ее очень много, то есть шанс превратить город Долгов в бальнеологический курорт и на этом разбогатеть и прославиться.

Валидол провел исследование, которое называется маркетинг. Уточнил, как течет вода, на какой глубине залегает, где лучше всего бурить и расположить первую водолечебницу. И получилось, что лучшего места, чем дом 1-а по Комсомольскому тупику, нет и быть не может.

Проведя второй маркетинг, Валидол подсчитал, сколько ему нужно денег на приобретение этого дома и переселение оставшихся в нем жильцов куда-нибудь в другое место. При этом выяснилось, что среди жильцов есть некая Аглая Степановна Ревкина, которая не согласится на переезд ни за какие деньги, по причине невозможности перевоза вместе с ней стоящего у нее монумента. Тем более что в новых квартирах потолки для монумента слишком низки. Это обстоятельство сильно усложняло задачу, но Валидол был человек изобретательный, в нерешаемость задач не верил, и над Аглаей Степановной Ревкиной внезапно нависла очень большая опасность.

14

Как выразился однажды Адмирал, Россия — такая страна, где очень много говорят о покаянии, но редко кто может просто сказать «извините». Мне его высказывание всегда приходит на ум, когда я вспоминаю возвращение в Долгов Марка Семеновича Шубкина. Или, вернее, попытку возвращения. С тех пор как произошли у нас в стране благоприятные перемены, многие эмигранты, и особенно люди искусства, стали возвращаться на родину. Вот и Шубкин собрался. Причем не в Москву, как другие, а в Долгов. Потому что, как он говорил (и

правильно), Москва — не Россия. А он имел похвальное намерение вернуться именно в Россию. Читатель может себе представить, какое это было событие. Возможно, в столице оно было бы рядовым, а в районном городе это было очень большое событие. Шубкин еще в Иерусалиме чемоданы складывал, а уже весь Долгов гудел. Встречать реэмигранта приготовилась целая делегация во главе, конечно, с Владом Распадовым. Тот хотя в свое время и написал о Шубкине что-то нехорошее, но прошло время, старое подзабылось, а сам Шубкин, скорее всего, той статьи вообще не читал. Да и кому было встречать Шубкина, как не Распадову. Все-таки он был к тому времени в данной округе самым крупным и авторитетным литератором. С ним накануне будто бы лично говорил глава долговской администрации Коротышкин. Тот самый, который работал когда-то в КГБ. Но за минувшие годы многие люди пересмотрели свои прежние убеждения, а Коротышкин вообще стал демократом, и твердым антикоммунистом, и богобоязненным прихожанином местной церкви. Он, может, и сам пошел бы встречать известного писателя, автора прославленного «Лесоповала», но надвигались новые выборы, коммунисты рвались к власти, надо было непременно дать им отпор. В общем, не оказалось у Коротышкина времени. Да к тому же, как он сказал Распадову, устраивать Шубкину официальную встречу было бы слишком. Если, мол, мы будем каждому уехавшему еще пышные встречи устраивать, то нам больше нечего делать будет, как встречать этих уехавших. Так он сказал Распадову, видимо опасаясь, что уехавшие прямо тучами повалят в это захолустье, между тем как уехавших из Долгова было всего два: сам Шубкин и Антонина. Но хотя встреча ожидалась не совсем официальная, народ кое-какой к станции подвалил. Я как раз был в то время в Долгове и тоже пошел встречать знаменитого иностранца. На перроне собрались многие. Местная интеллигенция. Педагогический коллектив детского дома. И кое-кто из бывших воспитанников. «Долговский вестник» прислал своего корреспондента, и из областного телевидения репортер с оператором прикатили. День был солнечный, яс-

ный. На деревьях трещали скворцы, пахло разогретыми шпалами и вареной картошкой с укропом. Это местные бабки вышли к приходу поезда со своим всегдашним товаром: каргошкой, пирожками, воблой и солеными огурцами.

Поезд немного запаздывал. Поэтому все начали нервничать. А я вспомнил тот случай, когда Шубкина арестовали прямо на перроне. «Какой, — думал я, — для него будет приятный контраст». Наконец кто-то крикнул: «Идет!» Все напряглись и замерли. Поезд приближался. Не так картинно, как раньше. Раньше это же было событие! Паровоз «Иосиф Сталин» врвался на станцию, окутанный клубами пара! Как он пытел, как он блестел! А тут что? Маленький, замурзанный, убогого вида электровозик свистнул тонким фальцетом и втащил на станцию шестнадцать вагонов с такой легкостью, как будто они были игрушечные. И на площадке вагона номер четыре все увидели Шубкина. Правда, не сразу его узнали. С большой седой бородой он был похож уже не на Ленина, а на Карла Маркса или на кого-то из библейских пророков. Он одной рукой держался за поручень, а другой приветствовал встречавших. А из-за него высовывалась и широко улыбалась Антонина. Ее голова была туго повязана белым шелковым платком. Платок этот был вроде ни к чему, и я только потом узнал его назначение. Оказывается, Антонина в Израиле приняла иудаизм, строго держалась новой веры, стригла голову наголо и покрывала ее платком. А Марк Семенович оставался в православии. Так что у них семья стала как бы экуменическая. И вот они, подъезжая, машут руками, встречающие тоже машут и что-то выкрикивают, а некоторые женщины даже прикладывают платочки к глазам.

Шубкин спустился на перрон, а за ним Антонина с двумя чемоданами. Люди сразу их окружили, обнимали, целовали, совали цветы. С букетом из трех алых гвоздик приблизился к приехавшему и критик Распадов. Но сразу не вручил цветы, а переложил их из правой руки в левую, а правую поднял, призывая всех помолчать. И произнес свою историческую в некотором смысле речь.

Оттесненный жадной толпой, я стоял далеко от оратора, ветер относил его слова в сторону, но кое-что я смог разобрать и, разбирая, дивился умению нашего критика свою мысль поворачивать то в одну, то в противоположную сторону. Сначала Влад сердечно приветствовал приехавшего, назвав его выдающимся писателем, которого нам (кому? ему, что ли?) все эти годы так не хватало. «Мы, — сказал он, — рады всем нашим соотечественникам, чье возвращение стало возможно благодаря нашей перестройке и, не будем скромничать, благодаря нам, ее рядовым прорабам. Мы потрудились, создали подходящие условия для их возвращения, и хорошо, что Марк Семенович теперь с нами. Надо признать, что в свое время не все отнеслись к его отъезду с пониманием, некоторые из нас даже сурово его осудили...» Тут, я подумал, логически должно последовать извинение. Или сожаление. Или что-нибудь вроде этого. Но Распадов высказался иначе. Некоторые, мол, сурово осудили и даже, может быть, несправедливо, но не будем же впадать в другую крайность — чрезмерно хвалить Марка Семеновича и делать из него героя. Ну, уехал человек, ему это было выгодно. Там условия хорошие и пища кошерная. А мы здесь ели чернобыльскую картошку и помидоры с нитратами. Но кому-то ведь надо было и здесь оставаться, хранить нашу культуру, наши памятники, наши могилы...

Повторяю, я стоял довольно далеко, и мне не все было видно. А тут еще на вторую платформу подходил встречный поезд. Так что я и видел плохо, и почти ничего не слышал. Но те, которые были ближе, рассказывали, что, дойдя до темы наших могил и, видимо, в результате связанного с могилами сильного возбуждения, Влад Распадов вдруг потерял над собою контроль. Как-то из его собственных слов сложилась такая картина, что, пока он сидел на могилах, Шубкин наслаждался жизнью и кошерными фрикадельками в Гефсиманском саду. И, уже раскинувши руки для объятия, он взял и плюнул Шубкину в лицо. Шубкин как слушал его с растерянной улыбкой, так и застыл. А по толпе пронесся многократно повторенный выдох: «Ах-хах-ахах!» В свою очередь Распадов, совер-

шив такое, сам оторопел от собственного поступка и долго стоял в беззащитной позе, как бы ожидая адекватной сатисфакции от противника. Но, не дождавшись, сказал:

— А в общем, добро пожаловать на родную землю!

И стал совать Шубкину свои гвоздики. А Шубкин — обидчивый оказался! — схватил чемоданы и с криком «Антонина, за мной!» вскочил во встречный поезд, и только его и видели. Уехал назад. Как потом кто-то написал о нем в газете, маца для него оказалась дороже родины.

Конечно, в глазах многих Марк Семенович Шубкин был и остался комической фигурой: все его идеалы, верования, приход к ним и уход от них, а главное, всякие по этому поводу ужимки и жесты выглядели смешно, но при этом в нем было и что-то трогательное, в его действиях имели место благородные порывы и элементы почитаемого в нашем обществе безрассудства. Над этим всем можно было сколько угодно иронизировать, но плевать в лицо все же не стоило.

Тем не менее распадковский плевок был вскоре забыт, и люди вспоминали о Шубкине с недоумением, обидой и горькой иронией. Что вот, дескать, приехал, покрутил носом и уехал. Его, видите ли, с оркестром не встречали. И никакого другого объяснения поступку Шубкина не нашли, кроме привычки к хорошей жизни и вкусной пище на Земле Обетованной. И до сих пор в Долгове разные люди огорчаются, что зря потратили душевные силы, встречая Шубкина с распростертыми для объятий руками.

15

Все-таки интересное это состояние — полной свободы. Можно что хочешь писать, читать, слушать иностранное радио, рассказывать политические анекдоты, ругать президента, ездить за границу, заниматься любовью с партнером любого пола, группой и в одиночку, носить длинные волосы, серьги в ухе, кольца в носу, вообще протыкать себе что угодно. Конечно, многих людей это раздражало. Тем более что зарплаты

бюджетникам задерживали, а пенсии пенсионерам вовсе не выдавали. И тем, и другим иногда платили товарами местного производства. А одно время всем за все стали платить продукцией здешней птицефабрики, то есть цыплятами. В Долгове развелось кур невиданное количество. Они заполнили все дворы, копошились на огородах, гуляли по дорогам, болтались под ногами, их было столько, что трудно было проехать на машине по городу, не задавив ни одной курицы. Куры были все породы «Голландка долговская белая», и хозяйки, чтобы как-то отличать своих от чужих, метили птицу чернилами разного цвета: красного, зеленого, синего, черного. Аглая кур не взяла, не зная, как обращаться с ними. Прожила всю жизнь в сельской местности, а не то что зарезать курицу, даже корову подоить не умела. От кур Аглая отказалась, деньги кончились, и она уже совсем не знала, что делать, но ведь не зря даже завзятые атеисты говорят: Бог не выдаст — свинья не съест.

Теплым утром 8 Марта к Аглае постучалась молодая пара. Он и она, высокие, улыбчивые, хорошо, но скромно одетые, аккуратно причесанные, у нее — маленькие сережки в ушах, а у него никаких колец ни в ушах, ни в носу. Он с цветами и чемоданчиком «дипломат», а она с двумя пластиковыми сумками. Попросили разрешения войти. На вопрос, кто они и по какому делу, молодой человек протянул визитную карточку: «Долин Валентин Юрьевич, президент международного благотворительного общества «Достойная старость».

— А я Гала, — сказала женщина и улыбнулась приветливо.

Аглая думала, что они пришли просить денег, но оказалось — наоборот...

Получив разрешение, гости разулись и остались в носках. Мягко ступая, словно боясь кого-нибудь разбудить, прошли в гостиную. Постояли перед памятником, молча, склонив головы и опустив руки. Валентин Юрьевич признался, что Сталин, хотя сейчас это очень не модно, является его любимым историческим героем. И тут же приступил к делу:

— Прежде всего, Аглая Степановна, позвольте поздравить вас с Международным женским днем и вручить вам... — Ва-

лентин Юрьевич обернулся к спутнице, и она начала вынимать из пластиковой сумки и ставить на стол бутылку «Советского Шампанского», бутылку водки «Финляндия», круг докторской колбасы, кусок сыра «Российский», коробку конфет «Красный Октябрь», блок сигарет «Мальборо». Аглая смотрела на все это с большим удивлением, словно расстелилась перед ней скатерть-самобранка.

— Это что? — спросила она.

— Это вам, — тихо сказал Валентин Юрьевич.

— Мне? За что? — спросила она.

— За вашу неиссякаемую женственность, — звонко сказала Гала.

— Глупости! — оборвал ее Валентин Юрьевич. — Разумеется, Аглая Степановна женственна, но мы ей собираемся помогать не только за это, а за все, что она сделала для нашей родины и для будущих поколений, для нас.

И объявил программу фонда «Достойная старость». Фонд создали молодые люди, патриоты, решившие помочь старикам, беззаветно боровшимся за построение коммунизма в нашей стране. Избавить их от нищеты и защитить от произвола антинародной власти. Для начала пришли узнать, в чем Аглая Степановна особенно нуждается (в еде? в одежде? в лекарствах?), а потом оказать посильную помощь. Совет фонда вынес решение от себя назначить ей дополнительную персональную пенсию в шестьдесят у.е. ежемесячно.

— Шестьдесят чего? — переспросила Аглая.

— Зеленых, — сказала Гала.

— Это что? Доллары? — спросила Аглая. — Я не хочу доллары.

— Вы неправильно поняли, — улыбнулся Валентин Юрьевич. — Это не доллары, а условные единицы. Рубли, привязанные к доллару.

Она поняла, что рубли эти будут ей даваться привязанными буквально к доллару чем-то — веревкой, ниткой, шпагатом, и молодым людям пришлось потратить усилия, объясняя, что связь будет воображаемая, а на самом деле по мере ин-

фляции количество реальных рублей будет расти, а количество вообразяемых у.е. будет стоять на месте.

— Кроме того, — сказала Гала, — мы вам будем помогать и едой. Раз в неделю будете получать продуктовую передачу.

На вопрос, за что ей такая благодать, оба, перебивая друг друга, поспешили объяснить: за все ее заслуги. За то, что была несгибаемой коммунисткой. И партизанкой. И воспитателем молодежи. И вообще труженицей.

— Но все-таки, — все еще не могла уразуметь Аглая, — что я вам должна?

— О Господи! — Гала всплеснула руками и закатила глаза к потолку.

— Аглая Степановна! — вздохнул Валентин Юрьевич. — О чем вы говорите? Вы нам должны? Это смешно. Мы вам должны. Ведь если рассудить, вы для нас, людей других поколений, так много сделали. Для нас будет большая честь, если вы возьмете то небольшое, чем мы можем вам сегодня хотя бы отчасти помочь.

— А от меня вы не хотите совсем ничего?

Гала опять изобразила полную удрученность.

— Ну, может быть... — сказал Валентин Юрьевич, — если вы в свою очередь захотите помочь нашему фонду...

— Чтобы он мог развиваться, — уточнила Гала.

— Тогда, — продолжил Валентин Юрьевич, — если вы... ну как бы это сказать...

— Все мы смертны, — вздохнула Гала.

— Да! — Валентин Юрьевич посмотрел на Галу с упреком за ее бестактность, но сам продолжил ту же тему и произнес слово «завещание».

Говорил он довольно витиевато, но из его слов Аглая все-таки поняла, что ее гости не то чтобы настаивают, но считают, что если бы она завещала свою квартиру фонду «Достойная старость» вместе со всем имуществом и этим произведением искусства — взмах рукой в сторону статуи, — то тогда, нет, дай вам Бог здоровья... но потом хорошо бы, чтобы ваше имущество попало в честные руки. Оно еще сможет послу-

жить людям, другим пенсионерам, ограбленным антинародным режимом...

Когда до Аглаи дошло, чего от нее хотят и что дадут взамен, она ни минуты колебаться не стала. Она была настоящей атеисткой и о том, что будет после смерти, не беспокоилась. Конечно, было бы естественно завещать квартиру сыну, но где он? Уже несколько лет от него ни слуху ни духу. Причем точно известно, что жив и здоров. Он был послом в одной из западных стран, время от времени его даже показывали по телевизору, обрюзгшего и облысевшего. Он очень хвалил перемены, говорил, что всегда был убежденным антикоммунистом... Нет уж, ничего не получит. Да и зачем ему квартира в такой дыре?

— Да, — вдруг спохватилась Аглая. — А как же насчет него? — Она кивнула в сторону Сталина. — Когда я умру, его сразу на свалку?

— Аглая Степановна! — закатил глаза Долин. — Как же вы можете! Я же вам говорю. Для меня и для Галы товарищ Сталин...

— Как Иисус Христос, — сказала Галя.

— Слово коммуниста, — продолжил Валентин Юрьевич, — мы эту реликвию сохраним до тех самых пор, пока она гордо не встанет на свое законное место. А это, поверьте мне, случится.

— Обязательно случится, — подтвердила Галя. — Мы этого добьемся. Потому что Сталин — наш кумир.

— Ну и ладно, — махнула рукой Аглая.

16

Алексей Михайлович Макаров, который Адмирал, делал нашу послеоктябрьскую историю на эпохи Террора подвального (когда при Ленине расстреливали людей в подвалах ЧК), Большого Террора (при Сталине), Террора в пределах ленинских норм (при Хрущеве), Террора выборочного (при Брежневе), Террора промежуточного (при Андропове,

Черненко и Горбачеве) и Террора без границ (настоящего времени).

Последний террор отличается от предыдущих тем, что осуществлялся уже не во имя Епэнэмэ, перестал быть централизованным и упростился. Кто попало приговаривает к смертной казни кого попало за что попало. Люди уничтожают друг друга всеми возможными способами, закалывая ножами, расстреливая из охотничьих ружей, дробовиков, винтовок, пистолетов, автоматов, пулеметов, гранатометов, с помощью яда, химических испарений, радиоактивных излучений и взрывных устройств. Высокая эффективность и нулевая раскрываемость. Кого убили, мы знаем всегда, а кто убил — навсегда остается тайной. Повсюду в городах, больших и отчасти малых, орудуют банды, всем известные с известными предводителями, паханами, ворами в законе, которые ни от кого не прячутся, разъезжают в бронированных лимузинах с охраной, ведут международный бизнес и хранят деньги не в стеклянных, а в оффшорных банках, в банках Швейцарии и в «Бэнк оф Нью-Йорк». Их называют банкирами, олигархами, мэрами, губернаторами, министрами, владельцами заводов, газет, пароходов, нефтяных скважин и телеканалов. Жизнь у них хорошая, но часто короткая и проходит в страхе. Боятся они не милиции, а друг друга, и не зря. Законы не писаны, но суровы. Смертная казнь — ходовое наказание. Вот и растет у этих людей потребность во всяких стреляющих или взрывающихся штуках, которыми можно укротить коллегу. Эти штуки должен же кто-то изготавливать. Одним из таких изготовителей и стал Ванька Жуков. У потенциальных заказчиков он пользовался растущим уважением. Все знали, что если «хлопушка» сделана Жуковым, то уж не подведет. Клиентура ТОО «Фейерверк» постоянно расширялась, заказчики, навещавшие Ваньку на иностранных «тачках», вели себя с ним подобострастно, называли Иваном Георгиевичем и на «вы» и за ценой не стояли. Давали ему полную свободу творчества, что для него было важно, потому что в своем деле он был художник. Он всегда стремился сделать что-то особенное, оригинальное, но

ограниченного действия. Не будем сильно романтизировать образ нашего народного мстителя. Делом он занимался предосудительным, но все-таки от других такого рода мастеров (которым лишь бы деньги) отличался определенной разборчивостью, тем, что аккуратно рассчитывал силу и направление взрыва и старался избежать лишних жертв.

Детонаторы Ванькиных «хлопушек» были все оригинальных конструкций: механические, химические, акустические, биметаллические, электрические и электронные. Они реагировали на самые разные сигналы и импульсы: на прикосновение пальцев с определенной дактилоскопией, на запах, на цвет, на свет, на тембр голоса, короче говоря, каждый раз задача ставилась новая во всех отношениях, применительно к данному конкретному случаю.

Самая первая большая Ванькина «хлопушка» была установлена в автомобиле и должна была сработать при достижении скорости 120 километров в час. Ванька не думал, что на такой скорости можно ездить по улицам города.

17

Никогда Аглая Степановна не жила так хорошо и беспечно. Одной пенсии ей не хватало, а с двумя могла себе ни в чем не отказывать. Тем более что помимо денег — полное продуктивное довольствие. Каждую неделю по четвергам являлась к ней с двумя авоськами Гала, оживленная, улыбчивая, ладная, в джинсах и в джинсовой стильной куртке. Проходила в кухню, выкладывала, приговаривала, напоминая одну из официанток в сочинском санатории:

— Вот принесла хлебушек, маслице, яички, колбаска, огурчики, помидорчики и вот это. — И, жмурясь, доставала бутылку водки «Финляндия». — Это хорошая водочка, чистая, не то что наша. Я тоже люблю немножко, как говорится, забалдеть, но нам с вами злоупотреблять не стоит. У меня брат медик, он говорит: ты, Галка, помни, женский организм к алкоголю более податливый, чем мужской.

С выпивкой Гала просила не торопиться. Сначала она приберет в комнате и приготовит обед. Тут же снимала куртку, засучивала рукава белой кофточки, закатывала штанины джинсов и принималась за дело. Когда наклонялась, вываливался наружу и болтался золотой крестик. И она его опять запихивала за пазуху. Ставила на плиту суп, гречневую кашу или картошку, а пока огонь делал свое дело, включала пылесос, чистила ковры. Влажной тряпкой протирала статую. Поливала на окошке цветы. И все это делала быстро, легко, порхая по квартире, приговаривая:

— Ой, сколько у вас пыли! Непонятно, откуда берется. Прострый раз все ведь протерла, и опять. Ужас! Все-таки, мне кажется, с экологией у нас что-то такое происходит.

Иногда о Сталине спрашивала: за что люди его так любили? Он был добрый?

— Как бы тебе сказать? — задумывалась Аглая. — Он был беспощаден к врагам, он их решительно уничтожал, но тем самым делал добро рабочему классу.

Аглая никогда не была сентиментальна, но тут что-то в ней сдвинулось, она замечала, что ждет свою кормилицу, радуется, когда та приходит, и даже называла ее порой Галочкой. А Гала обращалась к Аглае «мама Глая», и ей это было приятно.

Гала готовила, стелила скатерть, стол сервировала со вкусом, доставала две рюмки и два стакана для яблочного сока, после чего они вдвоем обедали, выпивали, разговаривали, бывало, до позднего вечера.

Гала охотно рассказывала о своих родителях. Оба были коммунистами. Работали в Норильске на металлургическом комбинате. Хотели накопить денег и дочке оставить. Но вот пришли к власти эти самые, как их называют, извините за выражение, и все родительские накопления превратились в пыль. Папа от огорчения умер, вчера как раз годовщина, я в церкви была, свечку поставила. Маме денежку послала. Она же получает нищенскую пенсию. Еще меньше вашей. Я, конечно, ей помогаю, это же мать. Представляете, всю жизнь

трудилась не покладая рук, а теперь сама себя прокормить не может. Я бы тоже не смогла, но Сережка... Сережка у меня, мама Глая, добрейшая душа. Он, когда видит старого человека с протянутой рукой, так страдает! Всем бы хорошо, но ревни-вый! Ой, мама моя, какой ревнивый! Видели, я прошлый раз с синяком была? Вы, может, не заметили, я запудрила, но вот он, и сейчас видно.

— А есть за что ревновать? — спросила Аглая.

— Ну, мама Глая, если по правде, есть. Он же на работе, на работе, на работе, приходит усталый, а то еще и выпивший, ложится и — лицом к стенке. А я же молодая живая женщина, мне, мама Глая, двадцать шесть лет... Ведь когда вам было двадцать шесть лет, вы, наверное, тоже..?

— Я в двадцать шесть лет партизанским отрядом командовала. — Аглая хотела сообщить это гордо, а сказала так, словно извинялась за свою убогую молодость, когда занималась глупостями и даром время теряла.

Но и Гала смутилась:

— Ой, мама, извините, мне даже стыдно. Ой, какие вы были люди! Идеиные, мужественные. А кто мы? Я бы вот партизанкой быть не могла, крови боюсь ужасно. Вот даже какой-нибудь чужой человек палец порежет, и мне дурно. Ведь вы действительно за нас трудились, сражались. А мы... мне даже стыдно... Это Сережка говорит, что мы молодые коммунисты, а у нас на самом деле ведь нет же никаких идеалов. В уме только и есть, что хорошая жизнь, тряпки, еда и секс. Иной раз даже хочется чего-то возвышенного, а мысли уходят вниз. Слаба, как говорится, на передок. Меня Сережка, знаете, как называет?

— Как?

Гала вздохнула, помолчала, словно колебалась, сказать или нет, и смущенно хихикнула:

— Галка-давалка.

— Значит, он тебя не зря колотит?

— Конечно, не зря. Если б зря, я бы не потерпела. Я сама, мама Глая, переживаю, вы себе представить не можете. Сама

думаю, ну что же я какая-то такая бэ, извините за выражение. До меня мужчина дотронется, и я тут же растекаюсь как масло. Не могу отказать, и все.

— Скажи мне... — начала было Аглая, но вдруг застеснялась.

— Что? — спросила Гала.

— Да так.... В общем, знаешь... У меня в твоём возрасте были другие нравы, мы все за родину, за Сталина, за партию, пятилетки выполняли, о себе мало думали, поэтому, ты уж не смейся, но я вот на старости лет все слышу: оргазм, оргазм. А что это такое — оргазм? Будешь смеяться?

— Да вы что, мама Глая! — Гала сделала большие глаза и понизила голос до шепота: — Неужели не знаете? Ой! Что вы! Ну, в общем, это, даже не знаю, как что. У меня во время этого дела... я сначала чувствую, как будто в меня что-то такое накачивают, накачивают, и я вся раздуваюсь, раздуваюсь, как шар, и такой, знаете, воздушный шар огромных размеров, и я куда-то лечу, лечу, а потом вдруг — раз! — и лопнула. Прямо вся со всех сторон лопнула и растеклась, как лужа, как озеро, как море. Я в этот момент ничего не соображаю, я умираю, а в ушах звучит музыка, ну как вам сказать... ну прямо — Майкл Джексон. — Гала посмотрела на Аглаю, подумала и спросила, будто сомневалась в ответе: — Мама Глая, а ведь вы тоже были когда-то молодая?

— А ты как думаешь? — спросила Аглая.

— Не знаю, — сказала Гала. — Вообще-то я понимаю, что были, а представить себе не могу.

18

Некий гражданин штата Небраска (Соединенные Штаты Америки), шаря по закоулкам Интернета, обратил внимание на пользователя Всемирной паутины, которого, видимо, интересовали современные достижения в области взрывного дела — вещества, компоненты, реактивы, катализаторы, ускорители и замедлители реакций. Незнакомец изучал также новейшие

способы передачи сигналов на расстояние, подробности разных сенсорных конструкций. Кроме того, он проявлял очевидное любопытство к жизни инвалидов войны в Америке, их количеству, пенсиям, быту, социальным программам и технике, облегчающей их существование.

Житель Небраски решил связаться с ищущим, вычислил его ICQ (или по-русски Аську) и обратился к нему таким образом:

— Hi, I'm Jim Bardington. Who are you?¹

Ванька (он неплохо знал английский язык) удивился, подумал и назвал свое имя. Новый вопрос был:

— Are you disabled?²

Ванька спросил:

— How did you guess?³

— You are very intelligent⁴.

— Thank you. And what about you?⁵

— Me too⁶.

— Intelligent or disabled?⁷

— Both. Vietnam war veteran. Are you Russian?⁸

— Yes⁹.

— I hate USA, too!¹⁰

Ванька еще не придумал, как выразить свое удивление, когда в дверь постучали условным образом. Ванька извинился перед американцем и вышел из Интернета.

Бавалья впустила невысокого человека в надвинутой на глаза кожаной кепке. Войдя в комнату, пришедший слегка отогнул козырек кепки и взгляделся в обстановку. В комнате

¹ Привет, я Джим Бардингтон. А ты?

² Ты инвалид?

³ Как ты догадался?

⁴ Ты очень умный.

⁵ Спасибо. А ты?

⁶ Я тоже.

⁷ Умный или инвалид?

⁸ И то и другое. Ветеран Вьетнамской войны. Ты русский?

⁹ Да.

¹⁰ Я тоже ненавижу Америку!

общего света не было, но над рабочим столом висел низко спущенный оранжевый шелковый абажур, а в нем — лампочка на сто пятьдесят свечей. В свете этой лампочки гость рассмотрел хозяина в инвалидном кресле — обрубок с изуродованным лицом, без глаза и без руки. Правая нога — закрытый холщовой штаниной пластмассовый протез с ботинком — стояла на низкой подножке. На левом протезе розового цвета штанина была завернута, а сам протез лежал на колене правой ноги, необутый, но в носках. Эту конечность Ванька, несмотря на наличие компьютера, использовал часто как записную книжку. Писал на ней карандашом, регистрировал заказы, выводил химические формулы, просто что-то подсчитывал, а устаревшие записи стирал ластиком. Комната к тому времени представляла собой настоящую и неплохо оборудованную химическую лабораторию. На столе — компьютер, аптекарские весы, два паяльника, микросхемы с чипами, катушка с медным проводом и журнал «Химия и жизнь». На полках вокруг стола — колбы с жидкостями, банки с надписями «селитра», «ртуть», «угольный порошок», «желатин», «сера», «медный купорос», «глицерин» и «нитроглицерин». На грубо сколоченных стеллажах и под ними стояли и лежали канистры, ведерки, банки, две противопехотные мины, четыре противотанковые гранаты и еще всякая смертельно опасная всячина.

— И вы всё это держите открыто? — удивился гость.

— Садитесь, — сказал Ванька и указал ему на рыжее продавленное кресло у левого края стола. — Как зовут скажете?

— Скажу. Иван Иванович. Устроит?

— Устроит, — согласился Ванька. — И что нужно?

Иван Иванович почему-то вдруг засмутился.

— Тут есть один человек, — начал он неуверенно.

— Где тут? — сурово спросил Ванька.

— В Москве. — Иван Иванович испытывал явную робость. — Вообще-то он здешний, но банк у него в Москве. И его надо...

— Что надо — я догадываюсь, а кто он? — спросил Ванька.

— Нужна фамилия?

— Нужны данные. Кем работает, где бывает, с кем общается, как проводит свободное время, пристрастия и привычки.

— Все есть, — сказал гость. Он достал из бокового кармана пухлый бумажник со многими кредитными карточками в специальных кармашках. Вынул из него лист бумаги, где компьютерным шрифтом было перечислено нужное. Президент банка, 29 лет, разведен, один ребенок, работает добросовестно, на службу раньше других приходит, позже уходит, имеет двух телохранителей, живет в хорошо охраняемом доме, состоит в любовной связи с женой хозяина ресторана «Золотой гусь», с которой встречается в специально снятой квартире, этот дом не охраняется, подъезд тоже, в квартире сигнализация, но ее можно отключить через своего человека в милиции.

— Наше предложение, — сказал Иван Иванович, — мину заложить под кровать с расчетом давления. Пока в кровати только любовница, мина лежит спокойно, когда двое, она взрывается. Очень просто.

Ванька держал бумажку в руках, перечитывал, выпячивал нижнюю рваную губу в знак презрения.

— Просто и глупо, — высказал он свое суждение.

— Почему? — удивился гость слегка обиженно.

— Потому что, если он будет лежать на ней, она станет ему щитом. Ее разорвет, а он останется живой.

— А побольше взрывчатки? Мы заплатим за все.

— Вы-то заплатите. Только там же, наверное, еще квартиры есть. Внизу, сверху. Семьи, дети...

— Ну и что? Ты гуманист, что ли? — спросил гость.

— Попрошу не тыкать, — буркнул Ванька, думая о чем-то своем. — Не гуманист, а специалист. Не люблю примитивных решений. Какие еще у него привычки?

Оказалось, будущая жертва у себя в кабинете держит бар и несколько раз в день пьет виски с тоником.

— Виски с тоником? — удивился Ванька. Он взял со стола карандаш и стал писать что-то на пластмассовой ноге. — Разве вообще пьют виски с тоником?

— Почему нет? — пожал плечами заказчик. — Я тоже пью виски с тоником.

— Ну, ну, — Ванька пожал плечами. Со времен своей жизни в Москве у Варвары Ильиничны он помнил: западные журналисты угощали диссидентов иностранными напитками и сами пили, но с тоником они пили джин, а не виски. — Ладно, — пробормотал он. — У каждого свой вкус.

В процессе дальнейших расспросов Ванька уяснил для себя, как банкир проводит начало рабочего дня. Входит в кабинет и первым делом — к бару. Нальет виски с тоником и полчаса, не меньше, потягивая этот напиток, думает. После чего открывает сейф, достает из него деловые бумаги и приступает к работе. Выяснилось, что шифр заказчику известен.

— Ладно, — сказал Ванька и опять что-то записал на ноге, — приезжайте через неделю.

— Договорились. — Уходя, заказчик кивнул на Ванькину ногу. — Хорошая записная книжка.

— Хорошая, — согласился Ванька. — Всегда под рукой.

После ухода гостя Баваля заперла дверь, а Ванька вернулся к компьютеру и спросил своего нового знакомого, почему тот ненавидит Америку.

19

Мы живем во времена, когда только у крайнего скептика есть шанс оказаться мудрецом или даже пророком. Отношения людей между собой становятся чем дальше, тем хуже, а нравственность... У нас о ней очень много говорят, закатывая при этом чувствительно глазки. Ах, нравственность, нравственность... Но находится у нас эта самая нравственность в таком состоянии, что лучше о ней вовсе не говорить. Чем больше человек жулик, тем больше говорит о нравственности, патриотизме и любви к человечеству. На самом деле в процессе истории человек сильно черствеет.

Можно ли себе представить, что всего сто с небольшим лет назад на всю Россию был всего один палач? Второго, со-

гласного казнить людей, не находилось. Случалось, одни других пропарывали ножами или забивали кольями, но это только по пьяни, по дурости, в состоянии повышенной, как тогда говорили, ажитации, иногда, конечно, и за деньги, но не в порядке рутинно исполняемых служебных обязанностей. Не по идейным соображениям. Не по сексуальному побуждению. Не в ходе научных поисков. И не в таких количествах.

Сколько перед нашими глазами прошло убийц разного калибра: Ленин, Сталин, Гитлер, Гиммлер, доктор Менгеле, Пол Пот, Чикатило...

Между прочим, никому из писателей не удалось воссоздать достоверно ни один из подобных характеров. Ибо, описывая того или иного героя, надо же представить себя на его месте и самому вообразить, что ты — это он. Способность вообразить себя кем-то — работа для писателя самая обыкновенная. Он может ощущать себя Эммой Бовари, Пьером Безуховым, Чичиковым, Коробочкой, а то Холстомером или Каштанкой. Ведь даже у лошади и собаки есть доступные нашему пониманию чувства и побуждения, но я не знаю ни одного сочинителя, сумевшего вжиться в роль Ленина, Сталина, Гитлера или того же Чикатило. Ленин, Сталин и Гитлер руками исполнителей убили миллионы людей. Чикатило своими руками вырезал у девочек матки и пожирал в сыром виде. Он убил, изнасиловал и частично сожрал полсотни человек, но его рекорд продержался недолго. Некий Коля уколошил сотню женщин, но в сыром виде пил только кровь. А мясо варил, жарил, вялил, коптил, превращал в колбасу, лопал сам и угощал гостей. После Коли появились убийцы, которые превзошли его, и соревнование продолжается. И чем дальше, тем больше плодятся садисты, вурдалаки, запасатели человеческого мяса впрок. Маленьких детей похищают для взятия у них внутренних органов. А что касается мастеров делового убийства, то их работа будоражит воображение школьников, и пылкие юноши со взором горящим мечтают быть не поэтами, не землепроходцами и космонавтами, а киллерами. Это заманчиво и романтично — высмотреть, выследить свою жертву, дожидаться в

темном подъезде под лестницей, расстрелять в упор и, переступив через труп, неспешно удалиться после контрольного выстрела в голову.

Валидол не был никогда ни романтиком, ни садистом. Он убивал людей, только если в их убийстве видел какую-то выгоду. И не трогал всех остальных. Удовольствия от убийства он не получал, но и неудовольствия не испытывал. Дело есть дело — так он к этому относился. Убить человека — как расколоть полено. С той только разницей, что убивать — собой рисковать. Могут самого убить. Или посадить. И неприятная сторона умерщвления — что потом надо заматывать следы, расчленять трупы, уничтожать улики, разрабатывать алиби. Так что, если бы Валидол мог сделать, как он говорил, хорошие бабки, никого не убивая, он бы не убивал. Собственно, он уже подумывал о том, чтобы по накоплении начального капитала отойти от мокрых дел и заняться легальным бизнесом. Но перед этим надо было довести до конца начатое прежде, и тут... — думая об этом, Валентин Юрьевич мысленно разводил руками, — надо было еще кое-кого, увы, лишить жизни, а уж потом... потом...

...Со сна, впрочем, думать особенно не хотелось... Хотелось еще поспать, но солнце, раннее, весеннее, как будто росую омытое, светило прямо в глаза и заставляло жмуриться. Он отвернулся от солнца и повернулся к своей возлюбленной, которую он в хорошем настроении называл Галчонком. Она спала спиной к нему с обнаженным плечом, загоревшим еще в феврале на острове Бали. Плечо смуглое с белой полоской — незагорелый след от бретельки. Валидол положил руку на это плечо и осторожно погладил. Настроение было прекрасное. До сего дня все дела у него совершались удачно, и достиг он многого из того, о чем раньше он и не мечтал, хотя давно уже знал, как хрустят в кармане большие деньги. Но в недавнем прошлом на что он мог их тратить? Ну, гулял в ресторанах, ну, нежился в Сочи, ну, парился в сауне, ну, купал девочек в шампанском «Абрау Дюрсо», сам этим шампанским или водкой напивался до свинского состояния. Но

платить за все это приходилось дорого. Дважды сидел и в третий раз загремел бы, если б не перестройка, реформы и прочее.

А теперь казино, рестораны, кинотеатр, фирма «Новосёл» и агентство «Мир на ладони». Недавно прикупил еще бензocolонку, а на днях не сумел устоять перед шестисотым «Мерседесом», хотя сам смеялся над другими владельцами этой модели, над «новыми русскими» из анекдотов. Стоит он, красавец, в гараже. Бронированный с тонированными стеклами, с позолоченными ручками и весь насквозь «навороченный». И сигнализация на нем, и автоматика, и подогреваемые сиденья, и компьютер, и термометр, и навигационный прибор (в данной местности, впрочем, бессмысленный). Не поспешил хозяин, застраховал свою тачку на полную сумму. От кражи, аварии, стихийных бедствий и прочего. На всякий случай привлек к страхованию Высшие силы в лице священника, который во имя Отца и Сына и Святого Духа окропил покупку и произнес молитву о сохранении колесницы и рабов Божьих, кто будет передвигаться в ней.

Так что все пока шло хорошо. И предполагалось, что будет еще лучше. Еще несколько усилий и среди них умерщвление старой алкоголички. Умерщвление совершенно несложное и почти без риска. У него уже все разработано. Он уже четверем таким же престарелым пьянчужкам помог избавиться от бремени жизни. Это просто. С бабушкой надо сначала выпить немножко, а потом побольше, а потом предложить: выпей бабуля еще, и, если будет брыкаться, открыть ей рот и лить туда, куда не захлебнется. Работа неприятная, но вынести можно. И уж наверное, одна из последних такого рода. Скоро построит он водолечебницу и заводик по разливу минеральных вод и назовет свою воду (его друг лучший Мосол придумал) «Валина Долина». И будет вести честный легальный бизнес или почти честный, достаточно честный, чтобы можно было откупиться от прокуроров и налоговых полицейских. Он уже и сейчас живет отчасти легально: бизнес ведет открытый, заработанным делится. И начальству на

лапу дает, и храму Козьмы и Дамиана в помощи не отказал, и организовал фонд «Достойная старость». Его уважают председатель городской администрации, начальник милиции, начальник управления органов безопасности, скоро будут новые выборы, он примет в них участие. Успех ему, при его деньгах и связях, должен быть обеспечен. А там — гарантия неприкосновенности и дальнейшей карьеры, и в конце концов видел он себя в кресле городского головы, где все будет в его подчинении: банк, милиция, прокуратура и суд. Короче, в хорошем настроении проснулся, повернулся к любимой, она спала, уткнувшись в подушку. Он погладил ее плечо. Она проснулась: а? Что? Чего? Поняв, что чего, потянулась к нему...

Потом пили на балконе свежесваренный кофе со сливками, с подогретыми булочками и сыром. Светило солнце, было тепло, пахло жасмином, который щедро цвел на уровне балкона.

— Как хорошо! — вырвалось вдруг у Валидола.

— Что? — испугалась Галя.

— А что — что?

— Ничего, — смутилась она. — Я просто не ожидала, что ты можешь чего-то чувствовать.

— Дура! — сказал он. — Это ты не понимаешь и никогда не поймешь, как прекрасна жизнь!

— Почему же? — обиделась. — Ты что, чувствительней меня?

— Нет. Но чтобы ощущать счастье от такой жизни, надо нахлебаться другой. Надо пожить, например, в лагере.

— Ты говорил, что и там жил неплохо.

— Неплохо. Я жил там лучше других. Я был там паханом, у меня было лучшее место на нарах, я там не работал, пил чифирь, и шестерки исполняли любые мои желания.

— Вот я и говорю.

— Что ты говоришь! — почти рассердился он. — Ты понимаешь, это была неволя? Вместо кофе чифирь, вместо жасмина, который сейчас цветет, вонючие портянки, и одни звероподобные рожи вокруг. Нет, больше я туда не хочу.

— А почему ты должен туда? За что? Ты — честный человек?

— Я? — Он посмотрел на нее насмешливо. — Это я-то? И ты?

— Я-а? — удивилась она. — Ты хочешь сказать, что я?.. У нее в глазах появились слезы.

— Ты считаешь, что я нечестная? — Она была готова немедленно устроить истерику.

— Нет, — сказал он ей торопливо. — Я тебе ничего такого не говорю. Но ты только не расслабляйся и не забывай, что нам сегодня еще надо замочить старушку.

— При чем тут это?! — закричала она. — Я от работы никогда не отказывалась, я тебе всегда и во всем помогала.

— Ну, успокойся! — Придвинувшись, он устроил ее голову у себя под мышкой. — Ты не волнуйся, все будет хорошо, ну, замочим старушку, одну, последнюю, и заживем честно-пречестно. Будем заниматься бизнесом, зарабатывать деньги, ездить на острова...

Вскоре они вышли на улицу. Валидол открыл гараж пультом дистанционного управления. Гибкие ворота со скрежетом поползли вверх. Солнечный свет отразился на бампере и на радиаторе красавца на четырех колесах. Двое проходивших мимо мальчишек остановились посмотреть на лимузин XXI века.

Валентин Юрьевич выехал из гаража. Ворота опустились. Гала устроилась на кожаном сиденье справа от любимого человека. Он перевел рычаг в положение «drive», плавно нажал на газ, вывернул на Монастырскую улицу и с места набрал сумасшедшую для этих улиц, неровных, узких и забитых, скорость.

— Валя! Куда ты несе...? — Гала вцепилась в ремень безопасности и скосила глаза на спидометр. Стрелка быстро пошла по кругу и пересекла отметку 120...

Аглая Степановна Ревкина в это время шла из магазина со скоростью в час километра два с половиной. В пластиковой сумке она несла двести граммов одесской колбасы,

курицу, килограмм картошки, банку кабачковой икры и вилок капусты. Она помнила, что сегодня придет Гала, принесет водочки и продукты. А может быть (Гала сказала), и Валентин Юрьевич посетит. Аглая решила кое-какую закуску приготовить сама. С улицы Монастырской она собиралась свернуть в свой Комсомольский тупик, когда выскочил из-за угла «Мерседес», разогнался, понесся дальше и вдруг в результате странной метаморфозы превратился на глазах в клубок летящего пламени. Почти одновременно бабахнуло, резануло волной по глазам и барабанным перепонкам, полетели в стороны куски железа и стекла. Оторвавшееся колесо сначала взлетело свечой в небо, затем упало на крышу проходившего мимо автобуса, соскочило с него и понеслось вдоль по улице ровно посередине, а потом свернуло в сторону, сбило пробегавшую мимо собаку, врезалось в сапожную будку и завалило ее вместе с сидевшим в будке сапожником.

Поскольку наше повествование не является произведением детективного жанра, а только правдиво отражает нашу детективную действительность, не будем напрасно держать читателя в напряжении и скажем сразу, что Аглаю Степановну Ревкину от участи, уготованной ей фондом «Достойная старость», спасло то обстоятельство, что у Валидола оказался мощный соперник — финансист Андрей Игнатьевич Мосолов, по прозвищу Мосол. Который мог быть Валидолу очень верным другом, если бы не имел собственных видов на минеральный источник и на предстоящие выборы.

Читатель, наверное, помнит, что свой «Мерседес» Валидол застраховал и освятил. Было бы странно, что тачка Валентина Юрьевича, имея Высшую защиту, все-таки взорвалась. Было бы странно, если не знать, что подложенная под «Мерседес» адская машина была тоже освящена. Мосол специально носил ее в церковь и был щедрее, чем Валидол. К тому же сработано было это устройство на совесть.

Ванька Жуков все рассчитал точно. Он только не подумал, что Валидол разовьет такую скорость в пределах города.

— Ты мне можешь объяснить, почему ты ненавидишь Америку? — спросил Ванька своего нового друга.

— Не только Америку, — ответил Джим. — Я ненавижу весь мир и все человечество. Человек считает себя венцом творения. На самом же деле он — самое лживое и самое подлое животное, которому никогда нельзя доверять. И самое неразумное. Большинство людей заняты тем, что производят оружие, убивают себе подобных или собираются убивать. разве достойны считаться разумными существа, которые не могут договориться друг с другом о том, чтобы жить в мире и не приносить друг другу несчастья? Самый ужасный хищник убивает свою жертву для того, чтобы утолить голод. И только люди убивают друг друга, подвергают друг друга невероятным мучениям из удовольствия. А больше всего я ненавижу здоровых людей. Так или иначе, они нами пожертвовали, и теперь им не стыдно, что они ходят, бегают, прыгают, играют в баскетбол, обнимаются, машут руками. Они, когда видят тебя и меня, отворачиваются, потому что мы портим им настроение. Я хорошо отношусь только к таким инвалидам, как мы с тобой, и я хочу, чтобы все люди хотя бы по месяцу или только по две недели побыли на нашем месте.

— Но может быть, все дело в том, — написал Ванька, — что люди несчастнее животных. Они, в отличие от всех других существ, знают о своей смертности.

— Да, — согласился Джим, — они несчастны. Но тогда каждому из них надо пожалеть не себя, а друг друга.

— Но ты же их не жалеешь.

— Именно поэтому и не жалею. Я жалел. Пока был здоровым молодым человеком, учился в колледже, любил красивую девушку и играл в баскетбол. Теперь я заслужил право никого не жалеть и никого не любить. Кроме таких, как мы с тобой. Я пью за тебя.

— Что ты пьешь?

— Я всегда пью виски.

— С тоником? — спросил Ванька.

— Что? — спросил Джим. — Виски с тоником? Ты думаешь, это возможно — пить виски с тоником?

— А почему нет?

— Друг мой, не надо. Если ты пьешь виски с тоником, я перестану тебя уважать.

— Почему?

— Потому что пить виски с тоником — это очень дурной вкус. Это делают только в Калифорнии. В других местах виски никогда не пьют с тоником. С тоником пьют джин, водку, вермут, кампари, что угодно, но только не виски. Виски — напиток благородный, его пьют со льдом, с содовой, с минеральной, с водопроводной водой и просто чистый, как я. Но с тоником...

Назавтра он послал Бавалю в супермаркет, она принесла виски и тоник, и Ванька запил.

Всю неделю пил. Смешивал виски с тоником в разных пропорциях, пил, дышал на какие-то им самим изготовленные запахоуловители, производил манипуляции, понятные только ему. Через неделю новое устройство было создано и передано заказчику.

21

Телевизор Ванька смотрел редко. Но иногда проявлял к новостям повышенный интерес. Обычно через несколько дней после изготовления им очередного изделия из Москвы, Петербурга, реже из других городов поступали сообщения о взорванной квартире, автомобиле, офисе и о гибели того или иного важного человека. Так он узнавал, от кого именно ему удалось избавить человечество. Но когда сообщалось, что взрыв произошел в автобусе, в троллейбусе, на вокзале, Ванька знал точно — это работа чужая и грязная.

Полторы недели прошло, как он простился с Иван Ивановичем, но ни по радио, ни в газетах — ни одного подходящего сообщения. Ванька терялся в догадках, когда дождливым днем

нагло ворвался во двор джип «Лендровер» и из него чуть ли не на ходу вывалились Иван Иванович и с ним блондин, похожий на кого-то из футболистов. Бавалья была в отъезде по делам снабжения, а сам Ванька сидел с незапертой дверью. Они ворвались в комнату, не постучав, и Иван Иванович, забыв, что его просили обращаться на «вы», с порога повысил голос:

— Ты, сука... — и сразу обратил внимание: в углу что-то зловеще зарокотало.

Ванька спокойно предупредил:

— Осторожнее, тут чувствительные приборы. Болезненно реагируют на грубости и особенно на огнестрельное оружие.

Иван Иванович сразу опомнился и остановил блондина, который уже тащил из кармана что-то железное.

— Так в чем все-таки дело? — спросил Ванька, когда посетители успокоились.

— А ты не знаешь? — спросил Иван Иванович.

— Да не «ты», а «вы», — снова поправил Ванька. — Что случилось?

— В том-то и дело, что ничего не случилось, — сказал блондин, глядя на Ваньку сурово и испытующе. — Заложили пакет за сейф, подсоединили детектор. Ничего не происходит.

— Мм, — задумался Ванька. — А он пить случайно не бросил?

— Да ты что! — горячо возразил Иван Иванович — похоже, даже с обидой за своего шефа и тут же поправился: — То есть вы. С утра, как придет, так прямо к бару.

— Угу. — Ванька почесал в голове. — А может, он перешел на джин? Или на водку?

— Да нет же, нет, — раздраженно возразил Иван Иванович. — Как пил, так и пьет виски с тоником. Причем всегда один и тот же сорт — «Джек Дэниэлс».

— «Джек Дэниэлс»? — переспросил изумленный Ванька. — Да что ж вы мне сразу-то не сказали? Я думал, шотландское виски, а это «Джек Дэниэлс». Это же бурбон. Если он даже его пьет с тоником...

— А почему нет? — спросил блондин.

— Если у нас банкиры с утра такую дрянь пьют, то какое может быть доверие к подобному банку и какая у нас может быть экономика. Ладно, привезите мне бутылку этого «Джека», у нас его здесь нет...

— А у меня в машине есть, — сказал Иван Иванович. — Сейчас принесу.

22

Несколько дней спустя Андрей Игнатьевич Мосолов, как всегда, в половине девятого подъехал на своем изумрудном «Ягуаре» к боковому входу в банк «Орион», где он, числясь президентом, отмывал свои скромные накопления. Водитель сразу же увел машину на охраняемый двор, а два личных телохранителя президента прошли внутрь, но остались внизу. На второй этаж президент поднялся сам. Прошел мимо секретарши к себе в кабинет. Пальто, шляпу, белое кашне повесил на вешалку. Включил компьютер, открыл бар, бросил в толстый стакан четыре кубика льда, налил виски «Джек Дэниэлс» и добавил тоника. Этот варварский напиток он приучился пить, еще когда жил в Америке и учился в Стэндфордском университете. Пока он готовил свой напиток, компьютер загрузился, и Мосол вышел в Интернет. Стал читать биржевые новости и пришел в некоторое смятение. Пока он спал, на Токийской бирже резко упали акции, в которые его банк вложил основную часть своего капитала. Перекинувшись на другой сайт, он выяснил, что право на разработку минерального источника в районе города Долгова передано его конкуренту Феликсу Булкину, которого Андрей Игнатьевич знал под прозвищем Чума еще со времен их совместного рэкетирства на железной дороге и первых прибылей от продажи поддельного спирта «Рояль». Имея образование в пределах двух курсов техникума текстильной промышленности, Чума, однако, оказался достаточно сообразительным, чтобы войти в большой бизнес, и успешно конкурировал даже с таким крупным экономистом, каким был Андрей Игнатьевич Мосолов. Недостаток образования

Чума компенсировал природной наглостью и умением пролезть или, как он говорил, протыриться куда угодно и к чему угодно.

— Ах ты, паскуда! — в сердцах сказал Андрей Игнатьевич, адресуя эти слова своему наглому сопернику. Произнеся еще несколько выражений, выученных не в «Лондон скул оф экономик», а совсем в других местах, Мосолов кинулся к сейфу посмотреть кое-какой скопленный на Чуму компромат, какие-то документы, выписки из старых судебных дел, видео-плнки.

Мосол открыл дверцу сейфа и со словами «Ты у меня, падло, узнаешь» сунул голову внутрь.

Взрыв был не мощный. Секретарше он показался просто громким хлопком. Но, заглянув в кабинет президента, она сначала увидела только дым. А потом сквозь дым разглядела голову президента, которая, откатившись от туловища, тлела, как головешка. Секретарша упала в обморок, а потом несколько месяцев лечилась у гипнотизера от заикания.

часть пятая

ПРАЗДНИК НА НАШЕЙ УЛИЦЕ



LYCRA

filodoro
calze & collant
модели
на любой вкус
и для любых
ситуаций

*В колготках
Филодоро
Вы всегда уверены в себе!*

Для Аглаи опять настала трудная жизнь — на одну пенсию, которой ни на что не хватало. Даже на то, чтобы вставить в спальне стекло, которое в начале осени выбили футбольным мячом мальчишки. Окно она заклеила газетой, но газета рвалась, в спальне было холодно и сквозило. Переселилась в гостиную и спала на диван-кровать, держа его всегда в разложенном виде. Диван был жесткий и двугорбый, как верблюд, — каждая половина выпуклая. Аглая по ночам скатывалась в середину, и, хотя одеяло было теплое, она мерзла — между двух половин дивана была широкая щель, сквозь нее тянуло холодом. Начались не дававшие спать головные боли. А когда она все-таки засыпала, мелкие существа — тараканы, мыши, летучие мыши подступали к ней, смеялись и скалили зубы. Иногда эти твари были похожи на членов Политбюро. Иногда снились члены Политбюро, похожие на этих тварей. Когда они исчезали, она приходила в сознание или в полусознание, в любую погоду продрогшая — тело в гусиной коже, покрытой липким холодным потом.

Весной появились боли в правом подреберье. Когда терпеть стало невмочь, она вызвала на дом врача. Пришел участковый доктор, пожилой, грустный, со шкиперской бородой, раздающейся двумя большими ключьями в стороны, в халате поверх старого пальто. Посмотрел, прослушал, смерил давление, поинтересовался, как аппетит, есть ли тошнота, рвота, отрыжка.

— Аппетита нет, — сказала она, — а остальное есть.

— Ладонки можете показать? — Он повернул ее ладони к свету, помял мягкими пальцами. — Розовые ладонки. Печень ваша включила красный сигнал цирроза.

— Это что значит? — спросила Аглая.

— Это значит, что пить надо бросить сейчас же, перейти на диету: ничего жареного, поменьше соли и жиров, побольше витаминов. Если все это будете соблюдать, то еще поживете.

Когда доктор ушел, она подумала и, не надумав, для чего бы ей еще жить, отправилась в магазин за водкой.

2

В магазине встретила Диваныча в штатском засаленном пиджаке. Отрастил длинные волосы, как у попа, и сзади заплел в косичку. Желтый, худой, пиджак на нем, как на палке, во рту — ни одного зуба. Она не помнила, когда видела его последний раз, в прошлом году или вчера, но думала почему-то, что он умер.

— Да вот чуть и не помер, — прошамкал Диваныч. — В больнице лежал. Нашли полипы в прямой кишке, если, гряд, не вырежете, могут переродиться. Когда мне прошлый раз грыжу вырезали, там хирург был Семен Залманович Кацнельсон, ну прямо чудо-доктор. Золотые руки. Я раньше к нашим-то не ходил, всегда старался попасть к евреям. Потому что еврейский врач — это как ювелир. Что надо отсечет, но лишнего не тронет. В этот раз прихожу, а там доктор Богданов Иван Трофимович. Два метра ростом, в плечах во, а руки такие рыжие, в веснушках и волосатые. Думаю, с мясокомбината перевели на понижение. Я спрашиваю: а где же Семен Залманович? А он, грит, в Израиль уехал. А Раиса Моисеевна? А Раиса Моисеевна в Америку, в город Чикаго. А Богданов грит: да при наших условиях и при нашей зарплате я б и сам, грит, в Израиль уехал, да кто ж меня с такой рожей-то пустит. Но все-таки и он сделал мне операцию неплохо.

— За деньги? — спросила Аглая.

— Откуда ж у меня деньги, Агластепна? Ведь власти нас сколько раз кидали. То черный вторник нам устроят, то черную пятницу. Это называется экзамен на выживание. Надо освободить страну от лишнего балласта. Мы, пенсионеры, государству слишком дорого обходимся, вот они и хотят извести нас под корень.

— Кто они? — спросила Аглая.

— Ну кто, кто? — сказал Диваныч. — Жиды. Везде сидят. В правительстве, в Думе — одни жиды. Согласны?

— Ага, — сказала Аглая и покивала головой, хотя мнения своего у нее не было.

Диваныч пришел без денег, но со своим стаканом, сдавал его на прокат. Алкаши, которые побогаче, попросят распить бутылку, глоток отольют. Там глоток, здесь глоток, а ему больше и не надо, организм слабый, многого не требует. Плеснула ему и Аглая и поплелась домой.

Во дворе механически обошла иностранный джип на высоких колесах с заляпанным грязью номером. С некоторых пор во дворе всегда стояли джипы, «Мерседесы», «Вольво» и прочие иномарки заказчиков ТОО «Фейрверк». За рулем увиденного Аглаей вездехода сидел мордovorот. Когда Аглая проходила мимо, он закрыл лицо газетой «Известия» и морды стало не видно, только уши торчали из-за краев газеты в разные стороны. Но он мог бы не закрываться. Аглая давно ничего не нужного ей не замечала, а замеченное забывала немедленно.

Она вошла в подъезд, и в это время дверь Ваньки Жукова отворилась. Аглая учуяла запах нитроглицерина, со времен ее партизанства и железнодорожных диверсий хорошо ей знакомый. Теперь запах возбудил в ней смутное воспоминание, из которого никакой картины не выстроилось.

Из полуподвала поднялись наверх два человека, худых и поджарых, в длинных кожаных пальто и кожаных фуражках. Они несли вдвоем, взявшись каждый за свою ручку, дорожную сумку с надписью «Копенгаген», видно очень тяжелую. При этом один из них внимательно посмотрел на Аглаю, а другой тоже посмотрел и, вероятно, подумал, не стоит ли на всякий случай шлепнуть старушку как возможного живого свидетеля. Но тут же сменил эту мысль на новую, что старушка слепа, глуха и глупа и вряд ли чего сообразит, а тем более вспомнит. И вместо того чтобы совершить преступление, он просто прикрыл глаза козырьком и слегка отворотил лицо. Аглая прошла к себе. Пронесла свою сумку сперва на кухню, но там было

грязно и неудобно, решила поесть в гостиной. На журнальный столик постелила газетку «Долговский вестник». Расположила на ней чекушку, стакан, черный хлеб на разделочной доске, два крутых яйца, сваренных еще утром, лук и соль. Уютно устроилась, налила себе треть граненого стакана. Взглянула на Сталина, заросшего пылью и паутиной. Ей показалось, что он смотрит на нее с укоризной. «Стой себе», — сказала она и махнула рукой. Газета лежала перед ней в развернутом виде — первая и четвертая страницы текстом кверху. На первой — вести из Москвы: президент встречался с министром юстиции и обсуждал вопросы политического экстремизма. Мэр Москвы решил построить в столице самое высокое в мире высотное здание. В детском саду обнаружено взрывное устройство с начинкой из смеси селитры с тротилом. Из местных сообщений — отчет о подготовке к выборам районной администрации. Власть небольшая, всего-то в пределах района, а сколько страстно желающих и на все готовых! У Аглаи в глазах рябило от количества политических партий. Коммунисты, социалисты, монархисты, либералы, демократы, кадеты, социал-демократы, либерал-демократы, члены союзов борьбы за свободу, патриотических сил, белые, зеленые, голубые и всяких прочих направлений, цветов и оттенков.

Таким дальтонизмом страдала не только Аглая. Адмирал, с возрастом укрепившийся в своем скептическом взгляде на все, протекавшее перед его глазами, говорил про наших политиков, что все они из одного инкубатора: мечены разного цвета чернилами, но суть одна.

На последней странице были новости спорта, астрологический календарь и объявления, по которым глаз Аглаи равнодушно скользил:

«Белю потолки и клею обои». «Продается авто «Опель-Кадет» с запасным комплектом резины». «Индийский чародей Бенджамин Иванов — высшая магия». «Моментальная привязка и приворот любимого навсегда методами вуду-зомбирования. Полное избавление мужа от любовницы и возврат в дом. Гарантия — 100%». «Недорого. Стрижка, щипка,

тримминг собак». «Освещаю помещения, жилые и офисные, дома, участки, мебель и автомобили. Священник отец Дионисий». И стихами: «Доктор Федор Плешаков лечит алкоголиков. Эспераль, торпедо, код. Пить не будешь целый год».

Аглая задумалась, не посетить ли доктора Плешакова. Но не пить целый год... возможно ли это? Она махнула рукой и стала читать дальше про распродажу шуб и дубленок, остекление окон, бурение скважин, удаление зубов без боли, циклевку полов и восстановление девственности (надежно, дешево, конфиденциально).

3

Сидя на диване, она задремала, и опять появились маленькие не то тараканы, но то мыши, не то помесь того и другого. Они корчили рожи, скалились, смеялись, а когда Аглая спросила их, кто они, появился маленький Диваныч и сказал: «Жи́ды». И тараканомыши стали совсем нахально смеяться, а Диваныч, стуча по столу стаканом, запел: «Сердце красавицы склонно к измене...»

Мышетаараканы исчезли, Диваныч растворился в воздухе, но стук продолжался. Аглая подошла на цыпочках к двери и спросила негромко:

— Кто там?

Оттуда ответили:

— Жи́ды.

— Кто? — удивилась она.

— Жи́ды, — повторил мужской голос. Аглая откинула щеколду и увидела перед собой молодого человека в драповом длинном пальто, с велюровой шляпой в руке.

Она заглянула за его плечо и спросила:

— А где остальные?

— Кто? — не понял пришедший.

— Вы сказали, что вы... — Она замаялась, не желая произносить слово, которого в своей речи все-таки избегала.

— Жердык, — представился пришедший. — Александр Петрович Жердык, секретарь райкома партии.

— Какой партии? — настороженно поинтересовалась Аглая.

— Разумеется, коммунистической, Аглая Степановна, — внушительно сказал Жердык.

— А разве еще есть коммунистическая партия? — спросила она.

— Конечно есть, — сообщил Жердык. — Она растет и крепнет. Разрешите войти?

Она прошла в гостиную, и он за ней. Ей было неловко за беспорядок.

При виде Сталина гость не остолбенел, как это бывало с другими, а осмотрел статую уважительно, слегка поклонился ей, повернулся и поклонился Аглае.

— Спасибо, — сказал он тихо, но от души. — Спасибо. Скоро мы вернем товарища Сталина на его законное место.

Даже эти слова не произвели на нее никакого впечатления. Он сел на валик дивана и, растягивая шляпу на колене, начал смущенно:

— Аглая Степановна, мы все о вас знаем.

Она и на это не огозвалась.

— Мы знаем все о вашем героическом прошлом, о вашей принципиальности, негибамости...

— Ага, — сказала она, кивая.

— Ну сейчас вы, может быть, немного и согнулись, но вы в этом не виноваты, — горячо сказал Жердык. — Гакые времена. Кого угодно согнут и поколеблют уверенность. Чуждые России люди захватили власть. Выхватили у нас из рук то, за что вы всю вашу жизнь боролись. И что же нам делать?

— И что же нам делать? — повторила Аглая.

— Нам есть, что делать, Аглая Степановна, — убежденно сказал Жердык, — нам очень есть, что делать. Посмотрите сами. Когда мы были у власти, люди нас не любили. А теперь они сравнивают и видят, что было при коммунистах и что есть сегодня. Нищета, проституция, безработица, разоренная армия, бастующие шахтеры, голодные учителя. Воровство, коррупция, горячие точки и терроризм. Народ возвращается к нам, Аглая Степановна.

— Хорошо, — отозвалась она равнодушно.

— Но нам нужна ваша помощь.

— Моя? — вяло удивилась она.

— Ваша, Аглая Степановна! Ваша помощь. Ваш громадный жизненный и политический опыт, неукротимая энергия.

— Энергия? — возразила она. — Откуда? Я старуха. Древняя, слабая. — Посмотрела гостью в глаза, подумала и призналась: — Пьяница.

Жердык покивал головой печально:

— Да. Слышал. Немного злоупотребляете. Но мы вас вылечим. Правда, тут понадобится ваша собственная воля к победе. — Жердык вскочил на ноги, отбежал к Сталину и стал говорить из-под него, как бы и его привлеки в союзники: — Аглая Степановна, опомнитесь. Отряхните с себя оцепенение и становитесь в строй. Родина, партия ждут вас!

— Ой, это не надо, — сказала она и махнула рукой. — Не надо таких слов.

— Надо! — решительно возразил Жердык. — Аглая Степановна, на земле идет бой. Силы добра вступили в последнюю схватку со злом. Борьба идет повсеместно. И в нашем районе тоже. И есть шанс очень большой, что мы победим. Но для победы мы должны собрать все наши силы. Аглая Степановна, наша организация, партия и народ просят вас: вернитесь в строй. Будьте с нами, и мы победим, на этот раз навсегда.

— А что я должна делать? — спросила она без интереса.

— Выступить перед трудовыми коллективами, участвовать в митингах, демонстрациях... Пошлем вас в Москву для участия в акциях всероссийского масштаба, в пикетах, уличных шествиях. Согласны?

— Не знаю, — замялась Аглая. — Как-то неожиданно. А за это... за это не посадят?

— Что? — переспросил удивленно Жердык. — Аглая Степановна, вы же партизанка! Отважная женщина! Да и о чем вы? Посадить заслуженного человека, извините, вашего возраста... За что? У нас ведь все-таки демократия.

— Демократия? — Она посмотрела на него с сомнением. — И что? И никого не сажают?

— Аглая Степановна, — улыбнулся Жердык, — так это же гнилая демократия.

4

16 апреля 1995 года доктор Плешаков записал у себя в книге регистрации пациентов: «Ревкина Аглая Степановна, 80 лет, обратилась по поводу хронического алкоголизма. Жалуется на общую слабость, головные боли, боли в области печени, также на кислый вкус во рту, отсутствие аппетита, галлюцинации и потерю интереса к жизни. Ввиду преклонного возраста принято решение о психотерапевтическом лечении. Проведено ложное купирование с введением внутривенно физиологического раствора. Больная предупреждена, что в течение ближайшего года прием даже незначительной порции алкоголя может привести к летальному исходу».

Результатом посещения доктора Плешакова было то, что Аглая бросила пить. А заодно и курить. Совершенно бросила и то, и другое и сама удивлялась, как легко ей это далось. И уже через несколько дней заметила, что в трезвой жизни есть много хорошего. Сознание прояснилось. Перестали посещать ее тараканы, мыши и мелкие члены Политбюро. Стала ориентироваться во времени и пространстве. Появилось ощущение смысла жизни и желание что-то делать, вернулось чувство нужности партии, родине и народу. И с новой силой полюбила она Сталина, с новой силой возненавидела тех, кого ненавидела раньше.

Радуюсь своему новому состоянию, она старалась регулярно питаться, совершала получасовые прогулки перед завтраком и после обеда, принимала прохладный душ. И наладилась ездить по призыву и за счет партии в Москву, участвовать в митингах, демонстрациях, пикетах, где неизменно появлялась с портретом Сталина. Не с тем, что стоял у нее в

комнате. С цветным. Где Сталин в фуражке, в кителе с погонами и орденами.

Можно сказать, это было ее второе рождение.

5

Вечерело, когда к дому 1-а по Комсомольскому тупику подошел неприметный в сумерках господин в мышинном пальто и шапке из меха «пыжик натуральный, артикул 4/6», держа в руках «дипломат» с двумя цифровыми замками.

— Бабули, не здесь ли проживает Иван Георгиевич Жуков? — обратился он к старухам на лавочке.

— Иван Георгиевич? — переспросила одна из старух. — Это Ванька-бомбешник, что ли?

— Бомбешник? — поднял брови господин. — А что, все знают, что он бомбешник?

— А как же не знать, — сказала старуха, — ведь мы же здесь все живем, соседи, чай. Все друг про дружку знаем.

— Да? — удивился он. — От ваших знаний, бабули, кому-то могла быть большая польза.

— Чего? — Вторая старуха приложила кривую ладонь к тугому уху.

— Я спрашиваю, — повысил голос пришедший, — где же он проживает, ваш бомбешник?

Прежде чем ответить на вопрос, старухи тут же, перебивая друг дружку, объяснили пришедшему, что проживает Ванька в полуподвале, как спустишься, сразу направо, и попутно изложили пришедшему всю Ванькину биографию. Когда и при каких обстоятельствах родился и у каких родителей, какой был красивый мальчик до армии и какой стал некрасивый после. И про родителей его рассказали, и про бабу, которая за ним ухаживает: и готовит ему, и стирает, и по делам его с большими сумками куда-то все ездит и привозит ему какие-то, как они сказали, запчасти.

— Значит, бабка там тоже с ним? — спросил пришедший.

— Бабки нет, — сказала первая старуха, — бабка-то в Москву поехала за запчастями. Уж три дня как поехала, и все нету.

— И что же, теперь за ним никто не ухаживает? — спросил пришедший.

— Ну почему ж, — отвечала та же старуха. — Мы ухаживаем, в магазин ходим, стираем, он нам плотит за это.

— Богатый? — спросил приезжий.

— Да уж не бедный. Он за эти за бомбы-то хорошо получает. К нему ж клиенты-то подъезжают на этих, как их...

— На сердимесах, — подсказала вторая старуха.

— Не на сердимесах, а на мердисесах.

— Что в лоб, что по лбу, — отозвалась вторая старуха.

— И на джинах, и на каляках, — уточнила первая старуха, имея в виду джипы и «Кадиллаки», и тем поставила вторую старуху на место.

Пришедший поблагодарил бабушек за подробную информацию и пошел дальше. Ступени в полуподвал были кривые, скользкие, лампочка отсутствовала, пришедший спускался осторожно, держась рукой за сырую шершавую стену.

Спустился, нащупал обитую рваным войлоком дверь, но прежде чем постучать, переложил портфель из правой руки в левую, а левой, придерживав шапку, приткнул глаз к замочной скважине.

Впрочем, ничего интересного он не узрел, кроме сырой узкой комнаты с ободранными обоями, стола, освещенного лампой с низко опущенным оранжевым абажуром, сутулой спины в сером свитере и седой головы.

Не отрывая глаза от скважины, господин постучал два раза, потом три, потом один раз и, увидев, что сидевший за столом развернулся и едет в коляске ему навстречу, отпрянул от двери.

При виде Ваньки всего, как он есть, пришедший испытал желание попятиться, но его учили владеть собой во всех обстоятельствах, и он собой овладел.

Наставив на гостя пластмассовую ногу, Жуков мерцал одним глазом, и в мерцании этом таилось сомнение.

— Вы от Иван Иваныча?

— Да нет, — сказал незнакомец, — пожалуй, сам от себя. Разрешите войти?

— Вас кто-нибудь направил ко мне?

— Почему вы думаете, что меня кто-то должен направить? Неужели я не могу прийти сам от себя?

— Но от кого-то вы узнали, как ко мне надо условно стучать.

— Ну, знаете, тайна эта к числу непостижимых никак не относится. Все подпольщики-любители придумывают одну и ту же формулу стука. Сначала тук-тук, потом тук-тук-тук, и еще раз тук. И все. Никакого разнообразия. Разрешите войти? — повторил он.

Ванька, подумав, откатился к столу и только после этого сказал:

— Войдите. Закройте дверь на задвижку. Стойте, где стоите. Кто вы?

— Сейчас скажу. — Нежданный гость снял шапку, обнажив лысое темя, покатое, загорелое и растресканное, как старая черепица. — Только вы не пугайтесь и не совершайте поспешных действий. Я уполномоченный или, проще сказать, начальник местного отделения ФСБ, кагэбэшник по-вашему.

— Вы хотите меня арестовать? — тихо спросил Ванька.

— Ну что вы! — улыбнулся пришедший. — Если арестовать, я бы вряд ли пришел один. Тем более сюда. Ваша лаборатория числится у нас как «Малая Хиросима». Как вам, кстати, название? Так вот, у меня никаких зловещих намерений относительно вас не имеется, а совсем даже наоборот...

— Хотите, чтобы я вам рассказал о своих клиентах?

— Не скрою, было бы интересно. Но в данном случае я вам хочу рассказать кое-что о наших клиентах. По крайней мере об одном из них. У нас, как вы знаете, недавно прошли выборы районной администрации. И наше население очень дружно, в едином, как говорится, порыве выбрало себе молодого, энергичного...

— Вы имеете в виду Саньку?

— Ну, вы нашего руководителя можете называть и Санькой по праву бывшей дружбы, а для меня он теперь Александр Петрович, хотя и я с ним в далекие юные годы тоже имел

честь встречаться. Но все это чушь. Я просто хотел вас спросить. Вы хорошо помните время, когда в Москве снимали комнату у диссидентской старушки и как Жердык к вам туда приходил?

— Вам надо, чтобы я на него настучал? — спросил Ванька иронически.

— Какое гадкое слово! Хотя укоренилось. Так вот, я сам хочу вам кое на кого настучать. Позвольте все-таки к вам приблизиться?

— Ну приблизьтесь, — разрешил Ванька. — Но учтите, что...

— Уже учел, — поспешно заверил гость.

Приблизившись, он поискал глазами стул, но, не найдя его, сел на зеленый ящик, вроде патронного, положил шапку на стол, портфель на колени, щелкнул замками, достал красную картонную папку, развязал шелковые тесемки, достал из красной папки другую, желтую, и со словами «я думаю, вам было бы интересно» протянул ее Ваньке. Это были ксерокопии старых рукописных текстов. Донесения агента по кличке Сердце Красавицы, или сокращенно СК, выглядели приблизительно так.

«...давал мне читать книгу Орвелла «1984». Когда я ему вернул книгу, он спросил: ну как? Я сказал, что книга сильная, но ужасы, описанные в ней, кажутся мне слишком надуманными и неправдоподобными. Он спросил меня, а не кажется ли мне жизнь в Советском Союзе похожей на ту, что описана у Орвелла. Я сказал, что не кажется, у нас нет такого тотального контроля над каждым человеком, нет и быть не может. Он мог бы быть в Германии или Англии, но не у нас, где благодаря характеру народа всегда был, есть и будет бардак, который является наиболее эффективной формой неосознанного саботажа. С этим мнением он согласился, но настаивал на том, что пророчества Орвелла гениальны. Давал читать мне «Архипелаг ГУЛАГ» и тоже спрашивал мнение. Я сказал, что книга замечательная, документальная, но некоторые факты кажутся мне не совсем достоверными. Он стал со мной спорить, говоря, что это книга

необычайной художественной силы, что, может быть, во всей мировой литературе нет ничего равного ей по силе. Я спросил: это даже лучше «Войны и мира»? Он сказал, да, лучше «Войны и мира». Я сказал, это уж слишком, он сказал, ах слишком, в таком случае я тебе вообще ничего давать не буду. Но уже через полчаса предложил мне почитать книгу югославского автора Милована Джиласа, говоря, что это тоже очень сильная книга, даже сильнее, чем «Архипелаг ГУЛАГ».

Ванька читал донос, единственному своему глазу не веря, читал о том, как слушал Би-би-си и «Немецкую волну», называл Брежнева маразматиком, считал, что книги Брежнева вряд ли писал он сам, возмущался, что Брежневу дали Ленинскую премию по литературе и орден Победы, соглашался с Рейганом, что Советский Союз — империя зла, хвалил джинсы «Леви Страус», негативно отзывался о колхозной системе, утверждал, что Ленин умер от сифилиса, уверял, что Сталин — незаконный сын генерала Пржевальского, шутил, что Сталин — гибрид Пржевальского и лошади Пржевальского и похож на них обоих.

Затем Ванька прочел про то, что он рассказывал анекдоты о Чапаеве, показывал фотографию академика Сахарова, с которым якобы лично общался, радовался победе канадцев над нашей хоккейной сборной и самое главное — изготовил копировальную машину, на которой размножал «Хронику текущих событий».

Ванька читал, низко склонивши седую голову и вертя ею, когда ползал взглядом от начала строки к концу и обратно. Прекратив чтение на середине, он отвернулся от рукописи и на какое-то время замер, закрыл глаз и даже как будто заснул.

Гость ждал терпеливо. Ванька открыл глаз и повернул его в сторону гостя.

— Зачем вы мне все это принесли? — спросил он.

— Хотел открыть вам глаза на вашего друга, — сказал пришедший и неожиданно для себя смутился, подумав, что нельзя открыть глаза во множественном числе одноглазому.

— И это все? — спросил Ванька.

— Не совсем. Вы теперь знаете: Жердык очень плохой человек, но он много хуже того, что вы знаете. Страшный человек! — сказал гость с чувством. — Он на вас стучал. Он на всех, на кого мог, стучал. Это из-за него вы попали на войну, из-за него стали калекой. Это человек, у которого нет ни принципов, ни чести, ни совести. В девяносто первом году он публично сжег свой партбилет. А уже в девяносто четвертом вернулся в компартию, занял в нашем районе ведущие позиции и теперь рвется выше. Я вам скажу как демократ...

— Вы демократ? — не поверил Ванька.

— Да, — сказал гость с достоинством. — В общем, я демократ. Но я не верю, что демократию можно установить и сохранить слабыми руками. Коммуняки готовы использовать против нас все методы, и, если мы будем бороться с ними в белых перчатках, мы проиграем. Короче говоря, Ваня, очень прошу помочь...

— Мне кажется, где-то я вас раньше видел, — сказал Ванька.

— Видел, — кивнул гость и улыбнулся. — Очень даже видел. И не один раз. Крыша моя фамилия. Игорь Сергеевич Крыша.

В комнате стало тихо. Ванька молчал, озадаченный неожиданным открытием.

— А... — сказал он. — А зачем же вы... ты говоришь, что ты из КГБ, то есть из этого...

— Я не вру, — сказал Крыша. — Вот, посмотри.

Он протянул Ваньке раскрытую книжечку. С фотографии на Ваньку смотрел тот же Крыша, но в форме с погонами майора.

— Надо же какая карьера! — покачал головой Ванька.

— Живем во времена многих возможностей, — усмехнулся Крыша. — Бандиты пошли в чекисты, чекисты в охранники, комсомольцы в банкиры, секретари обкомов в губернаторы, а Жердык в мэры. С надеждой на большее.

— А он по-прежнему поет «Сердце красавицы»?

— Да. Когда чему-нибудь рад.

— И он часто радуется?

— Чаще, чем хотелось бы. Он выиграл выборы, он собирается вернуть на место памятник Сталину...

— Когда?

— Не знаю. Скорее всего, двадцать первого декабря. В день рожденья тирана.

— Хорошо, — подумав, сказал Ванька и повернул глаз к гостю. — Я вообще беру за работу большой гонорар, но этот заказ исполню бесплатно. Мне только нужно записать на магнитофон, как он поет «Сердце красавицы». Это можно сделать?

— А зачем тебе?

— На память.

— Сделаем, — пообещал Крыша.

6

На октябрьские праздники коммунисты в Москве наметили грандиозное шествие, собирали со всей страны своих приверженцев, кому делать нечего, среди них оказалась и Аглая. Она поехала, несмотря на то что праздники как раз совпадали с местными выборами. К выборам коммунисты по всем опросам шли на первом месте, и она, конечно, хотела увидеть их победу.

Но и шествие пропустить было нельзя.

— Езжайте, — сказал ей Жердык. — Езжайте, а мы уж тут поборемся и за вас.

Он дал ей денег на плацкартный билет.

Поезд был набит беженцами, русскими из кавказских республик. Это была мало аппетитная публика, дурно пахнувшая и вызывавшая не только жалость, но и брезгливость. Они везли с собой все, что осталось от грабежей и поборов, и загромождали своими чемоданами, тюками, картонными коробками, пластиковыми сумками, перетянутыми клейкой лентой, все верхние полки, пол-между полками и проход.

Аглае досталась полка верхняя боковая, а солдат, который ехал внизу, ни за что не хотел меняться. На попытки воззвать к

его совести он долго не реагировал, а потом объяснил Аглае шепотом, но без большого смущения, что едет в госпиталь лечиться от недержания.

— Если ночью чего случится, вам же, бабушка, будет плохо.

Он помог ей залезть на полку, она там как-то расположилась, легла на спину, но боролась со сном, боясь свалиться во сне.

У солдата, вопреки его опасениям, все обошлось без конфуза, для нее же ночь оказалась нелегкой. В вагоне было жарко, но гуляли сквозняки. В соседнем купе не закрывалось окно. Его закрыли фанерой, но неплотно, и потому дуло, и особенно сильно, когда кто-нибудь открывал дверь в тамбур по дороге в уборную или в соседний вагон. Кроме того, было шумно. Дети плакали, старики храпели, кто-то стонал, а подалее четверо громко резались в карты и злобно ругали друг друга за неудачные ходы.

После полуночи вагон затих, но около двух поднялся шум: кого-то обокрали в вагоне СВ. Обворованный до того заметил стоявших у его купе двух кавказцев, теперь начальник поезда, милиционер и сам пострадавший будили спящих мужчин, переворачивали, светили фонариком в лицо, и начальник поезда спрашивал пострадавшего: «Этот? Этот?» Разбуженные ворчали, спрашивали, с какой стати их будят, но, как люди бесправные, выражали свое возмущение робко и неуверенно. Разумеется, воров так и не нашли, потому что не там искали. Аглае еще когда-то Диваныч рассказывал, что вагонные воры всегда действуют по наводке проводников и с ведома начальника поезда, который в случае скандала устраивает облаву в заведомо ложном месте.

7

На Савеловском вокзале ее встретил мужчина в толстом пуховике, кожаной фуражке «под Жириновского» и высоких сапогах. Лет ему было не меньше пятидесяти, но представился он просто Митей. Аглае показалось, что она его где-то видела

раньше. Митя повел ее пешком куда-то недалеко — он сказал, в Марьину Рошу. Было холодно, дул ветер, и моросил мелкий дождь, который тек по щекам и превращался в лед на асфальте. А у Аглаи болели колени, голова была ватная и саднило горло. Ноги разъезжались на мокром тротуаре, она боялась упасть, не могла поспеть за своим провожатым, время от времени останавливалась, Митя, переминаясь с ноги на ногу, терпеливо ждал, курил и обтирал корявой ладонью лицо.

В конце концов добрались до трехэтажного кирпичного дома, до железной зеленой двери со скромной вывеской «Книжный склад АОТ «Витязь». Поднялись по кирпичным выщербленным ступеням на лестничную площадку, потом спустились по таким же ступеням в полуподвал, прошли по кривому дощатому настилу до еще одной двери, тоже железной, а там уже открылось помещение, просторное, щедро освещенное лампами дневного света. Признаков книжного склада здесь не было, скорее, это было нечто вроде не то столовой, не то учебной аудитории: в несколько рядов длинные зеленые столы с синтетическим покрытием и пластмассовые садовые стулья. На стене, противоположной входу, висела черная классная доска, и на ней мелом — список каких-то фамилий. К ней же был пришпилен большой лист бумаги с изображением мишени.

На столе справа от входа перед рыжей девушкой в джинсах и малиновом джемпере стояла сложенная домиком табличка с надписью «Регистрация делегатов». Митя за Аглаю назвал фамилию и инициалы вновь прибывшей, девушка все занесла в журнал и спросила, из какой организации. «Из Долгова от Жердыка», — ответил Митя. Рядом с рыжей девушкой ее сверстник, молодой блондин в спортивной куртке, торговал книгами. На самом видном месте лежала книга лидера партии Альфреда Глухова, названная просто и скромно: «В едином строю», дорогое издание в красочном переплете с массой цветных фотографий, переложенных папиросной бумагой. Все было здесь вперемешку: «Капитал» Маркса, «Репортаж с петлей на шее» забытого уже всеми Юлиуса Фучика, два потре-

панных тома Ленина, рассказы Виктории Токаревой, словари, пособие «Windows 95» для «чайников», брошюра «Учись метко стрелять», детективы и книги о спорте. И тут же Аглая увидела книгу Марка Шубкина «Лесоповал». Повертела книгу в руках, обратила внимание на то, что издание новое и дополненное автором, решила ее купить.

Рядом с прилавком два молодых художника ползали по расстеленному на полу ватману, рисуя карикатуры на президента на троне в шутовском колпаке и с дурацким видом. С двух сторон от президента угодливо изогнулись и что-то нашептывали ему в оба уха два крючконосых олигарха, а олигархам что-то подсказывали премьер-министр Израиля и президент США. Несколько человек, стоя над художниками, смотрели на их работу, посмеивались и обменивались ехидными комментариями.

В зале было уже довольно много людей, которые явились сюда до Аглаи. Люди были в основном пожилые и приезжие, с чемоданами, вещмешками, узлами у ног. Многие пили чай, который, самообслуживаясь, наливали из никелированного электрического самовара. Два казака в длинных кавалерийских шинелях, в погонах с непонятными Аглае знаками различия, в папахах и с шашками на боку дремали, сидя друг перед другом. На груди одного из казаков были приколоты прямо к шинели ордена неизвестного Аглае достоинства — какие-то кресты, похоже, что вырезанные из консервной банки или отлитые из олова в деревенской печи.

В углу под копией картины «Сталин на Бакинской демонстрации» сидел человек, которого Аглая недавно видела по телевизору. Это был приехавший из-за границы известный писатель, еще недавно считавшийся ярким антикоммунистом. Теперь он раскаялся. Цenia свои сочинения очень высоко, он был уверен, что советская власть рухнула исключительно благодаря им. Но, увидев, какие силы теперь пришли к власти, он устыдился прежних своих книг, высказываний и действий, жалел, что разрушил советский строй, каялся и обещал новыми сочинениями этот строй поставить обратно на ноги.

Писатель сидел не один, а со старичком в распахнутой генеральской шинели, с тремя звездами на погонах. В старичке Аглая сразу узнала Федора Федоровича Бурдалакова, того самого, с которым у нее когда-то завязался небольшой курортный роман. И как было ей не узнать, когда и его много раз показывали по телевизору как одного из главных зачинщиков всяких коммунистических акций. Но как он изменился! Той зимой, когда они бегали по сочинской набережной, это был еще крепкий мужчина с покатою спиной и мускулистыми ногами, а теперь перед ней был дряхлый и щуплый дедушка с растрепанными во все стороны жидкими седыми волосами и коротко подстриженными седыми усиками. Под расстегнутой шинелью Федора Федоровича блестели две золотые звезды Героя Советского Союза (вторую ему дали за выслугу лет), орденские планки на левой стороне груди и два ордена на правой. Рядом с генералом, прислоненное к столу, стояло нечто похожее на зонт в шелковом чехле. Аглая узнала эту палку и этот чехол.

— Здравствуйте, Федор Федорович, — подошла к генералу Аглая.

Он поднял на нее глаза, буркнул ответное «здр-др» и повернулся к писателю. Но тут же опять обернулся и спросил неуверенно:

— Аглая Степановна? Глаша? — И вскочил на ноги, схватившись одновременно за поясницу. — Надо же! Вот! Какая встреча! Нисколько не изменились.

— Ну да, не изменилась, — не приняла комплимента Аглая. — Старушка.

— Да ну что вы, что вы! — продолжал настаивать на своем Федор Федорович. — Седина, конечно, вас немного старит, но если подкраситься...

Федор Федорович извинился перед писателем и все свое внимание переключил на Аглаю, а писатель сразу же заскучал и сделал обиженное лицо. Он на всех обижался, для кого не был центром внимания. Посидел рядом, поскучал и пошел искать, кому бы еще рассказать о своей исторической вине перед советским народом и о путях ее исправления.

Аглая и Федор Федорович поговорили о том о сем, вспомнили Сочи. Федор Федорович спросил, почему она тогда столь внезапно уехала. Она сказала: «Да так».

— А я, — сказал Федор Федорович, — тогда, представляете, приехал... Между прочим, не с пустыми руками. Часики вам купил... — на секунду замялся, — золотые. Духи... — опять преувеличил, — французские. Стучусь, понимаете, в дверь, дверь открывается, и на пороге, можете себе вообразить, лично Вячеслав Михайлович Молотов... Представляете? Сам Молотов...

Поговорили о возрасте и болезнях. Аглая рассказала генералу, как неудобно ехала в жаре и на сквозняке и вот, видимо, простыла, в горле саднит, грудь заложило, и спину ломит. Федор Федорович принялся тут же лечить ее горячим чаем с сахаром и лимоном. За чаем стали обмениваться составами каких-то микстур и отваров по рецептам народных целителей, но не успели дойти до растираний, как в зале произошло небольшое смятение. Дверь распахнулась, и сперва в нее тихо и зловеще вошли и тут же рассредоточились вдоль стен молодые люди спортивного сложения в одинаковых дурых куртках, без признаков выражения на лице. И следом за ними воплотился из ничего полноватый человек лет пятидесяти с серым бугристым лицом и с двумя бородавкам на носу. Конечно, Аглая сразу же узнала в нем лидера партии Альфреда Глухова, и как было не узнать, если каждый день видела его по всем каналам. Появление лидера было встречено нестройным шумом, люди загремели стульями, захлопали спинками и заплескали в ладоши. Вместе с другими поднялся и Федор Федорович, но лидер немедленно подскочил к нему и двумя руками придавил к стулу, говоря: что вы, что вы, Федор Федорович, зачем же это, да мне и не по чину, вы ведь генерал, а я всего-навсего старший лейтенант. На что Федор Федорович смиренно и не без лести возразил:

— Сегодня старший лейтенант, а завтра Верховный Главнокомандующий.

— Что ж, — скромно ответил тот, не отказываясь от предполагаемой миссии. — Если придется, возьмем власть.

Обязательно возьмем. По существу, на нас лежит историческая ответственность, и никто нас от нее не освобождал. Вы тоже член партии? — обратился он внимание на Аглаю.

— Еще какой член! — с жаром отозвался Федор Федорович. — Наш золотой кадр.

И тут же изложил лидеру, что Аглая Степановна Ревкина, коммунист с довоенным стажем, была секретарем райкома, командиром партизанского отряда...

— О-о! — прервал его лидер. — Очень рад.

Она ожидала ощутить крепкое товарищеское рукопожатие, но рука лидера оказалась вялой, мягкой, как губка, и к тому же потной, что на Аглаю подействовало неприятно. Из произведений социалистического реализма она помнила, что потные руки и бегающий взгляд бывают у очень плохих и не наших людей. У наших людей взгляд прямой, рукопожатие крепкое, ладонь сухая. Впрочем, ощущение было мимолетным. Как возникло, так и пропало, особенно после того, как лидер обратил внимание на воспаленные глаза Аглаи и спросил, не простужена ли она. Чем очень ее умилил. Такой человек, столько дел на себя взвалил, столько людей через себя пропускает, а вот заметил же, что вид у нее нездоровый. Аглая хотела сказать, что, мол, ничего страшного, но тут как раз расчихалась и закашлялась тяжело и глубоко. Федор Федорович воспользовался случаем и сказал лидеру, что есть небольшой разговор.

— Какой проблем? — быстро спросил лидер.

— Проблема в том, — объяснил Федор Федорович, — что вот пришлось старой женщине ехать на боковой полке в вагоне с разбитым стеклом.

Лидер слушал и хмурился.

— Вот, — сказал он, — до чего довело страну антинародное руководство и пьяница президент. Заслуженный человек, ветеран, героиня войны, женщина должна ехать в таких условиях. Ничего, ничего, — сказал он, — потерпите, назад поедете с удобствами, это я обещаю.

С этими словами он хлопнул в ладоши и тихо произнес:

— Митя!

И Митя немедленно возник, как джинн из бутылки.

— Вот, Митя, позаботься, — сказал лидер негромко, — Аглае Степановне Ревкиной билет СВ в обратную сторону... Ты понял? Не плацкартное и не купейное место, а именно СВ. — И повторил, медленно удаляясь, и так, чтоб другие обратили внимание: — Запомнил? СВ, а не купейное.

Покинув Аглаю, он стал быстро передвигаться по залу как будто даже бессмысленно, а на самом деле зигзагами к выходу, кому-то пожимая руки, спрашивая, какой проблем, обмениваясь фразами, лозунгами, шутками и междометиями. И так же незаметно вывинтился куда-то.

8

Тут же по скрипучему радио была объявлена посадка в автобусы.

— Позвольте, — галантно сказал Федор Федорович и взял Аглаю под локоток, то ли чтобы ее поддержать, то ли в намерении самому поддержаться. Он заметно хромал, и весьма интересным способом: левую ногу ставил мягко, а правой ударял, словно забивал гвоздь. — Старые раны, — объяснил он Аглае, хотя никаких ран у него не было. Всю войну он прошел без единой царапины, а ноги болели от старости.

У выхода из склада рыжая девушка и молодой человек теперь раздавали желающим то, что они называли агитационными атрибутами, а именно портреты Ленина и Сталина, но больше Сталина (Ленина никто не брал), а тем, кто помоложе и покрепче, транспаранты с коммунистическими и революционными лозунгами, вроде «Слава труду!», или «Коммунизм неизбежен», или, наоборот, негативного содержания вроде «Нет — антинародному режиму!», «Сионистов вон из правительства!» и еще что-то насчет зарплат и пенсий. Федору Федоровичу ничего не понадобилось. Его знамя всегда находилось при нем, а вот Аглия портрет свой забыла, пришлось воспользоваться казенным. На нем Сталин был в мундире со все-

ми орденами и в фуражке, но почему-то в облике — никакого величия. Изображенный походил не на славного генералиссимуса, а на участкового милиционера перед пенсией.

9

Во дворе стояли наготове четыре больших автобуса «Икарус» венгерского производства с ярославскими номерами, но пассажиры легко разместились в одном. Аглая и Федор Федорович оказались на первом сиденье. Он сидел, привычно зажав между коленями знамя, и рассказывал, что тогда в Сочи ухаживал за ней с исключительно серьезной целью, поскольку был вдовцом и нуждался в боевой подруге. И поскольку с Аглаей тогда у него неожиданно роман прекратился, он вынужден был искать другую кандидатуру. А тут как раз умер его фронтовой товарищ генерал Вася Серов. Вот на вдове этого генерала и женился Федор Федорович.

На Сушевском валу попали в безнадежную пробку, и Федор Федорович объяснил Аглае, что такие пробки возникают после того, как по Москве проедет президент.

— Значит, он здесь где-то проехал? — предположила Аглая.

— Не факт, — возразил Федор Федорович. — Где бы он ни проехал, пробки по всей Москве. Он по этой улице едет, перекрывают все соседние. Эти улицы закрыты, на других пробки, от этих заторов возникают другие, и вся Москва парализована. Это как тромбоз.

— Такой у нас народный президент, — прокомментировал сидевший за ними казак с крестами. — Я в охране Брежнева служил, мы тоже перекрывали движение. Но только по мере следования, а не заранее.

— Ну а как же не перекрывать, — сказал Федор Федорович. — Он же не один едет. Впереди машина проводки, потом охрана, потом он сам, потом машины сопровождения, потом реанимация. Человек-то ведь престарелый, — рассуждал генерал, забывши, что «престарелый» моложе его лет на двадцать с лишним.

Автобус остановился у левого крыла кинотеатра «Россия». Двери открылись, и пассажиры стали выпрыгивать наружу, одновременно раскрывая зонтики, и тем самым все вместе были похожи на парашютный десант. Дождь продолжал сыпаться холодный и липкий, а у Аглаи зонтика не было.

Распорядитель в набувшем суконном пальто, с мокрой до блеска лысиной и носом, таким же красным, как его нарукавная повязка, предложил приехавшим подойти к памятнику Пушкину.

У памятника оказалось две толпы: участники митинга и милиционеры. Последние в мешковатых мокрых шинелях стояли на углу ближе к зданию газеты «Известия», курили и поглядывали на собиравшихся без особого любопытства. Как будто пришли сюда просто так, постоять под дождем.

Аглая с любопытством смотрела по сторонам. Хотя последнее время в Москве она часто бывала, а все удивлялась. Везде были признаки не нашей жизни. Ресторан «Макдоналдс», реклама автомобилей фирмы «Рено», реклама газеты «Московские новости», реклама заграничного фильма, обозначенного как эротическая комедия, и портрет печальной старушки с просьбой: «Пожалуйста, заплатите налоги». Косой дождь заливал плакат, и по лицу старушки слезы текли живым настоящим ручьем.

Митинг долго не начинали, ожидали Глухова. Распорядитель звонил по сотовому телефону, закрывая его сверху ладонью, ему что-то отвечали, он сообщил, что товарищ Глухов застрял в пробке, но приближается. Наконец вождь появился в «Мерседесе» с синей мигалкой и четырьмя телохранителями. Один из телохранителей уже на ходу выскочил и открыл заднюю дверцу, как будто товарищ Глухов был инвалид или женщина. Из двух «Волг», шедших за «Мерседесом», вылезли еще несколько членов руководящего ядра, и тоже с телохранителями, за счет чего толпа заметно увеличилась. Глухов в сопровождении человека, державшего над ним зонт с рекламой «Кока-колы», втиснулся в середину толпы, но митинг опять не начинали. Через некоторое время подъехал микроавтобус

«Мицубиси», из него с красными знаменами высыпали наружу нигде не работающие члены движения «Рабочий заслон». Их коренастый лидер Сиропов с рваной губой пробился к Глухову, пытался с ним заговорить и хватал за локоть, что-то страстно доказывая. Глухов отворачивался и вырывал руку, пока его телохранители не оттеснили Сиропова в сторону.

Федор Федорович спросил у распорядителя, чего ждем. Тот объяснил, что ждут журналистов. Два телевизионных канала обещали прислать свои команды для освещения события. Ждали не меньше часу. Из журналистов никто не приехал, кроме Максима Милкина, подкатившего в бронированном джипе с охраной. С тех пор как ему дважды набили морду, Милкин передвигался в броне и в сопровождении телохранителей, как и Глухов. Видя перед собой столь именитого представителя четвертой власти, окружавшие Глухова люди раступились, и Милкин подступил к нему с диктофоном.

— Скажите, господин Глухов, что вы хотите доказать своей сегодняшней акцией?

— Нам, — отвечал Глухов с достоинством, — доказывать ничего не нужно, за нас доказывает сама жизнь. Идеалы революции и коммунизма живы в народных чаяниях, и народ чтит память о своем славном прошлом. Вот видите, несмотря на противодействие антинародной власти, несмотря на плохую погоду, тысячи людей вышли на площадь.

— Ну, я бы сказал, сотни, — цинично поправил Милкин. — Или даже десятки. А скажите, вот я вижу, ваши сторонники стоят с портретами Сталина, вам не кажется, что ваша верность этому палачу отталкивает от вас людей, которые могли бы разделить с вами ваши идеалы?

— Вы знаете, я к личности Сталина отношусь без предвзятости, как историк. Исторически это была крупная личность. В каком-то смысле трагедийная. Под руководством Сталина были совершены великие победы. А ошибки, что ж, ошибки могут быть у каждого, но в процессе истории они, естественно, уже не кажутся такими существенными. Тем более, знаете, вот говорят, Сталин загубил столько-то миллионов. Но

ведь мы реалисты. Мы понимаем, что, если бы не он, эти миллионы рано или поздно все равно умерли бы.

— Последний вопрос. Собираетесь ли вы баллотироваться в президенты?

— В нашей партии мы так вопрос не ставим. У нас кандидатов всех уровней, в том числе и президентского, выдвигает партия. Но не буду скромничать, я, и вы это тоже знаете, занимаю в партии видное место, вполне возможно, коммунисты выдвинут меня.

— Но вы сами, — не унимался Милкин, — хотели бы быть президентом?

— Вы ставите ваш вопрос некорректно. Мы, коммунисты, воспринимаем власть не как источник обогащения или удовлетворения личных амбиций, а как историческую обязанность. Некоторые наши политики теряют голову от желания достичь высшей власти, а я смотрю на власть спокойно. Придется стать президентом, буду работать в полную силу, а не между пьянкой, баней и реанимацией, — ввернул он, намекая на нынешнего президента.

Тут стоявшие рядом засмеялись и громко заплескали в ладоши. Милкин, записав ответы, отъехал, толпа поредела.

Опять наступила пауза. Наконец приехала команда из четырех человек: оператор, режиссер, звукорежиссер и продюсер. Они попросили Глухова отойти в сторону для переговоров. Тот подошел к ним, но не один, а с держателем зонтика. Они говорили недолго, но бурно. Аглая всего разговора не слышала, но слышала, как Глухов несколько раз сказал: «Я не понимаю, какой проблем. Я вам повторяю, есть определенная договоренность, а вы ее нарушаете. Я буду говорить с вашим руководством, которое по указке преступного режима пытается лишить народ слова».

Телевизионщики, не дослушав, сели в свой «Рафик» и укачали. Глухов выглядел смущенным и разочарованным. И на вопросительный взгляд Федора Федоровича объяснил, что телевизионщики потребовали за десятиминутный сюжет пятьдесят тысяч долларов, а половинную сумму не стали даже и обсуждать.

— Но ничего, — сказал Глухов, — у нас есть свой оператор. Он снимет на любительскую камеру, а потом перегоним на вэхаэс.

Сказав это, Глухов опять поднялся на ступени у ног Пушкина и обратился к присутствующим с речью о том, что сегодня весь наш народ отмечает праздник, который трудящиеся по-прежнему считают своим главным праздником. Сбитый с толку псевдодемократами, пропившим мозги президентом, его преступной семейкой и олигархами, народ немного отошел от идеалов социализма, но чем дальше отошел, тем охотнее к ним возвращается, о чем и свидетельствует и наше сегодняшнее мероприятие, в котором участвуют широкие массы трудящихся.

«Широкие массы» вежливо похлопали и услышали, что они вновь поднимаются на борьбу за то, что когда-то завоевали их деды.

— Люди, — продолжил Глухов, — идут под наши знамена, и для них мы с радостью организуем коммунистические ячейки по всей территории бывшего Советского Союза...

— И будущего! — крикнули из толпы.

— И будущего, — согласился Глухов.

— Вместе с Крымом и Севастополем, — подсказал оказавшийся рядом Сиропов.

— Разумеется, вместе, — согласился Глухов. И закончил свою речь обычными заклинаниями: — Учение Маркса все-таки сильно, потому что оно верно. Коммунизм неизбежен, потому что неотвратим.

С этими словами он спустился на землю, а на его месте появился распорядитель, сообщивший через мегафон:

— Демонстранты выстраиваются в колонну по шесть. Знаменосцы идут впереди. Идем не спеша, спокойно, не поддаваясь на провокации. Товарищи, предупреждаю специально: не будем поддаваться на провокации ни слева, ни справа. Доходим до Мавзолея Владимира Ильича Ленина, возлагаем венок, затем движемся к могиле Неизвестного солдата, возлагаем венок и после краткого заключительного митинга мирно расходимся. Товарищи, я особо хочу сказать: сейчас здесь

много работников милиции. По соглашению с мэрией они наблюдают за порядком. Но конечно, они могут прибегнуть и к силовому решению. Просьба ко всем участникам: вести себя организованно и мирно. Соблюдать дисциплину.

10

Все шло хорошо. Даже природа решила улыбнуться демонстрантам. Дождь прекратился, в тучах появились прорехи, сквозь них проткнулись соломенными пучками солнечные лучи. В лучах засветилась еще мокрая голова бронзового Пушкина, засияла буква «М», фирменный знак компании «Макдоналдс», потускнела бегущая строка световой рекламы фирмы «Рено», только старуха, просившая заплатить налоги, и с высыхающими слезами оставалась печальной, словно напоминала согражданам, что солнце вышло, а налоги еще не уплачены.

Где-то кто-то что-то крикнул. Аглая не расслышала, но по общему движению собравшихся поняла, что поступила команда, в соответствии с которой люди стали выходить на середину Тверской улицы, закрытой для движения автомобилей.

— Товарищи, — бегал руководитель с сияющей лысиной, — становимся в колонну по шесть. Расстояние между шеренгами не меньше одного шага. Побольше воздуха между рядами. Мамаша с портретом, — обратился он к Аглае, — вы что робеете? Становитесь сюда. Нет, не в середину, а с краю, чтобы портрет ваш был виден стоящим на тротуаре.

Аглая стала, где было указано, но тут ее заметил потерянный было Федор Федорович. Он приблизился к ней, сильно хромя:

— Вы что, Глашенька, ваше место разве здесь? Идемте со мной, идемте.

Колонна постепенно выстраивалась и выравнивалась. Впереди ее стали два тяжеловеса с растянутым транспарантом со словами белым по красному: «Народ с нами, мы с народом». Затем шли Альфред Глухов и другие руководители партии с красными бантами на отворотках пальто, а в следующем ряду Федор

Федорович, Аглая и прочие ветераны. Федор Федорович занял самое центральное место в ряду сразу же за Глуховым, Аглаю поставил справа от себя, а слева поставил другую старуху, тоже с портретом Сталина. Потом, между прочим, каким-то глазастым журналистом было отмечено, что в колонне оказалось около десятка портретов Сталина и ни одного — Ленина.

— Ну вот, — бормотал Федор Федорович, стаскивая со знамени брезентовый чехол, — и погода нам, можно сказать, значительно благоприятствует.

Дул ветер, несильный, однако достаточный для Бурдалакова. Генерал развернул знамя, поднял над головой, оно затрепетало на ветру, и слова «Даешь Берлин!» зашевелились и задвигались, как в бегущей рекламной строке. И как раз в это время Глухов тихо скомандовал тяжеловесам: «Ну, пошли!» Те еще выше подняли горделивый свой транспарант и двинулись вперед, а за ними и вся колонна.

Погода между тем и дальше разгуливалась, солнце светило вовсю, от мокрой одежды шел пар. С первыми шагами Аглая приободрилась, согрелась и чувствовала себя совсем неплохо. Шли не быстро, но видно было, что идут люди хотя и старые, но привыкшие к строю. Федор Федорович левую ногу слегка волочил, а правой сильно ударял об асфальт, но не отставал, крепко держа боевое знамя и сверкая всем железом, которое было у него на лбу, на груди и во рту.

Сначала шли молча. Аглая невольно вслушивалась в разговор, который позади нее вели казак и старичок в темном плаще и шляпе. Казак рассказывал, что, живя в Туапсе, разбогател на том, что взял задаром стоявший на приколе бесхозный теплоход, починил, стал возить челноков в Турцию, потом купил большой дизель-электроход и повез туристов вокруг Европы.

— Теперь у меня два дизель-электрохода, три прогулочных теплохода и пять катеров.

— А как же вы к нам-то залетели? — полюбопытствовал старичок. — Мы же тут все обиженные властью, люмпены, а у вас такое состояние.

— Вот именно, шо состояние материальное. А шо мне с него? Удовлетворения нема ну ниякого. Хотел жениться, но потом, думаю, нет. Пока я богатый, я никогда не пойму, по любви она вышла замуж или же по расчету. Я был инженером в строймеханизации, так Людка за меня не пошла, потому шо я получал сто пятьдесят в месяц, а выскочила за директора магазина, который получал сто и воровал тыщу. А теперь она говорит, шо разобралась в своих чувствах. Теперь разобралась. А я думаю, шо мои дизель-электроходы помогли ей в чувстве ее разобраться.

Колонна медленно двигалась в сторону бывшей Советской площади.

Вдруг Глухов обернулся и сказал:

— А что же мы идем, как на похоронах? Давайте споем что-нибудь революционное. Аглая Степановна, вы, наверное, помните революционные песни?

Аглая Степановна смутилась, но, подумав, сказала, что песен не помнит, поскольку к моменту Октябрьской революции ей исполнилось два года и бабушка, которая ее качала в люльке, пела ей не «Вихри враждебные», а что-нибудь вроде «Баю, баю, люли, прилетели гули».

— Вот как? — удивился Глухов, не в силах представить себе, что эта старуха была когда-то ребенком, но тут же, опомнившись, сам засмутился. — Да, — сказал он глубокомысленно. — Далекая, невозвратимая пора детства. Она кажется так далеко, самому не верится, что был когда-то босоногим мальчишкой, гонял голубей, пел у костра пионерские песни...

Прошрое свое он сочинил прямо тут же из головы, полагая, что вот такое детство — пролетарское, босоное с голубями должно быть обязательно у народного предводителя. На самом деле он, будучи сыном партийного начальника, никогда босым не ходил, голубей не гонял и вообще был сытым, упитанным, малоподвижным и туповатым мальчиком. У костра, впрочем, возможно, и сживал.

Но, приступив к воспоминаниям, не мог уже остановиться:

— Хорошее было время. Романтичное. А какие отношения между людьми! Светлые, чистые. Каждый готов был за товарища жизни не пожалеть! А ведь жили, Аглая Степановна, трудно. Бывало, и куска хлеба не было в доме, — опять соврал он и погрустнел. — Ну да ладно. А все-таки давайте споем что-нибудь революционное.

— Можно изобразить, — отозвался сзади владелец дизель-электроходов и сразу же затянул басовитым прокуренным голосом:

*Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил.
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил...*

В свое время, думая о революции, Аглая жалела, что родилась чуть позже, чем надо, не захватила романтический период борьбы партии с царским строем. Когда молодые коммунисты выходили на митинги и демонстрации, шли с песнями под нагайки казаков и под полицейские пули. Она, конечно, тоже жила в интересное и напряженное время, но той революционной романтики уже не застала. И вот теперь... Хотя, конечно, случилось много плохого, власть захватили враги коммунизма... Именно теперь ей выпала возможность на старости лет испытать состояние, в котором существовали революционеры прошлых времен. Она вспомнила еще сегодня виденную картину «Сталин на Бакинской демонстрации». Там Сосо Джугашвили идет впереди строя большевиков, в косоворотке с расстегнутым воротом, молодой, темноволосый, с открытым, устремленным в будущее взглядом. История повторяется. Теперь она, Аглая Степановна Ревкина, шагает в строю своих единомышленников и гордо несет портрет любимого вождя.

Оглядываясь назад, она не могла видеть, как далеко растянулась колонна. На самом деле там и растягиваться особенно нечему было, но Аглае мнилось, что она шагает впереди всенародного шествия. Она шла и видела на тротуарах вдоль проезжей части людей, которые смотрели на проходящую ми-

мо колонну и казались Аглае восхищенными зрителями. На самом же деле это были только случайные прохожие, которые к подобным зрелищам привыкли настолько, что даже и любопытства особого не проявляли. Некоторые, впрочем, испытывали чувство неловкости и жалости к этим глупым, злобным, беспомощным и смешным старикам. Им, людям новых поколений, казалось, что они совсем не такие и не могли бы быть такими никогда. На самом деле это не так. Поколения не бывают ни лучше, ни хуже, их верования, заблуждения и поведение зависят от исторических и бытовых обстоятельств, в которых они произрастают. Не надо быть пророком для предсказания, что люди будут еще, и не раз, ослепляться какими-нибудь лжеучениями и поддадутся соблазну наделения каких-нибудь личностей нечеловеческими чертами, прославят их, вознесут на пьедесталы, а потом оттуда ж и скинут. Следующие поколения скажут про них, что они дураки, и сами при этом будут такими же.

11

На Тверской площади напротив бывшего Моссовета стоял отряд конной милиции, и Юрий Долгорукий возвышался среди этих всадников как их предводитель.

Вдруг кто-то сказал:

— Смотрите, смотрите!

Аглая глянула вперед и увидела там, где Тверская улица пересекалась Охотным рядом, заслон людей в зеленых касках с плексигласовыми щитами и дубинками. Они стояли зловещей несокрушимой стеной, с напряженными лицами, как будто на них шла не кучка старых людей, а сто восемьдесят вражеских отборных дивизий. Из демонстрантов некоторые немало струхнули и поневоле замедлили шаг. Но Аглая, прервав предыдущую песню, сама запела:

*Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь...*

Голос у нее был хриплый, старческий, тихий, но Федор Федорович помог ей, подхватив тоже скрипуче:

*Да здравствует созданный
Волей народов
Единый могучий
Советский Союз...*

Их поддержал владелец электроходов, а уж припев подхватили все:

Сла-а-авься отечество..

Под звуки припева приблизились к омовскому заслону, остановились лицом к лицу и, топчась на месте, продолжили пение:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,

вспомнила Аглая начало второго куплета.

— И Ленин великий нам путь озарил... — продолжил генерал Бурдалаков, ударяя правой ногой в булыжник.

— Нас вырастил Сталин... — радостно подхватила Аглая...

— Товарищи, — бегал вдоль колонны распорядитель, — просьба ко всем, сохраняйте строй. Не выходите из строя.

Тем не менее строй постепенно сминался, шеренги растеклись вдоль заслона, и Аглая оказалась прямо перед милиционером, парнем лет двадцати деревенского вида, с маленькими раскосыми глазками на круглом лице. Демонстранты продолжали исполнять свою песню, и Аглая пела, глядя милиционеру прямо в лицо. Он взирал на нее удивленно и не мигая. Аглая перевела взгляд на других милиционеров, те тоже стояли твердо, но переглядывались между собой и усмехались. Аглая испытывала полное раздвоение чувств. С одной стороны — это были вроде бы наши советские, российские ребята, с которыми она пошла бы в атаку на ненавистного врага, с другой стороны — они-то как раз и были ненавистным врагом, готовым по приказу сражаться с ней.

Тем временем к Глухову подошел полковник милиции, тоже в каске, но без щита. Он хотел что-то сказать, но Глухов не дал ему этой возможности, продолжая петь, и, только когда песня кончилась, обратил свое внимание на подошедшего:

— В чем дело, полковник? Какой проблем?

— Господин Глухов, — сказал полковник негромко, — мне поручено вам передать, что на этом месте ваше движение заканчивается. Сообщите это вашим людям, и пусть расходятся.

— С какой стати? — спросил Глухов. — У нас с мэром была твердая договоренность.

— Я не знаю, с кем и какая у вас договоренность, но мне приказано...

— Кем приказано? Кто приказал?

— Не важно кто, но приказано освободить дорогу и восстановить движение транспорта. И я этот приказ выполню.

— Вы его выполните, но сначала мы пройдем к Мавзолею и возложим венки...

— Поодиночке — пожалуйста. Но не колонной.

— Нет, — сказал Глухов твердо, — мы пойдем именно колонной.

— Господин Глухов, — устало сказал полковник, — мне очень не хочется препираться, но ваше шествие закончено. Если вы не исполните, что вам говорят, против вас будет применена сила.

— Что? Сила? — вдруг выскочил со своим знаменем Федор Федорович. — Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? А как ты передо мной стоишь? Ты стоишь перед генералом. Смирно!

Полковник посмотрел на него с некоторым удивлением и сказал:

— Товарищ генерал, прошу вести себя в рамках. Я здесь выполняю распоряжение правительства Москвы, и вы для меня не генерал, а лицо, нарушающее общественный порядок.

— Я — лицо нарушающее? — возмутился Федор Федорович. — Ах ты, сопляк! Подонок! Да я Берлин брал! Я за тебя кровь проливал! Я с тебя погоны сорву!

Он даже потянулся к погонам полковника, но Глухов перехватил его руку:

— Федор Федорович! Ни в каком случае! Мы — организованная сила и на провокации не поддаемся.

Генерал еще дергался, но давал себя удержать.

Ряды демонстрантов волновались, сбились в кучу, и одни из участников стали выбираться от греха подальше наружу, а другие, наоборот, продвинулись вперед. Глухов попробовал успокоить толпу и, размахивая над головой руками, стал выкрикивать:

— Товарищи! Соблюдайте спокойствие и порядок! Займите свои места в колонне!

Тут рядом с ним вновь объявился Сиропов, стал толкать Глухова в грудь, плевать в него и выкрикивать:

— Товарищи! Друзья! Соратники! Не слушайте ренегатов! Глухов — ренегат! Разве мы не русские люди? Мы потомки Ленина, Сталина, Минина и Пожарского! Вперед на Кремль! Вперед на Кремль!

Вокруг него, неизвестно откуда взявшись, возникла целая группа молодых людей с вытаращенными глазами. Они стали вопить хором:

— Сталин! Берия! ГУЛАГ!

Другая группа продолжала выкрикивать:

— На Кремль! На Кремль!

Кто-то толкал Аглаю в спину, прямо на омовца с деревенским лицом, тот ни на что не реагировал и по-прежнему, не мигая, смотрел на Аглаю.

А она, вдруг почувствовав себя молодой, боевой и задорной, забыв, в какое время это все происходит, закричала:

— За родину, за Сталина — вперед!

— Даешь Берлин! — завизжал рядом с ней Бурдалаков и, повернув древко знамени, как пику, с нешуточным намерением проткнуть насквозь стоявшего перед ним полковника, сделал соответствующий выпад. Полковник увернулся, а генерал, не рассчитавши движений, упал и задержался на земле.

— Убили! Убили! — закричал кто-то.

— Генерала убили! — подхватили дальше.

— Товарищи, соблюдайте порядок! — глох где-то голос Альфреда Глухова, но его никто уже не слушал. Демонстранты, превратившись в неуправляемую толпу, нападали на омоновцев, толкая их в грудь, но те ловко прикрывались щитами. Аглая перехватила портрет Сталина в левую руку, а правой стала толкать своего омовца. Тот лениво оттолкнулся щитом. Аглая рассердилась еще больше и, перегнувшись через щит, ударила его портретом по каске. Каске ничего не сделалось, а портрет развалился. Рамка треснула, и бумага порвалась. Это привело Аглаю в еще большую ярость, и она, наклонив голову, как бычок, кинулась на омовца в намерении его забодать, но тот опять подставил щит, и она врезалась в него непокрытой головой, как в бетонную стену.

Будь ей лет на сорок поменьше, может, это было б и ничего, но для восьмидесятилетней старухи удар был слишком силен. Ей не было больно, но почему-то захотелось сесть, и она опустилась на мокрый асфальт. Вокруг нее продолжались толкотня, визг, крики, кто-то стонал и ругался матом. Над ней склонялись незнакомые лица, молодые, красивые, мокрые, она смеялась, ее спросили, чему смеется, и кто-то за нее ответил, что это она в горячке.

Потом она все-таки потеряла сознание и очнулась в какой-то комнате на парусиновом лежаке. За столом сидела женщина в белом халате и в очках и что-то писала. Рядом другая в белом халате, стоя, говорила по телефону на незнакомом ей языке:

— «Пицца Хат». Меню клёвое. Омары, ростбиф, фрикасе. Креветки, пудинг. Кьянти — шестьдесят баксов... О'кей! Скинь на пейджер. Или факсани. Имэйла пока нет, поменяли провайдера...

У дверей, прислонившись к стене и сложив руки на груди, стоял невозмутимый Митя.

— Где я? — спросила она.

— В медпункте, — сказал Митя.

— А в какой стране? — спросила Аглая.

Митя удивился и посмотрел на женщину за столом. Та объяснила:

— Обычная амнезия. — И повернула лицо к Аглае. — Вы в Москве. У вас было сотрясение мозга. Еще немного полежите, а потом отправим вас домой.

Аглая закрыла глаза. Открыла. Опять увидела Митю и вспомнила вдруг районный кинотеатр в Долгове, фильм с участием Сталина и молодого человека, который обозвал ее дурой. Это был этот самый Митя. Митя Лямихов, вечный диссидент и противник любой власти, которая существует в данное время.

— Вставайте, — сказал Митя. — Вставайте, вам пора ехать.

Он отвез ее на вокзал на такси и усадил в вагон СВ, как и было обещано.

12

В дороге после пережитых волнений ей не спалось, побаливала голова, и щемило сердце. Она полезла в сумку за валидолом и наткнулась на книжку. Вытащила, прочла название «Лесоповал» и только сейчас вспомнила, где ее купила. Чтобы скоротать время и отвлечься, попробовала почитать.

«Видели ли вы, как падает подрезанная под корень мачтовая сосна?»... — прочла она первую фразу и задумалась. На заданный вопрос она могла ответить утвердительно. В тридцать пятом году по призыву партии она три месяца работала на лесозаготовках и там кое-чего нагляделась. Там работали враги народа, интеллигенты, которые до того ничего тяжелее карандаша в руках не держали и поэтому страдали очень сильно от морозов и непосильной для них работы. Примерно как в этой книге. Аглая пробовала читать этот роман когда-то раньше, но, насколько ей помнилось, начало было немного другим. То есть была эта же ханты-мансийская тайга, мороз, снег, зеки, конвоиры и рухнувшая сосна. Но под сосной, как Аглае помнилось, оказался какой-то большевик по имени Алексей, а здесь — отец Алексей, пострадавший за веру свя-

щенник. Задавленный сосной, он прохрипел подбежавшему к нему рассказчику: «Читайте святое Евангелие. Почитайте Господа нашего Иисуса Христа. Идите и проповедуйте слово Божье. И вам воздас...»

Как ни странно, роман Аглаю увлек. Она так зачиталась, что чуть не проехала станцию.

На припорошенном снегом перроне не было никого, кроме дежурного Пухова, пожилого и нетрезвого человека в суконном пальто с протертыми локтями. Поезд отстоял положенные ему две минуты, Пухов дунул в свисток, выставил желтый флажок, помахал, не глядя на отходящий состав, Аглае свободной рукой и знаками попросил ее подождать. Она подождала. Проводив поезд, Пухов подошел, сунул флажок под мышку, протянул ей руку:

— Поздравляю.

— С чем?

— А вы не слышали? — спросил он и рукавом вытер нос.

— Нет, — раздражилась она. — Не слышала. Говори.

— Говорю, говорю. — Он подпрыгивал и дул на озябшие руки. — Вчера районная дума... Ваши коммунисты... Подавляющим большинством... В порядке восстановления исторической справедливости и сохранения культурных ценностей... решили опять вашего идола, ирода вашего на место поставить.

Сказав такие слова, Пухов слегка попятился назад и застыл, ожидая бурной реакции, и мы вправе были бы предположить нечто подобное. И в самом деле, будь Аглая молода и здорова, ее организм наверняка б отозвался на новость соответственным образом — и сколько бы адреналину выплеснулось в горячую кровь, какая торжественная мелодия прозвучала б в ушах, невозможно даже представить. Но организм был стар, функционировал вяло и невпопад, и новость не произвела на него должного впечатления.

— А ты-то чего радуешься? — спросила она. — Тебе-то что? Разве тебе Сталин дорог?

— Мне-то не дорог, — признался Пухов. — Но у меня эстетическое соображение. Стоит этот пьедестал посересть пло-

щади, как пуп неприкаянный, безобразит ведь город. Стыдно перед приезжими. Так вот надо ж на него в конце-то концов хоть кого-то поставить.

— Надо, — согласилась она безразлично и пошла к выходу, оставив дежурного застывшим в недоумении.

13

В привокзальном сквере под памятником Ленину на лавочке сидел осыпанный снегом пьяный бомж с редкой бородашкой, в заскорузлой дубленке и вязаной шапке. Он дремал с бутылкой в руке, но, услышав шаги, проснулся, посмотрел на Аглаю и поманил ее пальцем, словно приглашал к тайному общению.

— Что? — спросила она, приблизившись.

Бомж крутнул головой, как бы желал убедиться в отсутствии лишних глаз и ушей.

— Я себя, — сообщил он ей шепотом и подмигивая, и показал пальцем вверх, — под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Понятно?

— Понятно, — сказала Аглая. — Хорошо б, ты себя еще и помыл.

Ей самой ее шутка понравилась, отчего улучшилось настроение и самочувствие. Она прибавила шагу.

Погода была безветренная, сыпался редкий влажный снег.

Путь Аглаи лежал чуть в стороне от Аллеи Славы, но она решила завернуть сюда, посмотреть, что происходит. Здание казино «Колесо фортуны» было недавно отремонтировано, покрашено и выглядело празднично, не то что в прошлом, когда здесь был райком.

«Вот, — подумала Аглая недоброжелательно о владельцах казино. — Столько денег потратили на ремонт! А на райком бы этих денег тратить не стали».

И она была права. Эти люди ни за что не стали бы тратить столько денег на райком КПСС, на обком КПСС и даже на ЦК КПСС, сколько они тратили на свои казино, рестораны, гастрономы, ночные клубы и прочие заведения.

Как ни странно, пространство перед казино пока оставалось почти прежним, хотя ветер перемен и тут кое-что зацепил. Районная Доска почета стояла на своем месте, но овальные рамки, где раньше, как в колумбарии, помещались портреты передовиков, теперь были пусты или заполнены объявлениями о продаже и покупке квартир, породистых щенков и суперсжигателей жира. А на Аллее Славы к могилам героев революции, Гражданской войны и Великой Отечественной прибавились герои новейшего времени. В семидесятых годах здесь похоронили директора гастронома, в начале восьмидесятых — двух афганцев, включая фиктивного Ваньку Жукова, а в самые последние времена к ним присоединились президент фонда «Достойная старость», в уголовном мире известный как Валидол, и президент банка Мосол. Валидола взорвал Мосол. Кто расправился с Мосолом, для органов было загадкой, но люди, в органах не служившие, точно знали, что это сделал Феликс Булкин, он же Чума, преуспевающий бизнесмен и политик. Авторитетов похоронили по церковному обряду, обоих с размахом. Участвовали местная братва, представители деловых кругов и творческой интеллигенции. Из Москвы приехали несколько коллег на джипах и «Мерседесах», а Чума прибыл на «ЗИЛе-114» — говорили, что именно на этой машине ездил Брежнев. На могиле Валидола поставили мраморную плиту с вмурованным в нее радиатором от «Мерседеса», а над Мосолом вознесся бронзовый Прометей с приваренным к его печени орлом.

Остальные захоронения: комиссара Розенблюма, капитана Миляги и Андрея Ревкина — пришли в запустение, но сейчас были припорошены снегом и выглядели неплохо.

Еще издалека Аглая увидела, что на площади густится толпа. Это видение вызвало в ее памяти воспоминание пятидесятилетней давности: когда открывали памятник. Но что это могло быть сейчас?

Она подошла к толпе. Люди стояли у пьедестала в несколько рядов полукругом. Задние поднимались на цыпочки, пытаясь разглядеть, что там, впереди. Аглая тронула за плечо

стоявшую перед ней закутанную в платок сутуловатую женщину и спросила, что здесь происходит.

— Черт женится на свинье, — обернувшись к ней, сообщила Шурочка-дурочка.

— Чушь плетешь, — шепотом сказал стоявший рядом с дурочкой мужчина и объяснил Аглае, что накануне возвращения памятника на законное место происходит освящение пьедестала. Аглая протолкалась дальше вперед и увидела отца Редиску, который в полном облачении двигался вокруг пьедестала, держа в левой руке крест, а в правой — большую размочаленную кисть, вроде малярной. Рядом с батюшкой шаркал подошвами престарелый дьякон отец Петр Поросянинов с жестяным ведром. Батюшка макал кисть в ведро, обрызгивал пьедестал, приговаривая нараспев:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа совершается освящение подножия под изваяние раба Божия Иосифа, которому стоять здесь отныне и присно и вовеки веков. Аминь!

На церемонии присутствовали глава районной администрации Жердык, председатель городской думы, начальники районных управлений милиции, ФСБ, прокуратуры, председатель районного суда, начальник местного гарнизона, президент агробанка, Чума и два других вора в законе и какой-то человек в потертом пальто, очень худой, с желто-зеленым лицом, с большими глазами, длинными седыми и спутанными волосами, свисавшими из-под сильно помятой шляпы. Аглае показалось, что она этого человека где-то когда-то видела, может быть, в прошлой жизни. Собравшиеся внимали проповеди терпеливо и с тем же смирением, с каким когда-то выслушивали партийные доклады о выполнении планов и скором наступлении коммунизма. С той только разницей, что тогда они после каждой цифры аплодировали, а теперь в нужных местах, дергая головой, быстро и неумело крестились. Желто-зеленый старик делал это истовей и чаще других.

Закончив обряд, священник положил кисть в ведро, передал крест Поросянинову и обратился к собравшимся с неформальной проповедью, в которой кратко рассказал биографию Сталина.

— Это, — сказал он, — была сложная биография сложного человека. В отрочестве он решил посвятить себя Богу, поступил в семинарию, но потом, искушаемый дьяволом, соблазнился сатанинским псевдоучением и отошел от Бога. Но можно сказать, что дьяволу не удалось одолеть его полностью. Вы помните, во время войны, когда над нашей родиной нависла большая опасность, именно Сталин распорядился дать церкви больше свободы. Пути Господни неисповедимы, и пути человеческие к Богу трудно предвидимы. И мы не знаем, к чему пришел бы этот безусловно грешный человек, если бы его жизнь оказалась более длинной.

Батюшка заметил также, что установление памятника и даже освящение его не является отпущением грехов тому, кому он будет поставлен.

— Освящение статуи не значит превращение ее в религиозную святыню, но она есть историческая реликвия, и церковь способствует тому, чтобы она в качестве таковой стояла крепко и долго. Чтобы не было больше того кощунства, свидетелями которого мы являлись.

Напоследок батюшка еще раз осенил крестом пьедестал, и все опять перекрестились, после чего он, подобрав полы рясы, вместе с Поросяниновым направился к своей «Ниве». Жердык подошел к Аглае спросить, как было в Москве, а потом сказал с гордостью:

— Ну, вот видите, Аглая Степановна, видите, а вы еще не верили, что будет на нашей улице праздник. А он будет. Завтра. И уже никто и ничто не сможет его отменить, — заверил Жердык, и отходя, запел вполголоса: — Сердце красавицы склонно к измене...

14

Пока Жердык говорил, за его спиной стоял и дожидался своей очереди старик с желто-зеленым лицом.

— Не узнаете? — спросил он. — Я — Макс Огородов, скульптор.

И тут же стал бормотать какую-то несурязицу, из которой постепенно прорезался смысл, что он тяжело болен и приехал

сюда через силу, испытывая настоятельную душевную необходимость проститься с лучшим своим творением, к которому имеет страстное желание приблизиться и прикоснуться перед смертью.

— Почему бы и нет? — сказала Аглая. — Завтра будем устанавливать, и прикоснетесь.

— Нет, — возразил скульптор. — Не завтра. Завтра он будет стоять там, высоко. А я бы хотел... пока он без пьедестала, пока его можно обнять.

Аглае намерение Огородова не очень понравилось. Зачем это ему обнимать? Что будет, если каждый вздумает обниматься?

— Но это ж мое создание, — напомнил Огородов.

— Ладно, — согласилась она, — пойдете. — И он послушно поплелся за ней.

Лестницу на второй этаж оба одолели с трудом. Аглая ставила сумку на две ступеньки перед собой, сама поднималась, переставляла сумку и так достигла своей площадки.

— Прибраться не успела, — виновато предупредила она и заметила про себя, что, когда пила, ей было все равно, убрано или не убрано и кто что об этом подумает. А теперь не все равно.

Скульптор ничего не ответил и дышал часто, как собака, которая хочет пить.

Да и у нее руки дрожали, и ключ тыкался мимо дырки. В дверь она входила так медленно, что Огородов не выдержал и даже отпихнул ее невежливо, рванулся в гостиную и, согнув колени, застыл перед статуей.

— Ну, здравствуй, — сказал он и растопырил руки, словно ожидал чего-то, что упадет ему сверху. Аглая опустила сумку к ногам и прислонилась к притолоке. Огородов приблизился к статуе, обнял ее и тихо заплакал.

Аглая не любила людей, которые плачут. А плачущих мужчин не любила тем более. И никогда не жалела. Презирала. Но на старости лет расслабилась, наверное, и поддалась чувству, недостойному большевика.

— Ну чего зря слезы-то лить, — сказала она в своей грубоватой манере. — Жизнь нам всем дается на время. Даже он, — показала на статую, — уж какой человек, и то помер. А мы... Людей вон сколько на свете. Если мы помирать не будем, то сколько же нас наплодится? На земле места не хватит.

Огородов отошел к стене, рукавом вытер испарину и, глядя на статую, сказал:

— Да разве я о своей жизни плачу? Я свою жизнь полностью оправдал. У меня видение было. Что стоит мне до него дотронуться — и болезнь тут же отступит. Он непременно должен меня спас... — Огородов вдруг захрипел, закашлялся, задержался и схватился за грудь. Из угла рта пошла пузырями черная пена.

— Да ты что, что ты! — заволновалась и захлопотала возле него Аглая. — Ты подожди. Здесь не помирай. Здесь не надо. Я сейчас доктора вызову.

Она сама была слаба, но дотолкала его до дивана. Он рухнул на него навзничь и замер с открытым ртом и выпученными глазами. Несколько секунд он лежал, запрокинув голову, как будто даже без дыхания. Чем напугал Аглаю еще больше. К счастью, все обошлось. Гость очухался, и даже настолько, что был приглашен на кухню и напоен чаем из кружки с надписью «XX лет РККА».

Аглая смотрела, как он, сложив губы трубочкой, дует в кружку и затем пьет чай без видимого желания.

— А чем вы сейчас занимаетесь? — поинтересовалась Аглая.

— Сейчас-то ничем. А так, что ж... Вождей лепил. Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко... О вашем пьедестале все время думал. Нехорошо, что пустой стоит.

— Хорошо, — возразила Аглая. — Дождался хозяина. Не зря было сказано: «Будет еще на нашей улице праздник».

— Не зря, — согласился гость и снова зашелся в кашле, хватаясь за грудь.

— А у вас, извиняюсь, какая болезнь? — Аглая опять перешла на «вы». — Что-нибудь вроде рака?

— Хуже, — сказал он, покашливая.

— Разве бывает хуже?

— Кажется, бывает. — Он странным образом улыбнулся и посмотрел ей прямо в лицо. — У меня СПИД. Вы слышали про такое?

— СПИД? — переспросила она растерянно. — Как это СПИД? СПИД это же только у этих бывает... А-а, — догадалась, — так вы тоже этот?

— Да, я гомосексуалист, — с вызовом сказал Огородов. — И горжусь этим. Теперь весь цивилизованный мир признает, что в этом нет ничего зазорного. Тем более что я художник. Творческая натура. Все художники такие.

— Как это все? — не поверила она. — Все художники друг друга в задницу, да? И Репин, и Шишкин, и Кукрыниксы?

— А про Чайковского вы знаете? — спросил он. — Все знают, что «голубые» — самые талантливые люди. А другие — это бездари. Другие — тьфу! — Он плюнул, правда, не на Аглаю, а в сторону, но она все равно всполошилась.

— Ты что! — закричала она. — Ты что это плюешься в чужом доме? Тем более что заразный. Дай сюда! — Она вырвала у него чашку, расплескавши остатки чая, уже остывшего, и сказала слабым голосом, но решительно: — Уйди отсюда.

— А что такое? — не понял Огородов. — Через чашку СПИД не передается.

— Уйди, я тебе сказала. Мне на тебя смотреть противно. Гомик несчастный! Уйди. Вон отсюда!

Вытолкала его в прихожую, сунула ему в руки пальто и шапку, еле дотерпела, пока он оденется, и потом, когда он уже по темной лестнице, цепляясь за перила, спускался, крикнула:

— Пидарас проклятый! — И тут же услышала, как будто в ответ:

— Сердце красавицы склонно к измене...

Это был голос Жердыка.

Аглая перегнулась через перила, надеясь увидеть поющего, но на лестнице никого не было, а голос Жердыка шел вроде бы из подвала, где жил Ванька Жуков. Но тоже шел как-то странно. Жердык не пел песню целиком, а все время повторял,

как на испорченной пластинке: «Сердце красавицы склонно к измене... Сердце красавицы склонно к измене »... — и так без конца.

«Чушь какая-то», — подумала Аглая.

Но это была не чушь. Это Ванька Жуков гонял по кругу пленку с записью голоса Жердыка и подстраивал прибор, который будет реагировать только на этот голос, только на эту мелодию и только на эти слова: «Сердце красавицы склонно к измене...»

15

Как живет существо, превращенное из молодого, красивого, полного сил человека в обрубок, безобразный на вид и лишенный возможности даже обслуживать себя самого? Здоровым и благополучным людям этого не понять. У такого калеки другие чувства, иные радости, его миропонимание не совпадает с нашим, и жизнь ему не кажется слишком уж ценным даром.

Иван Георгиевич Жуков смотрел по телевизору старую кинокомедию с Мироновым и Никулиным в главных ролях. Ванька отдыхал и имел право себе это позволить. Выполняя самый сложный заказ, он добился наконец, чего хотел. Не просто было сделать такую штуку. Она безотказно откликнется на слова и мелодию, исполненную только одним человеком и никак больше. Это случится, может быть, завтра, 21 декабря в день рождения Сталина, или дядюшки Джо, как его называет Джим. Завтра статуя чугунного дядюшки будет поставлена на свое старое место. А после этого кое-какие люди захотят отметить это событие. Они поедут в ресторан «Золотой ключик». Они там выпьют. И захотят спеть что-нибудь задушевное...

Фильм сменился рекламой стирального порошка, который отстирывает всё и ничего не портит, средства от перхоти и шоколада, который, по словам рекламной песенки, «имеет право разделить успех». За шоколадом пошла криминальная хроника. Сурового вида милицейская дама рассказывала о том, что случилось за последние сутки в Москве. На одном из

рынков произошел взрыв. Бомба с часовым механизмом была заложена в мешок с картошкой. Погибло девять человек, тринадцать ранены. «Это не мое», — отметил Ванька. Студентка девятнадцати лет вместе с сокурсником задушила свою мать бельевой веревкой с целью завладения старинной иконой. Мальчик трех лет выпал из окна шестого этажа и оказался жив. В гостинице произошел пожар. Автомобиль «Ауди-6», управляемый пьяным водителем, вышел на встречную полосу и врезался в «Таврию». Водитель «Таврии» и его жена погибли на месте, владельца «Ауди» спасла воздушная подушка. И вдруг Ванька увидел Бавалю. Ее показали сидящей, очевидно, в милицейском участке. Ведущий сказал: «На Белорусском вокзале задержана пожилая женщина. Во время досмотра у нее в чемодане обнаружены около двух килограммов гексогена, четыреста граммов тротила и две противотанковые гранаты. Задержанная утверждает, что боеприпасы принадлежат не ей, но как они попали в ее чемодан, объяснить не может. При задержанной никаких документов не оказалось, а назвать себя она отказывается. Всех, кому знакома эта особа, просьба позвонить по телефону...»

— Ну вот! — сказал сам себе Ванька и, выключив телевизор, задумался. Хотя думать уже не было смысла. Бабку взяли и вряд ли отпустят. Значит, скоро придут сюда. А что делать? Он обернулся в кресле на триста шестьдесят градусов, осмотрел свое оборудование и запасы взрывчатки и понял, что сделать он, инвалид, не сможет уже ничего. Остается только ждать, когда за ним придут. Ну а когда придут...

Его лаборатория была хорошо оснащена всем, чем нужно, чтобы превратиться в гремящий и сверкающий ад для всех, кто сюда придет. Ванька усмехнулся. Он часто думал о том, как закончит жизнь, и собирался закончить ее эффектно. А как? Ему это часто снилось. Клубы пламени ослепительного и ярких цветов, и люди, летающие в нем, как птицы...

Ванька включил компьютер и соединился по Интернету с Джимом.

— Привет, — передал он ему.

— Привет, — ответил Джим. — Как дела?

— Подходят к концу, — сообщил Ванька.

— Можешь объяснить поточнее?

Ванька объяснил.

— О.К., — отозвался Джим. — Я не буду тебя отговаривать, хотя мне будет тебя не хватать.

Ванька не отозвался.

— Ты не хочешь мне отвечать? — спросил Джим.

— Я не знаю, что тебе ответить, — написал Ванька, и в это время в дверь постучали.

— Кто там? — спросил Ванька, не двигаясь с места.

И услышал пение:

— Сердце красавицы...

Ванька замер. Казалось, уже ничто не могло его взволновать, но тут заколотилось сердце так, что он сам себе удивился. Рука дрожала, откидывая шеколку. Открыв дверь, Ванька увидел человека в длинном нараспашку пальто, в красном пушистом шарфе, с заграничной бутылкой в руках и заметно уже хмельного.

— Ты? — спросил Ванька.

— Собственной персоной. — Жердык громко захохотал и снова запел: — Сердце красавицы...

— Стой! — закричал ему Ванька. Впрочем, в созданное им устройство он еще не вставил батарейки, и машинка была пока безопасна.

— А что? — не понимая причины Ванькиного волнения, спросил Жердык. — Не нравится, как я пою?

— Нравится, — сказал Ванька. — Но, если можно, потом.

— Не пой, красавица, при мне и при других не пой, — весело сказал Жердык. — Ах ты, друг ты мой ситцевый! — Он подвинулся к Ваньке в намерении то ли обнять его, то ли похлопать по спине, но остановился, сообразив, что и то, и другое будет непросто осуществить. — Я же только сегодня узнал, что ты жив. Ведь я тебя сам лично хоронил. Между прочим, с большими почестями. Как героя. А ты, негодник, нас всех обманул, хитрюга.

Жердык балагурил оживленно и весело и, будь он чувствительней к слову, сам понял бы, что фальшивит. Он чувствительным не был, продолжал говорить невпопад и спросил Ваньку, узнал ли тот его сразу.

— А ты меня?

— Я? Тебя? — Жердык хотел выразить удивление или возмущение. Что за вопрос? Как же он мог не узнать старинного друга? Но все-таки понял, что это было бы слишком недостоверно. — Да. Извини, — сказал он. — Но все-таки тебя я узнал. И узнал бы всегда. Ты знаешь, есть люди, у которых нет ничего, кроме внешней оболочки, а есть личности. А личность, Ванька, всегда проявляется каким-то образом. Она излучает свой особый свет или... я не знаю, как это назвать... Ванька, друг ты мой, ты не представляешь себе, как я рад!

— Заходи, — Ванька откатился к компьютеру. — Возьми стул, садись, я сейчас выйду из Интернета.

«Извини, — написал он Джиму. — Пришел старый друг».

«О'кей, — ответил Джим. — Я его знаю?»

«Знаешь, — написал Ванька. — «Сердце красавицы».

«О! — забеспокоился Джим. — Зачем он к тебе пришел?»

«Выпить хочет».

«И ты будешь с ним пить?»

«Может быть», — ответил Ванька.

«О.К. — написал Джим, и Ванька почувствовал в этих двух буквах сомнение. — Но мы с тобой еще свяжемся или...»

«Или», — ответил Ванька.

И, отключившись от Интернета, повернулся к гостю. Жердык сидел на стуле, бутылку держа на колене.

— Ну ты даешь! Ты, наверное, в нашем городе единственный овладел Интернетом.

— Не единственный, а первый, — сказал Ванька.

— Да? Возможно. Я, правда, тоже в Интернете. Но... — Он махнул рукой. — Ванька, что мы с тобой о какой-то херне? Ведь главное не это. А главное, что ты жив. Ты живешь, ты дышишь, ты творишь. Да, у тебя здесь целая лаборатория! Она у тебя как-нибудь называется?

— Она у меня называется, — подтвердил Ванька. — Она у меня называется «Малая Хиросима». Разве ты не слышал?

— Слышал, — признался Жердык. — Мне доложил наш районный чекист. Знаешь кто? Не знаешь и не догадаешься. Но я тебе скажу. Попозже. А ты мне пока покажи свою «Хиросиму».

— А ты меня не продашь? — спросил Ванька.

— Я? — растерялся Жердык. — Тебя? — Он напыжился и покраснел, но не от стыда, от обиды. — Знаешь, Ванька, если это шутка...

— Шутка, — сказал Ванька.

— Очень неостроумная.

— Ладно, не сердись, — сказал Ванька. — Вот смотри. Видишь этот порошок? Это почти сахарная пудра. Но если эту пудру смешать с этой угольной пылью, засыпать в консервную банку и залить желатином, а потом стукнуть по этому молотком. Не хочешь посмотреть, что получится? Не хочешь? Правильно Пушкин говорил: мы ленивы и глупы, что ли...

— Нелюбопытны, — поправил Жердык.

— Ну да. Нелюбопытны. А тут — склад готовой продукции. Помнишь, у меня была копировальная машина?

— Ну как же! — сказал Жердык. — Как же!

— Так вот. Здесь тоже все на высоком техническом уровне. Вот эта штука. Закладывается в автомобиль. Срабатывает на определенной скорости. Я одному дураку сделал для его «мерса», чтобы сработало на скорости сто двадцать километров в час. Я думал, он разгонится где-нибудь за городом. А он прямо здесь, по ухабам...

Он показал другу детства хитроумные устройства, спрятанные, в зависимости от назначения, одно в консервной банке, другое в кастрюле, третье в скрипичном футляре, четвертое в моторном цилиндре. Способы приведения их в действие были разные: радиосигнал, прикосновение пальца с определенным отпечатком, запах канифоли, достижение заданной высоты или слово, сказанное как пароль. Ванька показывал, Жердык восхищался. И в ответ рассказал Ваньке, какую карьеру он сделал и для чего.

— Помнишь, мы когда-то говорили о диссидентах. Я тогда считал, что они неправильно действуют. И сейчас думаю, что был прав. Они уже тогда своими разоблачениями лишали людей веры в лучшее будущее, разрушали, как бы это сказать, духовную инфраструктуру. И что получилось? Полная разруха всей жизни и всех устоев. Но все-таки у людей есть потребность верить во что-то хорошее.

— В коммунизм? — спросил Ванька.

— Коммунизм — название условное. Но ведь можно построить более или менее справедливое общество. Теперешние правители о людях не думают, а мы думаем. И что-нибудь сделаем. Малые дела важнее великих свершений. И мы начинаем с малого. Вот выиграли выборы, теперь кое-что начнем делать конкретно для людей. Тебе, например, уже решено, купим кресло с электрическим движком. Дадим квартиру, специально оборудованную. Постараемся, насколько возможно, обеспечить нормальную жизнь. Вообще, мы много можем сделать, если б только нам не мешали.

— А кто мешает? — спросил Ванька.

— Да мало ли. Вчера по телевизору выступал олигарх. Страшал народ, что, если начнется передел собственности, будет гражданская война.

— А разве не будет?

— Кого с кем? Миллионы людей считают, что олигарх их обокрал, и хотят отнять у него наворованное. А кто против этого? Только сам олигарх. Так кто будет за него воевать? Его телохранители? Они же первые его и повяжут.

— Значит, ваши главные противники — олигархи?

— Не только. Наши противники — всякая сволочь. Фашисты всякие. Здесь тоже есть один очень страшный человек. Между прочим, твой давний знакомый...

Страшным знакомым, догадаться нетрудно, был Крыша.

— Был бандитом и остался. Только теперь бандит с идеей. Ты про «Белый сокол» слыхал?

— Нет.

— Фашистская организация. Четкая идеология, железная дисциплина. Местные организации по всей стране.

- Крыша в этом «Соколе» состоит?
- Не состоит, а руководит им.
- Из Долгова?
- Штаб-квартира его в Москве. Но руководить отсюда удобней. Не так заметно.
- А куда же смотрят ФСБ, МВД, прокуратура?
- Наивный ты человек все-таки, Ванька. Куда они смотрят? Он сам из них. Очень страшный человек! — повторил Жердык. — Если его не остановить...
- Остановим, — обнадежил Ванька.

16

Как раз в это время в дверь условным образом постучали, и на пороге объявился сам предмет разговора с бутылкой водки. Будучи человеком тренированным, Крыша, здороваясь с Жердыком, ни малейшего смущения не проявил, только посмотрел внимательно на Ваньку в попытке понять, что привело сюда победителя выборов и не раскрыл ли ему Ванька неких замыслов. Жердык в свою очередь прощупал подозрительным взглядом Крышу, соображая, что тот здесь, очевидно, не в первый раз. Тем не менее оба своих подозрений друг другу никак не раскрыли, но каждый заподозрил в двойной игре Ваньку. При этом все трое вели себя дружелюбно и через некоторое время уселись за стоявший в стороне шаткий столик. Выпивали, закусывали и чем больше пили, тем более нежными чувствами проникались друг к другу. Через час или больше они вспоминали всякие случаи из прошлой жизни, произносили тосты за дружбу, говорили разные приятности, и, глядя на них со стороны, трудно было бы представить, что эти люди друг другу — враги. А впрочем, в России от дружбы до вражды путь всегда недалекий. Сейчас мы пьем, обнимаемся, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, а в следующую минуту схватились за нож, за топор или за что-нибудь огнестрельное.

За окном была тихая морозная ночь, светила полная луна, кошки орали на крыше, а из подвала неслись песни, исполняемые нестройным мужским трио. «На диком берегу Иртыша», «По диким степям Забайкалья»...

— Ребята! Друзья мои! — в порыве светлых чувств воскликнул Жердык. — Как все же прекрасна жизнь! И как хорошо ощущать в ней себя человеком, существом рожденным...

— Рожденным для чего? — спросил Ванька.

— Для чего-то хорошего. Короленко сказал: «Человек рожден для счастья, как птица для полета».

— Можно я переформулирую? — благодушно возразил Крыша. — Я смотрю на это проще: человек это — постоянно действующая фабрика по переработке продуктов природы в говно.

17

А тем временем с запада, или с востока, или с какой-то другой стороны, уточнять не будем, чтобы не ввергать читателя в соблазн двойного толкования текста и подтекста, в общем, с одной из сторон на город Долгов надвигалась вовсе не зимняя, грозовая, зловеще-красивая туча. Ее еще, может быть, мало кто видел, а Ванька уже всем своим со всех сторон укороченным телом ощущал ее приближение. Тут надо сказать немедленно, хотя в интересах сюжета стоило обозначить заранее, что любая гроза повергала Ваньку в состояние звериного беспокойства, может быть, оттого, что почти все нервы были обрублены, торчали наружу и чутче любого барометра воспринимали даже неясные атмосферные возмущения. Во время погодных катаклизмов Ванька порою сходил с ума и самые страшные мысли озаряли его изуродованную снаружи башку.

Посмотрев в тот вечер на небо, можно было заметить, что одна сторона его была черно-лиловая, а другая, напротив, девственно ясная. Черная медленно двигалась к ясной, ясная двигалась к черной, и, наконец, они впали друг к другу в объятия прямо над центром города Долгова. Потом говорили, что столкнулись два атмосферных фронта. Один из фронтов был циклон очень теплый и влажный, а другой — антициклон, сухой и холодный. Они столкнулись, и вдруг все завывало и засвистело, лиловую тучу завертел вихрь, и она превратилась в грязный чер-

ный лохматый смерч, в вертящийся столб, нижний конец которого опустился к земле, а верхний вытянулся в сторону космоса. Невероятная сила вращала это черное месиво, отрывая от него и опять притягивая к центру темные клочья. А вокруг столба вращались и клочкотали клубы дыма, пара, грязи или неизвестно чего, всех цветов радуги и их мерзейших оттенков. Смерч не на одном месте стоял и не прямо передвигался, а ходил кругами по центру города, будто хотел именно это место полностью уничтожить. Он гнул до земли и ломал деревья, срывал с домов крыши, переворачивал автомобили, катил по улице пустые бочки, волок рекламные щиты, разбивал вдребезги киоски, а какую-то телегу вместе с лошадей поднял вверх и понес куда-то, словно воздушный шар, и лошадь беспомощно дрыгала ногами. Все свистело, шумело, ревели, с неба обрушились на город дождь, снег, град величиною с кулак и все осадки, какие только можно себе представить и в таких количествах, каких представить себе нельзя. Молнии высвечивались ослепительными зигзагами и с ужасным треском втыкались в землю. Все люди попросыпались и в страхе смотрели в окна, а иные, наоборот, закрывали глаза, затыкали уши и молились, кто кому и чему умел. Никто никогда в такое время года подобной грозы не видел, и в другое время не видел, и ни в какое время не видел и видеть бы не желал. И некоторые даже стали думать, что, может быть, это не гроза, а война, и не простая, а термоядерная. Или обыкновенное светопреобразование. Страшный суд, ради которого разверзнется земля, вскроются все могилы, тьмы мертвецов вылезут наружу и станут класать зубами. Все сверкало, гремело, Ванька заволновался, и его охватило чувство, что он сам — часть этой стихии.

Хотя внешне никто бы и не подумал.

Его комната, как известно, находилась в полуподвале. Нижняя часть окна стояла в бетонном кармане ниже уровня тротуара приблизительно на полметра, а верхняя часть приблизительно на метр поднималась над уровнем. Прямо в окно летел поток воды, как из трубы большого диаметра. Бетонный карман немедленно наполнился, вода давила в стекло и опасно

сочилась внутрь. Одна молния ударила прямо в карман, и вода немедленно закипела, но стекла не лопнули. Другая молния, очевидно, ударила в крышу, и ощущение было такое, что на дом упала большая бомба.

Трое друзей все еще сидели за столом. Глядя в сторону окна, Ванька опять вспомнил бой в Кандагаре, когда моджахеды из всех видов оружия крошили их батальон, застрявший в ущелье и практически беззащитный. Крыша тоже вспомнил афганский опыт и штурм дворца президента Амина.

Жердык ничего подобного вспомнить не мог и полез под стол.

— Ты чего?! — прокричал ему Ванька, отогнувши клеенку.

— Я боюсь! — прокричал из-под стола Жердык.

— Все бояться, — сказал ему Крыша, — но зачем же лезть под стол? Вылезай! — Он схватил Жердыка за шкуру и стал тянуть наружу, а тот упирался, плакал и кричал:

— Ребята! Не надо! Оставьте меня здесь! Я боюсь. Вам не страшно, вы герои, а я боюсь!

— А ты не бойся. Это не страшно, — сказал Ванька, казалось, совершенно спокойно.

— Это тебе не страшно! — прокричал Жердык. — Потому что ты обрубок. Тебе жить незачем, а я еще полон сил.

Глядя на Ванькино лицо, трудно было понять, что оно выражает.

— Вылезай, Саня! — сказал он Жердыку почти ласково. — Успокойся. Ты что же, грозы не видел? Вылезай, потолкуем.

Как ни странно, эти слова подействовали на Жердыка, и он, оттолкнувши руку Крыши, вылез и отряхнулся смущенно.

— Ну вот, — сказал Ванька. — Вот и хорошо. Выпей еще и успокойся.

Жердык принял протянутый ему стакан и отхлебнул, стуча в стекло зубами и проливая водку на грудь.

— Ты знаешь, — сказал ему Ванька, — когда очень страшно, надо думать о чем-нибудь отвлекающем. Я, когда нас крошили в ущелье, почему-то старался вспомнить стихи,

которые я где-то зачем-то читал и запомнил. — Ванька закрыл глаз и стал читать нараспев:

*Я был недавно в недалежном Где-то
Там люди тесно живут, как в гетто.
Суровый климат — зима без лета...
И не хватает тепла и света.
Неотличимы там день от ночи,
И люди бродят во тьме на ощупь.
И хоть друг друга они не видят,
Друг друга крепко все ненавидят.
Там развлечений других не знают,
Как склоки, дразги да пересуды.
И только радость у них бывает,
Когда соседу бывает худо.
Сломал ли ногу, свернул ли шею,
Или украли в метро бумажник,
Иль терпит в чем-то ином лишенья,
Его соседям — и свет и праздник.
Так жизнь проходит во тьме и злобе,
Развлекься нечем душе и телу.
Но если кто-то кого угробил,
Тогда, конечно, другое дело.*

Пока он читал, за окном немного утихло, и Жердык, приходя в себя, поинтересовался, чьи это стихи.

— Не знаю. — Ванька пожал плечом. — Какого-то диссидента.

— Оно и видно, — заметил Крыша. — А что значит «в недалежном Где-то»? В России, что ли?

— Конечно, в России, — сказал Жердык, нервно косясь на окно. — Где еще есть такие, которые собственную страну ненавидят?

— Везде, — пробормотал Ванька, вспомнив про Джима. — Везде есть такие, которые...

— Но эти стихи, — сказал Жердык, — не искусство, а что-то такое...

— Чернуха, — подсказал Крыша.

— Вот именно чернуха, — согласился Жердык. — Искусство должно быть светлым. Его задача — возвышать человека, внушать ему веру в себя, в людей, в друзей.

— Правильно, — подхватил Ванька с неожиданным энтузиазмом, — а не хочешь ли ты как-нибудь нас возвысить? Спой нам «Сердце красавицы».

— Сейчас? — удивился Жердык и вздрогнул от вновь сверкнувшей за окном молнии.

— А почему же нет? — сказал Ванька. — Давай.

Две молнии сверкнули, одна догоняя другую. Жердык хотел что-то сказать и открыл рот, но тут запылало, загрохотало так, как если бы батарея реактивных минометов обрушила всю мощь своего огня на единственный этот дом. Жердык обхватил голову руками и снова полез под стол. Очередная молния попала в бетонный карман. На этот раз стекло лопнуло, кипящая вода хлынула внутрь. Клубы пара закрыли всё.

— Умираю! — кричал из-под стола Жердык.

— Сейчас умрешь! — подтвердил Ванька. — С песней. — И потянулся к магнитофону.

Крыша немедленно сообразил, что это значит, но он Ваньки уже не видел.

— Стой! — кричал он и кинулся к Ваньке сквозь пар. Он прыгнул, как ягуар. Вытянув руки вперед, летел он наперехват, похожий, может быть, на торпеду. И застигнут был случившимся прямо в полете.

Ванька нажал на клавишу, из микрофона вылился чистый тенор Жердыка:

— Сердце красавицы...

И тут полыхнуло не снаружи, а изнутри, и Крыша не упал на Ваньку, а, напротив, взмыл вверх и продолжил свой полет в бесконечность.

18

Незадолго до грозы Аглая Степановна Ревкина сидела за столом, пила чай с ванильными сухарями и поглядывала в окно. Там было тихо и ясно. Ничто не предвещало ничего.

Аглая вспоминала свою поездку в Москву, встречу с генералом Бурдалаковым, драку с милицией, скандал со скульптором Огородовым. Нахал! С такой болезнью явился прощаться. Вот и ей пришла пора расстаться со своим постояльцем. Три десятка лет прожили вместе...

— Вот, — сказала она, подойдя к нему с чашкой, — видишь, все-таки дождались. Завтра тебя поставят на старое место, и это уже все, никто тебя оттуда не сдвинет.

Она посмотрела на него, но в его лице и фигуре никакого отношения к предстоящему событию не обнаружила. И неожиданно подумала: а вдруг он не хочет туда? Там холод, сырость, голуби, и возможны разные злоумышления. В каком-то городе взорвали уже памятник Николаю Второму. И этот могут взорвать. Еще подумала: отдам его им, а с кем останусь сама?

Одна в пустой квартире... Как это бывало и раньше, она в своих размышлениях упускала из виду то обстоятельство, что он не совсем живой. И мимолетно скользнула мысль: а что, если вовсе не отдавать? Эти люди отреклись от него, думала она, забыв, что живет уже в другую эпоху, не тех, которые отрекались, разве они заслужили право на него?

После чая стала готовиться ко сну. Постелила постель, включила телевизор. Местный канал подводил итоги выборов. Коммунисты одержали внушительную победу. Журналистка брала интервью у нового главы долговской администрации Александра Жердыка.

— Я считаю нашу победу естественной. Людям надоело жить в нищете и неопределенности. Они теперь видят воочию, что только коммунисты способны обеспечить им спокойную и достойную жизнь. А что касается меня лично, — с выражением печали добавил он, — то я не воспринимаю свою новую должность как источник каких-то льгот, преимуществ или чего-то такого. Для меня это будет тяжелый труд, повседневный и неблагодарный, но если мы любим наш народ, нашу родину, то мы не имеем права уклоняться даже от самой трудной и неприятной работы.

После рекламной паузы пошел фильм из цикла «Наше старое кино». Фильм был и правда старый, черно-белый, о войне. «Секретарь райкома» с актерами Ваниным, Жаровым, Астанговым. Наивный, конечно, фильм, но идейно правильный. Вот ведь умели делать! И сюжет острый, и актеры хорошие, и идеологически выдержан. Может быть, прав Жердык. Все возвращается на свое место. Молодые люди смотрят эти фильмы, и что-то, наверное, западает им в душу. В конце концов начнут понимать, что прежнее поколение жило идеалами, не то что эти «новые русские», у которых идеалы измеряются весом золотой цепи на толстой шее.

В комнате было тепло, пожалуй, даже жарко, но ее слегка знобило, и она натянула на себя ватное одеяло.

За окном опять светила луна, светила тихо и безмятежно и так ярко, что можно было читать книгу. Аглая угрелась, и ей было хорошо. Она смотрела телевизор, поглядывала на луну и теперь видела отчетливо: брат режет брата. В телевизоре староста, служивший немцам и схваченный партизанами, стал кричать: «Я русский», а секретарь райкома ему сказал: «Ты предатель и для нас ты трижды немец, гад». Аглая пыталась следить за сюжетом, но мысли разные отвлекали. Она даже и не заметила, как этот фильм кончился и началась другая передача. В которой вдруг почему-то показали Валентину Жукову и попросили ее опознать. А почему ее надо опознавать, когда ее все и так знают? Аглая не поняла и, переключившись на другой канал, попала в передачу совершенно другого рода. Показывали зал, в котором сидели какие-то люди, на партизан совершенно непохожие, между ними ходила молодая женщина с микрофоном и задавала вопросы:

— Скажите, вот вы говорите, что разошлись с мужем, потому что он вас не удовлетворял сексуально. Это что значит: не удовлетворял? Он был импотент? У него не было эрекции?

— Нет, — отвечала спрашиваемая, — физически у него все было нормально. Но он просто не хотел понимать, что могут быть какие-то фантазии, не признавал никаких отклонений от того, что сам считал нормой.

— Ну, например?

— Ну, например, он был против анального секса, а когда я ему сказала, что хотела бы переспать с его другом, он вообще скандал поднял и даже позволил себе ударить меня. В конце концов я от него ушла и вышла за другого.

— И этот другой помогает вам осуществить ваши фантазии?

— Да, конечно.

— Он не запрещает вам переспать со своим другом?

— Не только не запрещает, но, наоборот, поощряет. Мы часто занимаемся групповым сексом.

— И вам нравится групповой секс?

— Очень.

— А что именно вам нравится в групповом сексе?

— Больше всего мне нравится двойной минет.

— Двойной минет? — подняла бровь ведущая. — Это что же?

— Два члена в рот.

— Вот как! Это в самом деле должно быть увлекательно. А тройной минет вы не пробовали?

Аглая не поленилась, слетела с кровати, подбежала к телевизору и стала плевать на экран, выкрикивая:

— Дура! Дура! Два члена в рот! Стрелять таких надо, стрелять!

Она дрожала от возмущения, плевалась и заплевала весь экран. Выключила телевизор. Легла. Долго не могла успокоиться. Что же это происходит? Неужели ради этих тунеядцев она, ее поколение жертвовали своим здоровьем и жизнью? Включила другой канал. Там, слава Богу, передавали что-то родное. Повторяли старый «Голубой огонек» с космонавтами, передовиками производства, мастерами слова и сцены. Поэт Роберт Рождественский, еще живой, читал стихи «про того парня». Людмила Зыкина, прижимая руку к груди, пела песню «Издалека долго течет река Волга».

Однажды Аглая плыла по Волге на пароходе. Это была плавучая межобластная партийная конференция. Плыли секре-

тари обкомов, райкомов, партийные активисты и вместе с ними два члена Политбюро — Каганович и Ворошилов. От этого путешествия в памяти осталось немного: бесконечные холмистые и лесистые берега, песня из кинофильма «Волга-Волга», щедрые столы в кают-компании, матросы, исполняющие танец «Яблочко», и Ворошилов, блюющий за борт. Два чекиста держали его при этом за локти, чтобы он не выпал. Один из них, заметив на палубе Аглаю, посмотрел на нее очень недружелюбно, и она поспешила немедленно исчезнуть. Вспомнив о Ворошилове, она стала думать о Сталине, Сталине, Ста... и тут же его увидела. Он спускался к ней с крутого противоположного берега, с кальсонами, повязанными вокруг головы вроде чалмы, тесемки трепетали на легком ветру. Она хотела сказать Сталину: осторожно, здесь круто, но увидела, что эта крутизна Сталину никак не угрожает, — прыгая с камня на камень, он зависает на несколько секунд в воздухе и даже вроде бы парит, как птица, а потом опускается на следующий камень. Аглая сначала удивилась, как ему это удастся, а потом сама попробовала и увидела, что она тоже может парить. Она поднялась не высоко, может быть, всего на вершок от земли, но, держась на этой высоте небольшим усилием воли, начала передвигаться навстречу Сталину и, приблизившись, сказала радостно: «Товарищ Сталин, вчера в нашем магазине давали крупу». На что Сталин ласково улыбнулся и сказал: «Когда я был маленьким, я любил ездить на паровозе «Иосиф Сталин». Тут же он поднялся на ступеньку паровоза и, правой рукой держась за поручень, другую откинул и красивым голосом запел:

— Сердце красавицы склонно к измене...

Аглая немного удивилась, что товарищ Сталин поет такую странную некавказскую песню, и от удивления проснулась.

Луны за окном уже не было. Было, наоборот, совершенно темно. И очень тихо. Очень спокойно. Слишком спокойно. Как перед внезапной атакой противника. Она почувствовала: сейчас что-то должно случиться. Но тут же сама себя спросила: а что может случиться? И сама же себе ответила: ничего не может случиться. И снова закрыла глаза.

...Был яркий летний день, солнце — в зените, а Аглая стояла среди высокой травы на лужайке в сосновом лесу. Цветли полевые цветы, летали бабочки и стрекозы, а товарищ Сталин стоял в большом жестяном тазу, с ног до головы покрытый густой мыльной пеной. Она стала тереть его мочалкой и поливать водой из большой эмалированной кружки. А он такой маленький, примерно как пятилетний ребенок, но с усами, и непонятно, чугунный или живой и в мундире или без ничего. Аглая льет и льет воду из кружки, а пены становится все больше, она окружает его, как пышные кружева. Сталин то совсем пропадает в ней, то выныривает наружу. Аглая хочет кого-то спросить, что делать, когда столько пены, и видит Владимира Ильича Ленина. Ленин в накинутом на плечи пиджаке сидит на пеньке у своего шалаша и быстро пишет апрельские тезисы в середине июля, а над ним кружится рыжий шмель. Она к нему подходит, чтобы спросить, как ей быть с пеной, окутавшей товарища Сталина, но вождь не слышит, пишет и трясет бородой, она трогает его за плечо, он поднимает голову, и она видит, что это не Ленин, а Шубкин. Шубкин тут же закрыл свою писанину рукой, но она понимает, что это он пишет на Сталина донос. «Нет, не донос, — говорит ей Шубкин, — это сатира. Это сказка про трех поросят и называется «Лесоповал». — «Все равно, — сказала ему Аглая. — Зачем вам в Израиле «Лесоповал»? Там ведь нет никаких лесов». Она пошла назад к Сталину. Но там, где он только что был, нет ни его самого, ни таза, там стоит генерал Бурдалаков со знаменем, которое распростерлось, несмотря на полное отсутствие ветра, и на нем видны гвардейский значок и надпись: «Даешь чурчхеллу». И никаких дырок. Аглая подошла к генералу, поздоровалась и спросила: «Вы Берлин уже взяли или только собираетесь?» — «Чурч — это по-английски церковь, — ответил ей Бурдалаков, — о чем я доложил лично Леониду Ильичу Брежневу». — «А почему не товарищу Сталину?» — строго спросила она. «Товарищ Сталин здесь больше не живет, он взял отпуск и уехал в Сочи». Аглая обрадовалась, вспомнив, что ей тоже надо именно в Сочи, потому что она не

брала еще сегодня кефир. Она сказала «спасибо» и пошла по степи и рядом с дорогой увидела брошенную телегу с двумя упавшими на землю оглоблями. В телеге охапка соломы, а на ней голый ребенок. Это Марат. Ему два годика, и он мертвый, один глаз у него закрыт, а другого совсем нет. Она не поверила, что он совсем умер и его нельзя оживить. Она посмотрела, нет ли кого вокруг, и опять увидела Сталина. Теперь он был в белом халате со стетоскопом, перекинутым через шею. «Товарищ Сталин, — сказала она, — у меня горе. У меня умер сын, а муж мой геройски погиб за родину». — «Я вам помогу, — сказал Сталин и, приложив к ее груди стетоскоп, запел: — Сердце красавицы...» И, как только он запел, ее муж Андрей Ревкин соединил провода, и с неба из-за черных туч ринулись к земле пикирующие бомбардировщики. Посыпались бомбы и стали рваться с ослепительным светом и ужасным треском, словно рвалась парусина.

Аглая поняла, что все это ей снится, что надо проснуться — и все пройдет. Чудовищным усилием воли она разлепила глаза и увидела, что явь даже страшнее сна. За окном что-то сверкало, гремело, свистело, трещало. Пылала нефтебаза, горела, падая, большая сосна, горел и падал электрический столб. Бенгальским огнем рассыпались сомкнувшиеся провода, светился экран телевизора, и горел сам телевизор. Стекла изо всех окон летели внутрь и сверкали рассыпавшимся по полу калейдоскопом, а Сталин, но не живой, а железный, стоял посреди стихии и, раскачиваясь из стороны в сторону, пел «Сердце красавицы». Весь он при этом дрожал и качался, видно было, что рвется, но не может сдвинуться, какая-то сила держит его на месте. Он не может справиться с силой и надеется одолеть ее песней «Сердце красавицы». «Сердце красавицы», — пропел он в очередной раз, и, как бы в ответ на его усилия, что-то вдруг ухнуло, гроыхнуло, свет ярче прежнего брызнул в глаза, и дом закачался. Сталин сдвинулся с места и пошел прямо к Аглае вместе с плитой, к которой он был приварен. Пошел вперевалку, подминая под себя стекла, которые под ним хрустели, звенели, разлетались белыми брызгами. А

он все шел и шел, упорно, грозно, неумолимо. Аглая вдруг поняла, что он идет к ней, чтобы взять ее как женщину, и сама воспылала безумной ответной страстью. Она приподнялась на подушке, она растопырила худые руки и ноги в разные стороны, всю себя растопырила и сказала тихо, но страстно: «Иди ко мне! Ну иди, иди, ну иди же!» И он шел к ней, качаясь и дрожа неуголимой дрожью от какой-то бушевавшей внутри него бешеной силы. Он шел. Стекла летели ему в лицо, свет слепил ему глаза, из глаз летели огненные струи, как будто с помощью их он хотел увидеть Аглаю. «Ну иди же, миленький! Иди ко мне, мальчик мой!» — заклинала она. Перед самой ее кроватью он, словно засомневавшись, остановился. И даже качнулся назад так сильно, что чуть не грохнулся навзничь. Уже чугунный затылок почти что коснулся пола, но неведомая сила удержала его, подняла, выпрямила, подбросила к потолку, опустила на место. Он опять задрожал, задрожал и с криком «Сердце красави-цы!» обрушился на Аглаю, и она приняла его всем своим растопыренным телом.

Звучала песня, гремели взрывы, звенели стекла, ломались, стукались, коржились балки потолочного перекрытия, внутри Аглаи что-то хрустело. Она не поняла, что это хрустят ее же кости.

— А-а! — завопила она, испытывая ни с чем не сравнимое буйное чувство, такое острое, какого никто никогда не извещивал.

И из груди ее вырвалось пламя.

19

Говорят, местные жители никогда не видели в зимнее время подобной грозы. Да и не в зимнее время тоже не видели. Ударами молний, порывами ветра, смерчем все вокруг было разбито, сожжено, уничтожено, растоптано, разорвано в клочья. Сгорели электростанция, нефтебаза и автобаза. Развалился на куски мукомольный комбинат. Но свидетели того, как горел и взрывался дом, где жила Аглая, не могли найти слов,

чтобы описать это зрелище. Некоторые начинали примерно так: «Ну это было, ну это, ну это...» — и замолкали в большом изумлении. Конечно, всем было ясно, что это был не просто пожар, и не просто взрыв, и не просто несколько взрывов, а что-то гораздо большее.

После взрыва в Долгов наехали всякие эксперты из области и из Москвы, собирали обломки и обрывки в полиэтиленовые мешочки и увозили с собой. Версии выдвигались самые разные. И очень дикие. Начали даже с того, что будто имело место землетрясение. Это в наших-то краях, сейсмически очень устойчивых! Потом стали искать признаки чеченского следа. Только перебрав все самые невероятные предположения, вспомнили про ТОО «Фейерверк» и в конце концов сочли наиболее правдоподобной причиной начального взрыва грозовой разряд. Удар молнии был воспринят одним из Ванькиных устройств как радиосигнал дистанционного управления. Первое устройство рвануло, а дальше пошла уже цепная реакция: бомбы, мины, гранаты, тротиловые шашки, мешки селитры, ящики динамита, баллоны газового коллектора. Не зря этому подвалу было присвоено звание «Малая Хиросима».

Пожарные, надо отдать им должное, приехали вовремя. И раскрутили, как полагается, шланги. Но в последнюю секунду выяснилось, что вода в бочке замерзла (в пожарных бочках вода имеет обыкновение замерзать при температуре, не опустившейся еще до нуля), шланги были местами протертые до дыр, да и помпа вышла из строя. Поэтому пожарные только бегали вокруг пламени, отражавшегося на их касках, и оттаскивали баграми обгоревшие куски того, что выкатывалось из огня. Бревна, балки, куски дверей, столов и стульев. Со всеми этими предметами вылетел еще один, продолговатый и обгорелый, что-то вроде бревна. Пожарники оттащили его баграми подальше от огня и тут только обнаружили, что это не бревно, а еще живое тело с остатками рук и ног. Тут, конечно, весь персонал «скорой помощи» кинулся к этой живой головешке, которая пылала и клокотала и что-то такое как будто еще произносила. Доктор Синельников

приблизил ухо к дырке, бывшей когда-то ртом, и сквозь клотанье расслышал слова:

— Правильно он говорил: будет еще на нашей улице пра...

И на этом обгорелое тело скукожилось и затихло.

Все остальное, что было в доме органическое, сгорело, а железное — растопилось. Статуя превратилась в бесформенную со всех сторон оплавленную чушку. От живых существ, включая Шурочку-дурочку и ее кошек, не осталось ничего, кроме запаха горелого мяса и шерсти. Конечно, многие вспоминали Шурочку-дурочку и разные ее предсказания, включая и то, что полетят железные птицы и мертвый упадет на живо-го. Многие задним числом наделили Шурочку исключительным пророческим даром, а она никаким даром не обладала, была просто сумасшедшая, плела, что приходило в бреду на ум, вроде пресловутого Нострадамуса. И разумеется, нашлись склонные к мистике люди, которые перетолковали Шурочкин бред, ненужное откинули, нужное приукрасили и приспособили к реальным событиям так, как будто именно их прорицательница имела в виду.

Конечно, ничего не осталось от гостей Ваньки Жукова и от него самого, не считая найденного за два квартала от места события обгорелого остатка пластмассовой ноги с кожаными застежками. Остаток был испещрен латинскими буквами, химическими формулами, электронными адресами, цифрами и фразой, написанной крупно по-русски: «Отомщу за Афган!»

ЭПИЛОГ

Я приехал в Долгов только в начале лета. И сразу увидел, как много изменилось здесь к лучшему и как много осталось в прежнем виде. Старухи на перроне по-прежнему предлагали пассажирам свой товар, но теперь в расширенном ассортименте. Уже не только вареная картошка и соленые огурцы, но еще беляши, пиво, кока-кола, а вдобавок к съедобной продукции — печатная, в основном одного направления: журналы «Плейбой», «Пентхауз» и брошюра «Техника секса для пожилых». С разными рекомендациями, выкладками и диаграммами.

На перроне, очень чистом, было несколько палаток, где шла торговля мороженым, жвачками, гамбургерами, чизбургерами, «горячими собаками», сникерсами (которые едят и которые надевают на ноги), матрешками, изображающими видных политиков, армейскими форменными фуражками, ремнями; значками и знаками военных отличий, домашними тапочками, очками, мохеровыми нитками и вообще всякой всячиной. Город за время моего отсутствия явно приобщился к мировой цивилизации, о чем свидетельствовало хотя бы объявление для проезжающих иностранцев: «The paid toilet is behind a corner. The price is upon an agreement»¹. И на другой стороне, в скверике перед памятником Ленину (Ильич, порядком заплесневелый, сидит там до сих пор), я тоже нашел предупреждающую надпись: «Do not tear flowers out! Do not walk on the grass!»²

Хотя я был близким свидетелем и участником всего происшедшего за последние лет пятнадцать в России, Долгов да-

¹ Туалет за углом. Цена договорная.

² Цветы не рвать! По траве не ходить!

же мне показался городом странным. Какое-то противоестественное смешение примет старой и новой жизни. Те же кривые улицы с теми же названиями: Ленинская, Советская, Марксистская, имени Алексея Стаханова, имени XXII съезда КПСС, а между ними Кривая, Поперечно-Почтамтская, Монастырская, Соборная. Я легко нашел Комсомольский тупик и то место, где стоял дом Аглаи. Там, очевидно, и соседние дома были снесены, а на их месте возникли несколько зданий, слишком шикарных для простого районного центра. Шестиэтажные корпуса, облицованные гранитом, с большими окнами, с голубыми елями у центрального входа, очевидно, главного корпуса с четырьмя колоннами. Весь этот участок был обнесен высоким забором из металлических прутьев с золочеными наконечниками, с автоматически закрывающимися воротами и охраной. На воротах — вывеска: «Бальнеологический комплекс «Долговские минеральные воды». На внутренней стоянке я увидел целую коллекцию дорогих иномарок. Я спросил у сторожа, что собой представляет этот комплекс. Он сказал мне, что это частная водолечебница для очень богатых людей.

— Для «новых русских»? — спросил я.

— Для иностранцев тоже, — сказал привратник. — Воды у нас, оказывается, по своему химическому составу не уступают карловарским, а лечение стоит дорого, но дешевле, чем там. А питьевую воду мы продаем по всей России. Даже в Москве.

— А кому же это все принадлежит? — спросил я.

— Известно кому, — сказал он, — Феликсу Филипповичу Булкину.

— Булкину? — переспросил я. — Значит, он это все построил?

— Не только это. Новую церковь заложил. Ночной клуб и казино перекупил, два ресторана открыл, два супермаркета. Богатый человек. Но добрый. Вон видите детскую площадку? Это он городу подарил. Дом для престарелых на свои собственные деньги содержит.

— Значит, здешний олигарх, — сказал я.

— Да вроде того, — согласился стражник.

Детская площадка ничем не отличалась от миллионов других, кроме, может быть, плаката с изображением черной ведьмы «кавказской национальности», запихвающей в мешок белокурого ребенка, и с письменным призывом внизу: «Родители! Берегитесь киднеппинга!» Дальше начинался длинный и высокий бетонный забор, а за ним я увидел архитектурное чудо — дворец из красного кирпича с четырьмя башнями. Что-то похожее на Петровский замок в Москве.

Я спросил проходившую мимо тетку с кошелкой, чей это замок.

— Чумы, — сказала она.

— А что, он здесь живет?

— Не живет, а бывает. А живет в Москве.

Потом я видел еще цементный завод и бензоколонку и что-то еще, и все это, по словам жителей, принадлежало Чуме, о чем некоторые говорили равнодушно, другие с почтением, третьи с большой неприязнью.

Аллея Славы напомнила мне Новодевичье кладбище в миниатюре. Здесь, среди заросших бурьяном могил героев прежних времен и пышных памятников новым авторитетам, не сразу углядел я скромное захоронение с гранитной плитой, которая, видимо, недавно заменила лежавший здесь раньше камень. На ней золотом были выведены даты и имена погибшего героически Андрея Еремеевича Ревкина и погибшей трагически его вдовы Аглаи Степановны. А чуть ниже было написано: «Незабвенным родителям от сына Марата».

Я постоял минуту в невольных мыслях о бренности жизни и двинулся дальше. Многое изменилось в Долгове, но пьедестал посредине площади Победы так и стоял, как раньше, как будто его держали на какой-то резервный случай. А впрочем, и не как будто. Его в самом деле не разрушали, потому что, как я потом узнал, в местных умах постоянно рождались и сменяли одна другую идеи поставить на это место если не самого Сталина, то кого-нибудь, кого хотели приблизить к народу или, точнее, к кому народ хотели приблизить. Такими в

разные годы виделись маршал Жуков, академик Сахаров, писатель Солженицын, Петр Столыпин и Николай Второй. А Феликс Булкин до того обнаглел, что за огромные деньги надеялся увековечить здесь самого себя в качестве символа новых времен, когда не вожди и полководцы, а деловые люди правят миром. Районным законодателям хватило ума, мужества и перевеса в один голос предложение Булкина отклонить, у людей, однако, не было никакого сомнения в том, что кого-то здесь обязательно и в недалгом времени взгромоздят. Но кого? Вопрос никак не решался, но участок земли вокруг пьедестала был ухожен и засажен маргаритками, а низкая ажурная оградка свежеекрашена.

Постояв здесь и помыслив бессмысленно неизвестно о чем, я посмотрел на часы, решил, что пора обедать, и отправился к себе в гостиничный ресторан. И тут меня ожидала встреча с человеком, которого я уже не чаял увидеть в этой жизни. Проходя мимо двухэтажного здания, огороженного зеленым штакетником, я сначала обратил внимание на вывеску у ворот: «Дом презрения пристарелых», где приставки «пре» и «при» перепутаны местами были, как мне показалось, символически. А потом увидел этого старика. Грузный, с большой головой, на которой остатки седых волос распушились в разные стороны, он сидел в инвалидной коляске, закутанный в плед, и, придерживая левой рукой очки, читал какую-то книгу. Я его сразу узнал и подбежал к нему.

— Адмирал! — воскликнул я радостно. — Неужели вы?

Он оторвался, поднял голову, сдвинул очки на темя, и подобие улыбки тронуло его губы.

— А это вы! — продребезжал он, не спрашивая, а утверждая. — Удивлены, что я еще жив? Не удивляйтесь. Чахлые организмы живут долго. Потому что они не горят, а тлеют.

Оказалось, он не только жив, но в полном уме и все помнит. Он меня просил и этому не удивляться.

— Я всю жизнь был мыслящим растением. В маразм впадают те, у кого мозг в долгом застое. А я всегда о чем-нибудь думал, и кровь прилиwała к клеткам.

Мы вспоминали былое, говорили об Аглае, о Шубкине...

— Да, кстати, — спросил я, — не знаете ли, как он живет? Я в прошлом году получил от него письмо. Там он писал, что пришел к истинной вере — вере предков — и собирается переработать «Лесоповал» в соответствии с новыми своими убеждениями.

— Увы, — вздохнул Адмирал. — Это ему уже не удастся. — И на мой вопросительный взгляд ответил: — Получил при обрезании заражение крови и умер.

Мы оба повздыхали, попечалились, но что делать? Сошлись на том, что Шубкин прожил долгую и сложную жизнь и был счастливей многих, потому что всегда и истово во что-нибудь верил.

— А вы, — спросил я Адмирала, — пришли к религии или остались атеистом?

— Я не пришел ни к чему и ни от чего не ушел. Я не верю, что Бог есть, и не верю, что его нет.

— Как так? — удивился я. — Если вы не верите в одно, значит, вы должны верить в другое.

— Я ничего никому не должен, — сказал он упрямо. — Просто я не вижу никаких доказательств присутствия Бога и не вижу никаких доказательств его отсутствия. Но вера у меня есть — я верю в непостижимость нашего бытия.

— Да ну что вы! — возразил я. — При том развитии науки, какое есть, мы неизбежно постигнем...

— Чем больше нам открывает наука, — перебил Адмирал, — тем яснее, что до главного она не доберется никогда.

Я с ним кое в чем согласился, но предложил спуститься на землю и спросил, как, по его мнению, сегодня люди живут в Долгове.

— Как жили, так и живут, — сказал Адмирал. — Кому есть, что украсть, крадет. Кому нечего украсть — работает. Кто работает, тот не ест.

— А вы? — спросил я.

— Ну, я же не работаю. Значит, меня кто-то кормит. В данном случае наш благодетель господин Булкин. Он меня

кормит, и других кормит, и весь город кормит, и народ шутит, что, если бы не Чума, мы бы все здесь давно вымерли.

— А скажите мне, Адмирал, вот что. Еще недавно мы жили при ужасном тоталитарном режиме. У нас не было свободы. Мы не могли читать книги, которые хотели читать, нам мешали верить в Бога, нам запрещалось критиковать правительство, рассказывать анекдоты, слушать иностранное радио, говорить о смерти, о сексе, торговать, ездить за границу. Мы выбирали одного депутата из одного кандидата, и все мечтали о свободе. И вот она пришла, но она нам не нравится. И очень многие хотят возвращения старых порядков, даже мечтают о Сталине. В чем, собственно, дело?

— Я вам отвечу так, — сказал Адмирал. — До недавнего времени мы жили в зоопарке. У всех свои клетки. У хищников одни, у травоядных другие. Все обитатели зоопарка, естественно, мечтали о свободе и рвались из клеток вон. Теперь нам клетки открыли. Мы вышли на волю и увидели, что здесь за удовольствие побегать по травке можно заплатить своей жизнью. Здесь безусловно хорошо только хищникам, которые теперь свободны пожирать нас в ничем не ограниченных количествах. И, нагнав себя на эту свободу, натерпевшись страха, мы думаем: не лучше ли вернуться в клетку, но и хищников туда же вернуть? Их все равно будут кормить нами, но зато по норме. И поэтому мы смотрим вокруг и ищем...

— Кого? — спросил я.

— Ну, скажем, директора зоопарка. Который наведет порядок и всех рассадит по своим клеткам, хищников подкармливать будет, но и нам выделит сена, капусты, а иногда за хорошее поведение и морковкой побалуует.

— Под директором вы имеете в виду Сталина?

— Кого-то вроде него.

— Он будет коммунистом?

— Я думаю, он назовет себя как-то иначе. Но ЕПЭНЭМЭ, которое он нам придумает, не будет сильно отличаться от предыдущего, потому что вообще вариантов немного. Основа

его — мечта о счастье всем поровну. Как ее достичь, рецепт известен: у богатых отнять, бедным раздать, чиновников наказать, врагов уничтожить.

— Но ведь уже известно, что эта мечта недостижима, потому что...

— Да мы знаем все почему. Каждый отдельный человек знает. Но отдельные люди, собравшись вместе, превращаются в народ. А народ — это существо наивное. Он готов тысячу раз обмануться и в тысячу первый раз поверить.

— Но ведь надо поверить не только во что-то, а еще и в кого-то.

— Правильно соображаете, — усмехнулся Адмирал. — Но этот кто-то, он уже на подходе. Он уже перед зеркалом репетирует жесты.

— Вы даже знаете, как он выглядит?

— Ну конечно же знаю, — сказал Адмирал. — Он скромно одет. Во что-то полувоенное. В быту неприхотлив. К материальным ценностям равнодушен. К предметам роскоши тем более. Ростом невысок, но коренаст, вашей примерно комплекции.

— Так, может быть, мы уже нашли этого человека, — воодушевился я.

— Нет, — сказал Адмирал, — вы на эту роль не годитесь. Вы слишком в себе сомневаетесь, говорите торопливо и много машете руками. А этот человек держится загадочно, говорит медленно, негромко, но всегда уверенно. Жесты у него скупые, но выразительные. Мужчин одним взглядом приводит в ужас, женщин в иное состояние, но импотент.

— Обязательно импотент?

— Обязательно. Настоящим народным кумиром может стать только человек, для которого нет никаких страстей и соблазнов, кроме безграничной власти над телами и душами.

— Ничего себе образ вы нарисовали!

— Обыкновенный образ, — сказал Адмирал. — Обыкновенный образ тирана. Люди такого рода большим разнообразием не отличаются.

Почти всю последнюю ночь в гостинице я не спал. Вернее, заснул я сразу. Но мне тут же приснился этот самый, про которого говорил Адмирал. Он стоял на пьедестале, помахивал мне рукой и усмехался. Приветливо усмехался, но я приходил в ужас от этой усмешки и просыпался. После этого боялся заснуть. Ворочался. Включал свет. Пробовал что-то читать. Читая, впадал в забытие, и опять он появлялся, усмехаясь мне с пьедестала. А к утру привиделся настолько явственно, что материализация этого видения не казалась мне невозможной. Покидая утром Долгов, я ехал на такси напрямик через площадь Победы. Был сильный туман, и в клубах его дома, деревья, столбы и другие крупные вещи исчезали и вновь возникали, как бы выныривали. И так вынырнул из него пьедестал. Он был конечно же пуст. И не мог не быть пуст хотя бы потому, что еще не пришло время появиться на нем кому бы то ни было. Пьедестал был пуст, и не мне, реалисту, лишенному малейшей склонности к какой бы то ни было мистике, было сомневаться в том, что он пуст.

Подтрунивая над самим собой и ночным своим бредом, я оглянулся в глупом намерении — еще раз убедиться, что все выглядит так, как выглядеть и должно. Пьедестал был еще виден. Нижняя часть его утопала в тумане, и поэтому верх казался оторванным от земли и парящим над нею. А над пьедесталом из сгустков тумана и из моего, может быть, расстроенного воображения сложилась фигура. Что-то человекоподобное. Оно смотрело мне вслед, усмехалось и покачивало поднятой вверх правой рукою.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ

5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УПЛОТНЕНИЕ

7

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С ПЕСНЯМИ БОРЯСЬ И ПОБЕЖДАЯ

127

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПУСТЫЕ ОЖИДАНИЯ

171

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СОМНАМБУЛИЗМ

241

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПРАЗДНИК НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

307

ЭПИЛОГ

375

Владимир Войнович

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА

Редактор *Михаил Гуревич*

Художник *Александр Анно*

Корректоры: *Татьяна Калинина, Наталия Пуцина*

Компьютерная верстка *Александр Перевозов*

ЛР № 062750 от 18 июля 1999 г.

Издательство «Изограф»

Москва, 3-й проезд Марьиной Роши, 40

Тел./факс 289-04-54

Отдел реализации: 3-й Павелецкий презд, д. 9, стр. 1

Тел. 235-07-31, факс 235-02-37

e-mail: IZOGRAF@TSR.RU

Издательство «ЭКСМО-Пресс»

125190, Москва, Ленинградский проспект

д. 80, корп. 16, подъезд 3

Тел. 378-82-61, 378-84-74

Подписано в печать 20.03.2000 г.

Формат 60x90/16. Гарнитура Таймс

Печать офсетная. Усл.-печ. л. 24.0

Тираж 10 000 экз. Зак. № 1361

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16

ISBN 5-87113-092-5



9 785871 130926

75-00

Владимир ВОЙНОВИЧ

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА

В ваших руках новый, впервые публикуемый роман создателя бессмертного «Чонкина».

Действие «Монументальной пропаганды» разворачивается в тех же, «чонкинских», местах, и главная героиня, негибаемая Аглая Ревкина — родом оттуда же.

Она и другие герои живут в прожитые многими из нас годы — от сурового сорок девятого до наших дней, с новыми русскими, разъезжающими, как говорят местные старушки, на «сердимесах» и «мердисесах».

«Мы живем во времена, когда только у крайнего скептика есть шанс оказаться мудрецом или даже пророком,» — пишет Владимир Войнович. И все же в его новой книге вдосталь иронии и юмора, доброты и оптимизма.



ИЗОГРАФ